

С а л а в а т Ю з е е в
С К В О З Н Я К Т И Ш И Н Ы



КАЗАНЬ
ТАТАРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
2005

УДК 820/89 (470)
ББК 84(2 Рос=Рус)–44
Ю 20

Юзеев С.И.

Ю 20 Сквозняк тишины: Повесть и рассказы. — Казань:
Татар. кн. изд-во, 2005. — 224 с.

ISBN 5-298-04121-3

© Татарское книжное издательство, 2005

СКВОЗНЯК ТИШИНЫ

Повесть

Часть I

До Самарканда оставалось трое суток пути. После вечернего намаза караван стал укладываться на ночлег.

Степь дохнула крепким ветром, и пламя костра, вспыхнув, на мгновение осветило лицо погонщика верблюдов Ахмата-Хаджи. Морщины его, выхваченные из темноты, были столь глубоки, словно имели за собой дюжину жизней. Зия Акмал взглянул на своего попутчика и задумался о старости.

С годами дурак дураком и останется. А умный станет еще умней. Средний же человек накапливает к концу жизни огромный опыт. Опыт, который применить уже не удастся. Мир населяет множество старцев, чей опыт не нужен им самим, да и никому не нужен.

Зия Акмал преодолел множество дорог и не встречал мудрецов, поскольку их на свете не существовало. Но этот старый погонщик верблюдов почему-то тянул его к себе. Они заварили чай, купленный еще в Гулистане, и тихо вели беседу о хадисах Пророка. Вокруг укладывался на ночлег караванный народ, отовсюду слышался тихий говор. Ночь опускалась на караван, словно косматая шапка степняка. Зия Акмал лег на кошму, закинул руки за голову и посмотрел на небо. Затем вдохнул степного воздуха, объял взглядом россыпи звезд, после чего веско произнес:

— Вообще Бог — это все сущее, но народу об этом говорить не надо. Так сказал уважаемый Ибн Рушд.

Ахмат-Хаджи смотрел в огонь и молчал. Он не читал ученых книг и не умел вести споры, в отличие от своего юного собеседника. Зия Акмал не любил народ. А может быть, считал, что не любил.

— Я расскажу тебе одно народное предание, — сказал старец.

— Народ ничего не может сотворить, кроме столпотворения, — сказал Зия Акмал.

— Ты слышал когда-нибудь о Хасангата-хазрете и Поэме Тишины?

— Нет, — ответил Зия Акмал. Он смотрел в ночное небо.

— Тогда послушай, и прости меня, если вдруг тебя утомлю.

Ахмат-Хаджи отхлебнул чаю, заваренного крепче, чем степная ночь, и начал свой рассказ.

Когда Аксак-Тимур сжег все окрестные селения и подходил к великому городу Булгару, жители его уже знали, что не останутся в живых. Все торопились завершить земные дела. Кто закапывал нажитые богатства, кто усердно молился, а кто бесстрастно смотрел на горизонт, ожидая, когда в медленных зарилах пыли возникнут всадники, несущие смерть. И не было никаких звуков в городе, кроме звука наждачного камня, бегущего по стали, — то воины точили свои сабли. Тогда почтенный Хасангата-хазрет собрал в Главной Мечети всех беременных женщин, а также детей ростом не выше колеса телеги и громко начал читать свою Поэму. Замысел его был прост. Войдя в город, Аксак-Тимур все предаст огню, и сгорят все рукописи, в том числе и несколько экземпляров Поэмы. Будут убиты и все жители города, за исключением детей и беременных женщин. Ты скажешь, что воины Тимура вообще не убивали женщин. Но Хасангата-хазрет, безусловно, знал, что передовой отряд неприятеля был набран из подонков рода Черного Пса, которых накануне выпустили из тюрем. Поэтому женщины не уцелеют. Единственное, что им оставят, — это право выбора: бесчестие или смерть. Они выберут смерть. Они до последнего мгновения будут сжимать в руках кинжалы, а затем в отчаянном порыве втаскивать холод клинка себе в горло, стремясь умереть раньше мгновения позора. А в небе будут носиться стрижи, и ветер с Итиля прилетит, чтобы последний раз взметнуть косы мертвых женщин.

Итак, Хасангата-хазрет громко читал Поэму спрятавшимися в Главной Мечети беременным женщинам и детям. Читая, он поочередно смотрел на присутствующих, и тот, на ком он останавливал свой взгляд, должен был запомнить соответствующую строчку этого нетленного произведения. Снаружи уже доносились крики умирающих, и этот жуткий фон придавал словам особую значимость. И пусть память детей была еще некрепка, строки поэмы запоминались на всю их жизнь, и гораздо дольше. Хасангата-хазрет закончил чтение, и строк оказалось ровно столько, сколько душ ему внимало. Говорят, что строк в поэме было 888. Но кое-кто называет и другие цифры.

Например, хранитель ханской библиотеки в Сарае, почтенный мударрис Сераз-эд-дин аль-Сараи, утверждает, что душ в мечети, а соответственно, и строк в поэме было 1002.

Едва Хасангата-хазрет закончил чтение, снаружи раздался громкий стук в дверь и чей-то грозный голос приказал всем выйти. Автор поэмы вынул из ножен саблю и направился к двери, чтобы отворить засов.

— Куда вы, хазрет? — спросила одна из женщин. — Выбросите саблю и, может быть, сохраните себе жизнь!

Хасангата-хазрет улыбнулся, отворил засов и вполголо-са произнес следующую фразу:

— Этот мир — словно старая одежда, пришло время ее сменить.

Сказав это, он шагнул за дверь, взмахнул саблей и ударил кого-то из стучавших. Убитым оказался один из темников Тимура, ногайский князь Вадут. О его жестокости ходили легенды, говорили, что в скверном расположении духа Вадут может вырвать крыло ангелу. В следующее мгновение десяток сабель опустились на голову бесстрашного хазрета, а еще через миг душа его неслась ввысь, минуя чаек, метавшихся над горящим Булгаром, и ей уже не было дела ни до земных страданий, ни до князя Вадута, чья душа неслась отвесно вниз, в ледяное царство Иблиса.

Тело Хасангата-хазрета сожгли на большом костре в центре города. Прах его развеяли по ветру, а ветер прогна-ли. Потом пришел другой ветер, который не знал Хасанга-та-хазрета, да и себя не помнил. А строки Поэмы раскати-лись по всему свету, словно бусинки рассыпанного ожерелья. Никто из тех детей и беременных женщин не остался в Бул-гаре. Одних продали в рабство, иных увезли в чужие земли в качестве наложниц и слуг.

— Я никогда раньше не слышал этого предания, — ска-зал Зия Акмал.

— Это предание уже несколько веков ходит по всем ка-раванным путям, — сказал Ахмат-Хаджи. — Но слышали его немногие, поскольку настоящее предание — оно как зо-лото, что сродни молчанию. Его часто не рассказывают. Его берегут, словно монету на дне сундука. Предание от часто-го использования изнашивается и теряет блеск. Поэтому ты его не слышал.

— Какой интересный сюжет, — сказал Зия Акмал и ус-нул. Точнее, слово «сюжет» он произнес уже находясь на главной площади караван-сарая, которая ему снилась. А за-

тем он и вовсе исчез в бесконечных территориях сна, забыв свое прошлое, веру и имя.

Он обрел себя лишь во время утреннего намаза, когда над степью уже наметились первые проблески солнца и парили орланы. После того как тронулись в путь, он обратился к Ахмату-Хаджи:

— Послушайте, уважаемый! Последние слова Хасангата-хазрета, как мне помнится, были: «Этот мир словно старая одежда, пришло время ее сменить». Я думаю, что это заключительная строчка поэмы.

— Я тоже так думаю, — ответил Ахмат-Хаджи.

В Самарканде они распрощались. Ахмат-хаджи двинулся с караваном дальше. Путь Зия Акмала лежал в медресе Галямия. Это известнейшее заведение давно влекло юношу, сердце которого маялось в поисках истины.

По дороге Зия Акмал зашел в чайхану, где долго пил зеленый самаркандский чай и заедал его курагой. Но вкуса кураги он не чувствовал, поскольку вкус будущего перебивал и вкус кураги, и вкус прошлого. Вдруг дверь отворилась, и в чайхану вошел человек. Глаза его были полны соли и песка, а лицо измучено годами и степным солнцем. Он попросил чаю и тут же приник к пиале. Кадык его был столь остр, что напоминал скалу Усал-Тау. Опустошив пиалу, он медленным взором обвел всех присутствующих и сказал:

— Этот мир — словно старая одежда, пришло время ее сменить.

Сказав это, степняк ушел. Никто из присутствующих не обратил на него внимания. Зия Акмал обратился за разъяснениями к чайханщику, и тот рассказал, что вот уже тридцать лет этот человек приходит сюда каждую пятницу и, выпив пиалу чая, произносит одну и ту же фразу.

Зия Акмал нагнал его на дороге, ведущей к базару.

— Откуда у тебя эти слова? — спросил он, схватив степняка за рукав халата.

— Кто ты? — человек говорил, едва разжимая губы, и понять его было трудно.

— Меня зовут Зия Акмал.

— Ты уверен, что тебе эти слова нужны? — степняк смотрел в упор тяжелыми слезящимися глазами.

— Да.

— Я не разговаривал много лет. Единственно, что я произносил, — это те слова, про которые ты спрашиваешь.

Степняк перевел дух и продолжил:

— Эту фразу сказал мой отец, находясь на смертном одре. А еще он сказал, что однажды придет тот, кому эти слова будут важнее жизни. После этого душа его тотчас отлетела в рай.

— А кто передал эти слова твоему отцу? — спросил Зия Акмал.

— Мой дед. А кто передал деду, я не знаю. Если ты тот, за кого себя выдаешь, положи эти слова за пазуху и не потеряй их. Если же ты проходимец, забудь их, иначе не миновать тебе беды.

— Как же можно умышленно что-то забыть?

— Мертвые ничего не помнят, — сказал степняк и исчез в боковом переулке.

Зия Акмал бросился за ним. Но переулочек был пуст. Юноша побежал дальше, пытаясь настичь своего странного собеседника. Но тут же остановился, осознав одну истину. Этот человек ему не нужен. Ему нужны слова, которые тот принес. А еще Зия Акмал понял вот что. С этой минуты его жизнь круто меняется — он должен во что бы то ни стало собрать Поэму Тишины. Он посвятит все свое земное существование поиску разбросанных по свету строк поэмы. И однажды он прочтет ее целиком, все 888 строк, или 1002, плюс последняя строка, которую он уже знал. И это будет обретение истины, той истины, вкуса которой он так пока и не почувствовал.

На базаре он купил дорожный посох, на котором тут же поставил ножом отметину, означавшую первую найденную строку Поэмы, а также начало новой жизни Зии Акмала.

Он отправился в путь ранним утром, в тот самый час, когда призраки живут бок о бок с птицами. С минарета донесся крик муэдзина, созывающего на утренний намаз. Зия Акмал вышел за город, окинул взором степной горизонт и почувствовал, что крик муэдзина, рассветный туман и странное желание, влекущее его вперед, являются частями одной силы, ему в этот миг покровительствующей. Кровь будет бежать в его жилах, преодолевая круг за кругом невыносимые расстояния, Земля будет свершать свой оборот, а он, Зия Акмал, будет искать Поэму, преодолевая любые пути и слушая голос крови.

Странствия его были продолжительны и опасны. Дети и беременные женщины, о которых говорилось в предании, и впрямь были разбросаны по всему свету. Они носили слова поэмы как заклинание всю жизнь, а потом передавали детям, а те, в свою очередь, должны были передать их своим детям. Через несколько поколений люди не понимали смысла этих слов и не знали, зачем должны их хранить в памяти, но вы-

полняли повеление родителей, ибо не выполнить желание родителей — смертный грех. Строки поэмы стали где девизом, выкрикиваемым во время боя, где родовым знаком, начертанным перед входом в жилище. Зия Акмал научился добывать строки. Он чувствовал близость Поэмы так же, как искатели воды в пустыне по трепетанию прутика в руках чувствуют сокрытые в земле струи. Отметин на его дорожном посохе становилось все больше.

«Все отмерено небесами, в том числе и густота чая», — сказал ему мальчик, продающий канареек у Дворца правосудия в Коканде. Эта фраза звучала неожиданно в детских устах.

— Если во сне ты видишь свое отражение в зеркале — ты видишь свое будущее. Я поясню свою мысль. Сон — это отражение реальности. Зеркало — тоже отражение реальности. Отражение от отражения дает опять же реальность, но смещенную во времени. Встает вопрос: насколько далеко ты видишь будущее? Это зависит от крепости сна, окружающих запахов, звуков и других обстоятельств.

Так рассуждал почтенный мударрис Фарваз-эд-дин аль Булгари в окружении своих не менее почтенных собеседников — поэта Ибн Фалдуна и знаменитого каллиграфа Баки Балты. Они сидели на тенистой террасе, что во дворе ханской библиотеки в Суваре. Адский зной летнего полдня не достигал этого местечка, словно созданного для неспешных бесед.

— Я совершенно с вами согласен, уважаемый Фарваз-эд-дин, — сказал Ибн Фалдун. — Мне помнится, много лет назад, еще в юности, я увидел во сне свое отражение в зеркале. Я увидел себя лысым. И вот результат. Прошли годы, и мои волосы поредели от старости, я почти лыс.

— Лысина чаще всего подтверждает присутствие ума, — стал его успокаивать Баки Балта.

— Совершенно не обязательно, — сказал Ибн Фалдун. — Я видел множество лысых дураков.

— И прожитые годы тоже не означают прибавления ума, — добавил Фарваз-эд-дин. — Кругом полно старых идиотов.

— Надеюсь, это не относится к присутствующим? — спросил Баки Балта.

— Что вы, уважаемый Баки, я не сомневаюсь, что нахожусь в обществе самых мудрых людей в мире.

Все три старца рассмеялись. Затем зашел разговор о том, кто как переживает груз прожитых лет.

— Я все себе могу простить, кроме собственной старости, — сказал Фарваз-эд-дин. — Для меня старость — словно

одежда с чужого плеча. Я не могу с ней смириться, и она меня раздражает.

А вот что сказал Ибн Фалдун:

— Я смирился со старостью как с неизбежностью. В страданиях старости приходит очищение.

А вот что сказал Баки Балта:

— Меня моя старость нисколько не трогает. Кто-то сказал, что человеку столько лет, на сколько он себя ощущает. Я себя не ощущаю ни на сколько лет. У меня нет возраста.

— А когда вы поднимаетесь в гору? Дышать тяжело? — спросил Ибн Фалдун.

— Может быть, и тяжело, но мне не с чем сравнивать, поскольку прошлого, а значит, молодости для меня не существует. Для меня есть только настоящее мгновение. А оно полно неожиданностей.

В небе слышались отзвуки далекого грома. Налетел свежий ветер, взметнул белые бороды старцев и тут же умчался. Затем появился слуга, который нес на подносе чайник и три пиалы.

Фарваз-эд-дин продолжил свои рассуждения о снах:

— А если ты во сне упал без памяти, ты видишь свою смерть. Поскольку смерть не имеет образов.

Слуга разлил чай, как это делают в Мавераннахре, — едва покрыв доньшко.

— Единственно, в чем мы сходимся, это лишь в том, что однажды умрем, — сказал Ибн Фалдун, беря пиалу.

Над головами прокатился свежий гром.

— Все отмерено небесами, — сказал Баки Балта, слегка подув на чай.

В этот миг с небес сошел такой ливень, что пиалы, поднесенные ко рту, оказались до краев полны водой.

— В том числе и густота чая, — добавил Фарваз-эд-дин...

Поэма водила его за собой с одного края света на другой, закалив и тело и душу. Зия Акмал научился находиться одновременно в двух местах и за день преодолевать семь климатов. Он овладел искусством фехтования и мог рассечь саблей воду, словно сыр, поскольку вода не успевала сойтись за клинком. Он мог биться под палящим солнцем с несколькими противниками, прихлебывая из своей дорожной фляги, противники же, устав и изнемогая от жажды, в конце концов сдавались. В долгих конных переходах он выучил язык степного ветра, а также язык ветра пустыни. Надо заметить, что это разные языки, и два этих ветра друг друга не

понимают. Он научился читать следы людей и животных, а спасаясь от страшных погонь, мочился не сходя с коня.

Он месяцами прорубался через джунгли, а саблю точил о жесткую бороду, которая вырастала за ночь, наутро же сбри-вал бороду саблей, которая к вечеру вновь тупилась. Отмети-ны на его посохе продолжали прибавляться, строк стано-вилось все больше, строки путались, перетасовывались, слов-но карты в колоде, смысл событий менялся, как цвет неба. Но Зия Акмал собирал Поэму, следуя ему самому непонят-ной логике. Так же, как в стихах одна строка влечет другую, так же приходили строки Поэмы и навсегда оставались, составляя очертания глав. Временами Зия Акмал испытывал нестерпимое желание прочесть вслух обретенные главы. Он выходил к реке, встающей на его пути, смотрел в бегущую воду и произносил то, чего при людях произносить опасал-ся. Ведь известно, что если доверить слова реке, вода все услышит и унесет, а затем придут новые слова. Если же до-вериться человеку, слова может услышать Иблис, который все испортит. К тому же Иблис, как знал Зия Акмал, стано-вится глух вблизи водоемов, так у него устроен слух.

Однажды, посмотрев на бушующее море с холма Галата, что в Константинополе, он на миг почувствовал, что ощу-щает всю поэму целиком, все ее строки и все человеческие жизни, встающие за каждой строкой и разбросанные в этом пенящемся, в синих молниях мире.

Вечером, идя вдоль старой византийской стены, Зия Ак-мал прочел следующую надпись, начертанную на крошащих-ся камнях: «Он был так страшен в бою, что даже ветер его боялся». Зия Акмал обратил свой взор к морю, где в лучах закатного солнца маячили парусники. Сердце его билось, подступая к самому горлу.

Он был так страшен в бою, что даже ветер его боялся. Хан Алмус появлялся на поле битвы во главе своей конницы, и тотчас становилось безветренно, наступала страшная ти-шина, которую уже спустя мгновение сменял топот копыт и перестук мечей. А следующий миг был наполнен криками умирающих, и казалось, что так было вечно и эти звуки ни-когда не смолкали. Ханский конь протапывал тропу в толпе пеших, и ничего нельзя было разобрать, лишь видно было, как мечется в руке хана меч. Ему не было равных в доблес-ти. Впрочем, был один — хан Идгай, и судьба не раз своди-ла их на войне, но не сталкивала глаза в глаза.

Многие помнят поход хана Алмуса на город Ошель. Но

не все знают подробности тех событий. Узнав о том, что Алмус движется на город во главе многочисленного войска, Идгай решил пойти на хитрость. Он собрал большой отряд из горожан-ремесленников и крестьян из соседних селений, которые ему подчинялись. Это ненастоящее войско должно было выйти навстречу войску Алмуса, а затем, как будто испугавшись превосходящих сил неприятеля, обратиться в бегство и завлечь врага в засаду. Там его должны были поджидать с дрожащими от нетерпения мечами лучшие воины Идгая.

Итак, отборное войско Идгая ушло, чтобы затаиться в засаде, сам же бесстрашный Идгай во главе сборища простонародья отправился навстречу врагу. Но не таков был хан Алмус, чтобы его можно было провести. Он догадался о замысле Идгая и применил неожиданную тактику. Он не пошел навстречу Идгаю, а пошел вбок и, не обращая на него внимания, ударил в тыл основного войска, спрятавшегося в засаде. Удар был столь внезапен, что большинство воинов Идгая были мертвы прежде, чем поняли, что их атакуют, остальные же обратились в бегство, и многие не ушли от меча.

Затем Алмус двинулся вслед за Идгаем, который, сообразив, что битва проиграна, спешно отходил в сторону города со своим несостоявшимся войском. Алмус отрезал ему путь к городу, и Идгай был вынужден укрыться в крепости Кашан, имевшей для защиты крепкие дубовые стены.

Осада Кашана длилась столько, сколько надобно, чтобы защитники крепости сдались на милость врага. Но тут пришел черед показать свою находчивость Идгаю. Его войску грозили муки голода, поскольку запасы провизии в крепости не были рассчитаны на такое количество людей. Хан Идгай вынужден был делить еду между своими воинами и при этом экономить, чтобы продержаться как можно дольше. В таких случаях еда делится поровну между всеми, но хан делил ее иначе. Он приказал толстым давать более скромный паек, чем худым, так как организм толстых, как известно, может питаться за счет внутренних резервов. Кстати, именно с той поры и пошла поговорка «Пока толстый сохнет — худой сдохнет». После этого приказа среди толстых возник ропот недовольства, но хан Идгай, обладающий даром убеждения, объяснил воинам необходимость такого дележа, а кроме того, сам назначил себе усеченный паек, хотя вовсе не был толстым. Но тут возникла другая опасность — худые почувствовали свою избранность и начали проявлять высокомерие по отношению к толстым. В ответ на это хан Идгай приказал утопить во рву с водой самого зарвавшегося из ху-

дых, после чего дисциплина в крепости была полностью восстановлена.

Все эти меры позволили осажденным продержаться до тех пор, пока на выручку Идгаю не пришел его брат Нухрат во главе своих несметных полчищ. Хан Алмус снял осаду и отправился восвояси.

Между тем Идгай, оправившись от поражения, восстановил свое войско. Часть своих воинов дал ему брат. После чего Идгай бросил в погоню за Алмусом все свои силы.

Алмус уводил свое войско бескрайними, безлюдными полями. Надо сказать, что в это время стояли на редкость лютые морозы. Крик замерзал на лету, а пар, валивший из лошадиной пасти, тут же превращался в глыбы льда. Не было музыки, потому что флейты примерзали к губам, а барабаны страшно фальшивили.

Наконец, пришла пора хану Алмусу показать свою хитрость. Поняв, что битвы избежать не удастся и что на открытом поле шансы на победу у него невелики, он поступил следующим образом. Его войско стало лагерем посреди поля, вблизи небольшой лощины, где из земли бил незамерзающий родник. Затем он приказал каждому воину наполнить водой оба своих котла (как известно, всадники Алмуса всегда брали с собой в походы два котла) с тем, чтобы вода в них замерзла. Лед из котла и послужил тем строительным материалом, а точнее кирпичом, из которого вокруг лагеря была выстроена оборонительная стена. Раствором служила опять же вода, которая схватывала ледяные глыбы намертво. В стене оставлялись бойницы для стрельбы из лука.

Подойдя к лагерю противника и увидев выросшую за ночь стену, Идгай по достоинству оценил находчивость врага. «Он построил из воды то, что не всякий построит из камня», — сказал хан. Расчет Алмуса был верен. Взять штурмом такую крепость было сложно, осаждать же ее было вовсе бессмысленно. Идгай опять и опять бросал взор на непрístupную стену, где за толщей голубого льда двигались искаженные, словно демоны, образы людей и лошадей.

Но в следующую ночь крепость была взята. А случилось это вот как. События, о которых идет речь, происходили еще во времена невежества, и слово Пророка не дошло еще до этой земли, а точнее, было на полпути к ней. Воины Идгая поклонялись огню, в то время как воины Алмуса поклонялись воде. Когда на поля опустилась тьма и лунный серп отпечатался на небе, словно отметина Сатаны, Идгай приказал запалить большой костер. После чего все его люди сошлись

вокруг огня и половину ночи провели в заклинаниях и ритуальных танцах. Потом костер затушили, и наступила тьма, полностью поглотившая войско. Спустя несколько мгновений воины Идгая выстроились вокруг вражеского лагеря в полном боевом облачении. Последовал сигнал атаки — протяжный крик совы, и воины бросились на ледовую стену. Они прошли ее, как клинок сквозь масло, поскольку несли в себе силу огня. На этот раз многие воины Алмуса были мертвы, прежде чем поняли, что их атакуют. Сам хан Алмус был убит в своей юрте, но прежде успел отправить на тот свет множество преданных Идгаю людей. Так закончилась многолетняя вражда между двумя великими ханами. «Огонь победил воду», — так говорили в народе.

После победы над Алмусом, самым достойным из своих врагов, Идгай уже больше не знал поражений. Впрочем, редко кто осмеливался выступить в открытую против него. Слава его прибывала, а владения росли, как молодой месяц. Вступая на покоренные территории, он слышал приветствия и крики одобрения, люди падали перед ним на свои бороды. Как передает людская молва, Идгай был очень жесток, но царствовал с толком. Он хорошо понимал суть простонародья. Он знал, что в любом человеке скрыт неистощимый резерв послушания. Это послушание должно быть обязательно реализовано. Если же оно не находит применения, люди бесятся, сами не зная отчего, оттого-то и происходят смуты.

Однажды хан Идгай гостил у одного из своих подданных. И хотя за столом было множество самых разных яств, к еде он не притрагивался. Сидящий рядом с ним хозяин стола, буртасский князь Далмас, усердно ел и пил, желая доказать пригодность угощения. Хан Идгай знал, что покоренным хозяевам доверять нельзя. Он помнил случай, как царь лесного народа мокша отомстил ушкуйникам, которые грабили в его стране. Этот царь пригласил своих обидчиков в гости и ел с ними с одного стола. Ушкуйники выставили на стол вино, привезенное с собой, и налегли на него с таким усердием, что даже не заметили, пьет ли вместе с ними хозяин. К концу застолья все его участники были мертвы, за исключением хозяина стола. Причиной такого исхода была еда. В блюдах, подаваемых на стол, присутствовали особого рода грибы. Эти грибы растут в навозе и абсолютно безвредны, но при смешении с алкоголем становятся смертельно опасны. Царь народа мокша знал это и потому не пил вина.

Хан Идгай всегда был начеку, а если чувствовал опасность, становился безжалостен. Лучше убить человека, а по-

том его проверить, считал он. Сидящий рядом с ним буртасский князь Далмас приходился двоюродным братом хану Алмусу, и потому, боясь преследований, пытался доказать свою преданность. Хану Идгаю был оказан небывалый почет. Были приглашены самые знатные ханы и беки, и даже с того света вызвали самого Кюль-Тенгри-Когана.

Сотни музыкантов услаждали его слух, и удивительной красоты танцовщицы проносились перед ним в зажигательном танце. Одна, самая смелая, на мгновение приблизилась к хану и посмотрела на него с таким призывом, что мужское существо его дрогнуло, и все предубеждения были напрочь забыты. Ночью он потребовал, чтобы девушку привели в его покои. Войдя, девушка подошла к нему и обвила его шею руками. Губы их слились в протяжном поцелуе. Но этот поцелуй был смертелен для них обоих. Девушка держала во рту яд гюрзы. Она всегда носила этот яд в бусине ожерелья. Перед тем же как войти в покои хана, она незаметно для сопровождавших перекусила бусину.

Великий хан почувствовал подозрительный вкус во рту и все понял.

— Я дочь хана Алмуса, — сказала девушка.

Идгай смотрел ей в глаза и не мог отвести взгляда. Он был мудр и понимал, насколько бессмысленна сейчас будет месть. К тому же он знал, что любит эту девушку. А еще Идгаю открылось, что вся человеческая жизнь — это всего лишь невнятная возня, настоящая жизнь начинается тогда, когда она подвечена смертью. И эти несколько последних минут значат для него гораздо больше всех прожитых лет. Мгновения счастья не имеют продолжительности, поскольку вечность не измеряется. Все это он понял, глядя в глаза дочери своего кровного врага. А точнее, он ничего не понял, потому что мыслей не существовало. Да и человеческих тел не существовало, была лишь любовь, которую так поздно обрел хан Идгай.

Они бросились, обнявшись, в эту воронку, которая подхватила их, унесла вверх, потом вниз. Они уходили в полное небытие, затем возвращались, затем опять уходили, пока не ушли совсем.

Зия Акмал обживался в пространстве поэмы, как в доме, в котором жило много людей. Он познавал этот дом комнату за комнатой, но, сколько было еще незнакомых комнат и потайных дверей, он не знал. Порой он упирался в закрытую дверь или бесконечно долго шел в темном коридоре, и сердце его было полно отчаяния.

Временами у него возникали подозрения в правильности строк поэмы, так как люди, передавая их друг другу, вполне могли пропускать или изменять слова, и смысл строки мог совершенно меняться. Он не исключал возможности того, что некоторые из беременных женщин, первых слушателей поэмы, были убиты во время резни, учиненной после взятия города, или погибли при пожаре.

Но поэма не оставляла его. И он становился все более настойчив в своих поисках. Носители поэмы, умирая, старались во что бы то ни стало оставить свою строку ближним. Но если рядом никого не оказывалось, в ход шли самые неожиданные средства. Один из них умер в пещере, где жил последние двадцать лет отшельником. Перед смертью он слабой рукой написал на сырой стене заветные слова. Другой же носитель передал свои слова говорящей птице, которая много лет кричала их на всю улицу. Третий оказался моряком; судно его потерпело крушение и затонуло. Зия Акмал научился жить под водой, а уже потом спустился на дно океана и нашел надпись, оставленную моряком в капитанской рубке.

А однажды заветные слова привели Зию Акмала под самое небо. Он долго стоял на вершине горы Кайнар-Таш, окруженный облаками и орлиным клекотом, и обозревал пройденные пути. Он еще не знал, почему здесь оказался, но зов крови его не обманывал.

У подножия горы старый чабан рассказал ему легенду. Много лет назад жил здесь один человек. Он любил проделывать фокус с камнем. Он был настолько быстр, что мог взять в руку раскаленный камень и пробежать с ним дюжину метров, не успев обжечься. Его еще помнили аксакалы. Говорят, этот человек был потомком великана Айдына, который тоже проделывал подобный фокус. Правда, камень был размером с гору. Однажды великан взял раскаленный камень у себя в бане и, пробежав с ним три части света, выбросил его в реку. Река тут же вскипела и высохла. А камень превратился в гору Кайнар-Таш.

Стоя на вершине горы, окруженный облаками и орлиным клекотом, Зия Акмал понял одну истину. Люди передают из уст в уста предания. Им, этим преданиям, может быть и тысячи лет, но они со временем не тускнеют. Поскольку носят их в устах люди талантливые, они если и добавляют от себя слово, то лишь к месту.

А еще Зия Акмал понял вот что. Строки Поэмы содержатся в других преданиях и легендах. Поэма блуждает из одной речи в другую, словно прячась и кого-то боясь. Поэма не желает

быть узанной и время от времени дает о себе знать. И так же, как Зия Акмал доверял Поэму реке, опасаясь, чтобы не услышал Иблис, так же Поэма доверяет себя ему, Зии Акмалу.

Он любил проделывать фокус с камнем. Он брал камень в ладони и увеличивал его в размерах. Затем Ихсан Шаввали давал потрогать его людям. Люди цокали языками и говорили, что и впрямь камень стал тяжелее и больше по меньшей мере раза в три. Это был не единственный фокус Ихсана Шаввали. Но самый главный фокус ожидал его впереди.

Вся жизнь Ихсана Шаввали складывалась так, что он хотел быть узанным. Он писал стихи и декламировал их на городской площади, соревнуясь с признанными поэтами. Он вступал в споры с философами, хотя мысль его была неокрепшей. Ихсан Шаввали пытался опередить всех в искусстве каллиграфии, а однажды решил посвятить себя вере и в своем религиозном рвении превзошел многих. Он получил уроки у лучших учителей фехтования и благодаря своей ловкости стал опасным соперником в сабельном бою.

Но все это не приносило ему удовлетворения, и он чувствовал себя как ненужный лист в книге. Он назло себе пил вино, чем приводил в негодование правоверных.

Ихсан Шаввали пытался постичь скрытый мотив всех своих начинаний. Однажды он написал на листе бумаги свое имя и долго смотрел на него. Вот оно, сказал он себе, то, ради чего все делается. Мы нанизываем свою жизнь на собственное имя, как мясо на вертел.

В тот день на базарной площади было столько народа, что косточке от хурмы негде было упасть. Но настоящее столпотворение происходило на пяточке перед рядами, где торговали коврами. Там выступал бродячий фокусник. Он приручал предметы, которые появлялись и исчезали с такой легкостью, словно потеряли свое истинное предназначение. Фокусник поднял с земли камень и, сомкнув его в ладонях, оглядел толпу. Затем он разомкнул ладони, из которых тут же вылетела канарейка и скрылась в небе. Толпа восхищенно загудела.

— Это что! У него просто быстрые руки, — сказал кто-то. — Вот Ихсан Шаввали делает фокус с камнем всерьез.

— Ихсан Шаввали! — закричала толпа. — Покажи приежнему фокус с камнем!

Ихсан Шаввали, подталкиваемый зрителями, вышел в центр круга. На него смотрели сотни пар выжидающих глаз. Он наклонился и поднял лежащий у ног небольшой камень. Затем посмотрел толпе в глаза и сомкнул камень в ладонях.

Разомкнув ладони, он показал толпе камень, который ни на грамм не изменился. Вокруг раздались возгласы разочарования. Фокус не удался. Но суть была в другом. Изменился сам фокусник. У него поменялся цвет глаз. Волосы стали жестче. Родинки на лице поменяли свое место. И вообще это был другой человек. Но этого никто не заметил. Впрочем, заметили двое — старый дервиш и мальчик, разносчик воды. Глаза их были полны ужаса, и они никому потом не рассказывали о своем наблюдении.

Ихсан Шаввали ушел, сопровождаемый презрительными возгласами толпы. Он шел в сторону Итиля, где его тут же встретил ветер и сопровождал как посвященного. Идя вдоль реки, он уже не знал своего имени. Он был безымянен, как ветер, как склонившееся над водой дерево, как огромное над голой небо.

Он остановился в ближайшем селении и стал гончаром. Его горшки нравились всем, в том числе и ему самому. Он никогда не ставил на своей продукции отметину, какую ставят иные мастера. И лишь однажды, ближе к концу жизни, на дне одного из горшков он сделал следующую надпись: «Он любил проделывать фокус с камнем».

Зия Акмал смотрел на медленную воду Итиля и наговаривал ей вновь найденные главы. Поэма привела его в место своего истока, в древний город Булгар. Здесь мало что осталось от бывшего великолепия столицы, но стены еще хранили исчезнувшие голоса, а над площадями витало эхо меча, бьющегося о меч. Дворцы и мечети здесь были выстроены из камней — плоских, обтесанных рекой. Камни эти помнили шум волн, и потому сны жителей этого города были плавны, как течение реки. А раз в год всем жителям снился одинаковый сон, и связан он был с настроением реки.

— В прошлый раз нам снился сон о том, что наш город превратился в развалины, — рассказывал ему старый мулла в чайхане. Зия Акмал слушал его не перебивая. — Дворцы и минареты осели, как расплавленный сыр. Я видел людей в незнакомой одежде, которые ходят среди развалин, вороша камни. В руках у них были странные предметы, они подносили их к глазам, и те вспыхивали, как бывает во время грозы.

Зия Акмал, слушая его, пил чай. Он чувствовал привкус Поэмы так же, как едва уловимый привкус забытого ветра, который чай впитал в себя, еще будучи травой.

— Говорят, сны — это язык, на котором Всевышний разговаривает с людьми, — сказал Зия Акмал. — Но в моих снах

нет ни сокровенного смысла, ни намеков, ни озарений. Там все просто и буднично. И порой нелепо. Хотя, может быть, каждый сон надо расшифровывать.

— Ничего не надо расшифровывать, — сказал старик. — Видеть сны — занятие, которое не требует усилий, в отличие, например, от чтения книг. Толковать сны так же просто, как их смотреть. События, которые ты видишь во сне, могут означать прошлое или будущее. Но это не твоё прошлое и будущее, а людей, которых уже нет или ещё не было. Например, ты мог видеть будущее сына, который бродит в твоих снах, притворяясь тобой.

— У меня будет сын? — спросил Зия Акмал.

— Будет, — сказал старый мулла. Он подлил себе чаю в пиалу и продолжил: — Но есть сны, которые касаются именно тебя. Если во сне ты видишь свое отражение в зеркале, значит, ты видишь свое будущее. А если ты во сне упал без памяти...

— Ты видишь свою смерть, — продолжил Зия Акмал.

Старец внимательно посмотрел на него и на его посох, полный отметин.

— Твой пот пахнет невыносимыми расстояниями, — сказал он после некоторого раздумья. — Откуда ты?

— Меня зовут Зия Акмал.

Мулла сделал неловкое движение рукой и уронил со стола кувшин, который, падая, разлетелся вдребезги. «Он любил проделывать фокус с камнем» — было написано на внутренней поверхности доньшка. Зия Акмал ещё раз убедился, что всегда шел по верному следу.

— Я слышал о тебе, — проговорил старец. — Твои поиски трудны. Но я дам тебе один совет. Ты озабочен поисками истины. Но ищешь ты её вовне. А истину нельзя найти вовне.

— Но вы, свершая паломничество в Мекку, тоже отправлялись за истиной, — заметил Зия Акмал.

— Да, но при этом я с собой не разлучался, — ответил старец. — Впрочем, мой совет тебе ни к чему. Тебе надо пройти столько путей, сколько ты сам ещё не знаешь.

— Все отмерено небесами, — сказал Зия Акмал. И неожиданно для себя добавил: — В том числе и густота чая.

— Именно, — улыбнулся старый мулла.

Зия Акмал шел берегом великой реки Итиль, и его сопровождал ветер, язык которого он уже понимал. Река уходила за горизонт. Простор был столь широк, что вороны здесь трогались рассудком, — они бросались с высокого берега вниз и пытались парить над водой, словно чайки.

Тут произошло то, что однажды должно было произой-

ти. Он увидел ее. Она шла ему навстречу на фоне великой реки, и казалось, что и вода, и девушка состоят из одного бесплотного вещества. Тут наскочил ветер, приподнял его над землей и тотчас опустил (а может быть, это душа Зии Акмала взлетела и приземлилась). Затем ветер взметнул ее косы, залетел ей под мышку, поелозил и умчался.

Вечером он опять встретил ее. Это случилось в торговой лавке, она оказалась дочерью хозяина. На какое-то мгновение торговец вышел, и они остались одни. Тишина была такая, что было слышно, как переговариваются их желудки. Они договаривались о чем-то своем, и молодым людям стало стыдно.

На следующий день Зия Акмал пришел к родителям девушки и попросил ее руки. А еще через пару дней молодым прочитали никах. Читал его знакомый Зии Акмалу старый мулла, по древнему обычаю на берегу Итиля. Над водой неслась сокровенная напевная речь, и облака вверх шли в сторону Мекки, словно свершая бесконечный хадж. После никаха молодым налили чай из особого чайника. Чайник этот имел странную форму: он сужался в середине, подобно женскому телу, и нижняя часть его была объемней верхней. Обе части имели по горлышку, и чай молодым наливался каждому из своего горлышка.

— Смысл здесь таков, — пояснил мулла Зие Акмалу. — Вы пьете один и тот же чай, из одного сосуда. И это означает, что вы одно целое. Но мужчине чай наливается из нижней части сосуда, там, где зарождается жизнь. Мужчина отвечает за эту жизнь, и должен быть готов умереть за нее. В заботах своих он и обретет истину. Женщине, напротив, чай наливается из верхней части, там, где вынашивается молоко. Женщине не надо искать истину, она носит ее в себе, как молоко. Поэтому мужчина должен доверять своей жене, поскольку она от рождения знает то, что он может узнать, только если повезет.

Зия Акмал доверился ей с первого дня.

Она не расплетала на ночь косы, она была уверена, что сны могут уйти через распущенные волосы и смешаться со снами злых демонов, а это очень опасно, поскольку человек после этого теряет речь, а потом рассудок. Зия Акмал рассказывал ей о своих странствиях, она внимательно его слушала и ночью пахла морем. Ей снились бесконечные путешествия, и ветер из снов раскидывал ее косы по подушке. Он прижимался к ней и забывал себя.

Он любил ее тело, ее запах, и еду, которую она готовила. А готовила она с каждым днем все лучше и лучше. Со вре-

менем она так овладела искусством кулинарии, что всякая еда рядом с ней делалась вкусней, будь то яблоко или куриное яйцо. Это происходило не только с едой. Даль становилась прозрачней, а земля под ногами теплей.

А потом у них родился сын.

«Одному лучше, чем тебя вообще нет. Вдвоем лучше, чем одному. А втроем лучше, чем вдвоем», — думал Зия Акмал, глядя на жену и сына.

Он забыл о Поэме. Сны Зии Акмала стали похожи на сны жителей этого города — плавны, как течение реки, а дни размеренны и одинаковы. Его дорожный посох, испещренный отметинами, стоял забытый в углу. Зия Акмал брал младенца на руки и знал, что поиски истины для него закончены. Что касается жены, так она с истиной и родилась, как все женщины, думал он.

Когда сын научился ходить, они пошли на гору Аль-Джами, к дереву Нерожденных, куда ходили женщины этого города. Женщина, пришедшая к этому дереву, должна снять с уха серьгу и повесить ее на ветку в память о не рожденных ею детях. Детях, которые могли родиться от других мужей, на других жизненных путях. Женщина должна уйти отсюда домой с оставшейся серьгой, и это будет подтверждением ее выбора. А если женщина не любит своего мужа, она никогда не придет к этому дереву.

Самые разные серьги в необыкновенном количестве блестя на ветках, утверждая правильность человеческого выбора. «А может, выбора и нет, воля небесная сводит наши пути, — думал Зия Акмал, глядя, как жена вешает на ветку свою серьгу. — И твоя серьга — это твой на нее отклик».

Облака шли в сторону Мекки, дни сменялись ночами, и опять приходили сны, размеренные и плавные, как течение реки. Сны струились, как вода сквозь пальцы, будущее путалось с прошлым. Проходили бездны и бездны снов, что соответствовало нескольким годам жизни реальной.

Они прожили вместе столько лет, сколько надо, чтобы два человека стали похожи друг на друга. Зия Акмал забыл о Поэме. Но порой просыпался в слезах и не помнил, что ему снилось. В душе была утрата, но истока ее он не знал. Однако с дневным светом чувство утраты проходило.

Однажды проснувшись, Зия Акмал услышал тишину, которая исходила неведомо откуда. Он вышел из дома и пошел в направлении тишины. Он миновал свой двор, пошел по тропе, ведущей к реке. Тишина росла, как дерево. Наконец он увидел исток тишины. Он узнал своего сына, который

что-то чертил на песке палкой. Подойдя ближе, он заметил, что палка — его старый дорожный посох, полный зазубрин.

«Все свое оставляю себе» — было начертано на песке. И тут Зия Акмал вспомнил о Поэме.

В ночь, когда месяц на небе уже настолько стар, что завтра его не будет, покинь свой дом. Тебе надо найти в ночи свое место. Для этого тебе надо встать на такую точку, откуда ты увидишь два сходящихся в окружность полумесяца: полумесяц, что на минарете мечети Иске-Таш (означающий молодой месяц), и полумесяц в небе (старый, умирающий месяц). Найдя в ночи свое место, посмотри на окружность, образованную двумя полумесяцами, и подбрось в воздух яблоко со словами: «Все свое оставляю себе!». Поймав яблоко, ты станешь другим. Все твои поиски замкнутся, как старый и молодой месяц. Все земное в тебе сойдется с небесным. Твое младенчество будет похоже на твою будущую старость — это будут дни без забот на челе. Но если ты не поймаешь яблоко, дело плохо. Ты не обретишь покоя ни на том, ни на этом свете. Ноги твои будут нацелены в разные стороны, и одна рука будет отбирать еду у другой.

Сафа Епанча никогда не забывал это старинное поверье и в назначенную ночь выходил к мечети Иске-Таш, чтобы подбросить в воздух яблоко. Но ему никогда не удавалось поймать его. «Значит, не пришло мое время», — думал Сафа Епанча.

Дни его были полны раздумий. Душа его была напряжена и не знала отдыха. Он мог заплакать посреди дня.

— Что с тобой? — спрашивали его.

— Да так, — отвечал он. — Давным-давно я был маленьким мальчиком и очень радовался первому снегу. А сейчас меня не трогает ни снег, ни слово, я привык к виду крови и к чудесам. Зачем? Как это все несправедливо!

Он часто задавал себе этот вопрос: зачем? И не мог найти на него ответа. Люди находили успокоение в вере. Пытался обрести себя в ней и Сафа Епанча. Он соблюдал все молитвы и посты. Он пожертвовал бедным большую часть своего состояния.

Но яблоко в условленную ночь не ловилось.

Он решил забыться в работе. Сафа Епанча стал переписчиком книг. Книги одна за другой выходили из-под его легкой руки. «Я даю людям знание», — думал он.

Но яблоко не давалось ему в руки и выскакивало, словно живое.

Сафа Епанча отправился на войну и закалился в жестоких боях. Он воспитал в себе дух воина и убил столько людей, сколько положено на войне. Вернувшись, он дождался условленной ночи и опять не поймал яблоко.

Тогда Сафа Епанча решил разбогатеть. Он занялся торговлей и стал хитрее хитрых и наглее наглых. Нереализованный ранее ум он использовал теперь для приумножения доходов, и все его мысли были заняты только расчетами. Он стал так богат, что весь базар заламывал шапки при его появлении. В конце концов пришел час, когда Сафа Епанча понял, что и богатство не принесло ему облегчения. Он не пошел в условленную ночь к мечети Иске-Таш, поскольку знал, что не поймает яблоко.

И тогда Сафа Епанча решил больше ничего не искать.

— Отныне я делаю то, чего хочет моя душа, — сказал он.

Он пошел в ближайшее питейное заведение и напился вина. Он пил его, пока оно ему не надоело. Потом Сафа Епанча вышел в ночь и отправился куда глаза глядят. Он вдыхал ночной воздух, и дух захватывало от того, что не надо отвечать на вопрос «зачем?». Какой никчемный вопрос, думал Сафа Епанча, и тихо смеялся чему-то, понятному только ему одному. В темноте, среди шевелящейся листвы, словно планеты, мерцали яблоки. Ночь была наполнена пением сверчков и криками ночных птиц. А трава под ногами была полна упавших яблок. Сафа Епанча поднял одно из них. Он подержал яблоко на ладони и усмехнулся. Затем подбросил его вверх и тут же невзначай поймал. Но в следующее мгновение он замер как вкопанный. Он увидел, как там, в ночи, между ветвей сошлись в окружность два полумесяца — небесный и земной.

— Все свое забираю себе! — крикнул Сафа Епанча.

Но мог не кричать.

Зия Акмал бросился в Поэму как в омут. Строка опять звала другую строку, как когда-то, много лет назад. Остановившиеся части механизма поэмы дрогнули и вновь пришли в движение. «Я предал Поэму, и столько лет прошли бесцельно», — укорял себя Зия Акмал.

На следующее утро, когда призраки еще живут бок о бок с птицами, он поцеловал спящих жену и сына, взял свой дорожный посох и покинул дом. Идя берегом Итиля, он вспомнил, что однажды так же выходил в путь, и сердце его было полно неизвестности. Так же, как когда-то, он оглядывал горизонт и чувствовал покровительство высших сил. Он знал, что на этот раз не остановится и соберет Поэму до конца.

Проведя в дороге несколько дней и ночей, Зия Акмал обнаружил у себя следующую способность. Он научился брать строки поэмы из речи ветра, речи песка, а иногда у тишины, которая была красноречивей любой речи.

В одну из ночей Зия Акмал увидел огни каравана, остановившегося в поле на ночлег. Среди сидевших у костра людей он узнал Ахмата-Хаджи, того самого погонщика верблюдов, который однажды рассказал ему о Хасангата-хазрете и Поэме Тишины. Старик хорошо его помнил и обрадовался этой встрече, так как встречи в дороге скрашивают жизнь путников. Морщины старика стали еще глубже. Пламя костра выхватывало из темноты каждый жест реальности, отдавая его вечности. Было в этой встрече что-то завершающее, кольцевое, так же, как сходятся два полумесяца в ночи, как сходятся в степи дороги.

— Какая поэма тишины? — удивился Ахмат-Хаджи. — Ах да! Ты знаешь, все, что я тебе тогда рассказал, я придумал.

Зия Акмал почувствовал озноб и подсел ближе к костру. В следующее мгновение он вскрикнул, так как обжег колени. Затем тут же вскочил и ушел в темноту. Там, в полной слепоте, он достал из ножен кинжал и рассек тьму сверху вниз. Он рассек тьму три раза, он рассек сверху вниз свое прошлое, настоящее и будущее.

Подойдя обратно к костру, Зия Акмал взял свой испещренный отметинами дорожный посох и бросил его в костер. Старик удивленно посмотрел на него. Через несколько минут посох превратился в угли. Ахмат-Хаджи нарушил молчание и произнес:

— Нет ничего, чего не было. Нет ничего, чего могло бы не быть.

Зия Акмал переночевал вместе с караванщиками, а наутро отправился в обратный путь. «Я построил свою жизнь на том, чего нет. Со мной случилась самая жестокая несправедливость», — думал он. Вскоре Зия Акмал вышел к Итилю и при виде водного пространства наконец успокоился. Он сел на высоком берегу и долго смотрел, как продельывает свой неторопливый путь вода. Облака опять шли в сторону Мекки, словно свершая бесконечный хадж.

И вот что понял Зия Акмал, глядя на воду великой реки. Он всегда считал, что ищет поэму в окружающем мире. На самом деле поэма рождалась в нем самом, в окружающем же мире он искал ей лишь подтверждения.

Вначале было Слово. А реальность подтверждала его правильность. А если этого слова не было рядом, Зия Акмал

проходил немыслимые расстояния, чтобы рано или поздно его услышать.

Судьбу человека делают слова, которые в нем живут. Говорят, два человека, прожив много лет вместе, становятся похожими. Это оттого, что они говорят одинаковые слова. Монголы имеют острый разрез глаз из-за остроты и резкости своего языка. Эфиопы черны потому, что мало говорят, а отсутствие слов ведет во мрак, в черное ничто.

Кто сказал, что мысль изреченная есть ложь? Ерунда. Мысль — вот настоящая ложь. Слово дается Всевышним и оно — знак Всевышнего. Слово своей божественной силой сведет на нет любую грязь, порожденную мыслью.

Зия Акмал смотрел на речные струи, на стремительный полет чаек и продолжал свои рассуждения.

Слово не может быть без тишины. Тишина рождает слово и его подтверждает. Слово и тишина сотканы из одной материи.

Каждый человек носит в себе Поэму Тишины, и поэма эта бесконечна. Всегда можно завершить ее заключительной фразой, но это будет обман, на самом деле поэма продолжается всегда.

Зия Акмал мгновенным взором обозрел пройденные пути. Он прошел через разные испытания, но остался таким, каким был. Испытания даются человеку, чтобы убедить его в том, что он неизменен. Все его новые знания подтверждают лишь знания старые. Люди всю жизнь ищут подтверждения тому, что заложено в их сути.

Зия Акмал понял, что странствия его теперь ни к чему. Он посмотрел на горизонт и спустился к самой воде. Волна лизнула ему сапог и откатилась. И тогда он громко сказал реке строку поэмы, которая пришла ему на ум:

— Отныне я делаю то, чего хочет моя душа!

После чего Зия Акмал поспешил к жене и сыну.

Часть 2

Вахап Аминов, менеджер одной из коммерческих фирм, был неприметен, как галстук среди моря других таких же галстуков.

Но временами он брал телефонную трубку и слушал сквозняк тишины. Надо объяснить, что такое сквозняк тишины. Он напоминает помехи в эфире, мчащийся в проводах ветер, гул, бормотание, мурлыканье, скрежет вперемешку с шепотом. Временами там можно различить обрывки фраз. Это голоса мертвых. Но не только. Ты можешь услышать

детский голос — это ты в детстве. Также ты можешь услышать себя в старости. А если повезет, ты можешь услышать голоса не рожденных тобой детей, их очень много, они сливаются в единую высокую тональность, и эти высокие частоты может уловить только очень чувствительная душа.

Сквозняк тишины можно услышать не только в телефонной трубке, его можно услышать, например, в толпе на вокзале. Скопление множества людей может стать проводником этого сквозняка, поскольку сочетание разных душ порождает сквозняк, это словно тоннель в горе, созывающий ветра. Сквозняк особенно ощутим в больших гулких помещениях. Но нельзя путать сквозняк с обычным говором толпы или какими-либо помехами. Как его распознать? Очень просто. Когда раздастся его характерный звук, душа должна встрепенуться навстречу ему, а тебе останется только не мешать ей. Еще я могу посоветовать пить при этом чай, но вода для этого чая должна вскипеть трижды (за прошлое, настоящее и будущее), а в заварку надо положить сухой лист клена, который ты найдешь в одной из толстых забытых книг, не открывавшихся еще с детства.

Правда, есть люди с особо чуткими душами, которые могут слышать сквозняк тишины когда захотят. Но я к таким не отношусь. Не относился к ним и Вахап Аминов. Однажды он подошел к витрине магазина и стал всматриваться в бегущие буквы, словно в движущуюся воду. И вдруг сквозь гул уличной толпы отчетливо прозвучала фраза:

— Отныне я делаю то, чего хочет моя душа.

Вахап Аминов огляделся. Рядом никого не было. Лишь какой-то парень уходил вдоль витрины, но расстояние до него было достаточно далеким. В другой раз он поднял телефонную трубку, чтоб набрать номер, но сквозь далекий треск услышал: «Все отмеряется небесами, в том числе и густота чая». Вахап Аминов опустил трубку, а затем снова поднял, но услышал гудок. «Черт те что», — сказал он.

Был тот период весны, когда дни неощутимы на вес и не имеют сердцевин. Жизнь не обрела еще той грубой правоты, какую имеют собаки, разбрызгивающие весенние лужи. Чай казался слабым, а мысли — густыми и никчемными. На перекрестках улиц стояли кружками группы подростков, толкующих о чем-то своем и сплевывающих на асфальт. Вахап Аминов посмотрел на обильно заплеванный пяточок тротуара, покинутого пацанами, и задумался о том, чем вызван такой неэстетичный рефлекс. Чувство ущербного высокомерия вперемешку с мнимой бесшабашностью дает немед-

ленный приток слюны во рту, подумал он. Вахап Аминов последнее время ловил себя на том, что по-прежнему желает вникнуть в суть вещей. Он пытается постоянно толковать явления и строить бесконечные логические цепи. Хотя это усложняет жизнь, и только. Кроме того, от этого может заболеть голова. А голова должна быть свежей, как апрельский полдень.

Вахап Аминов остановился у киоска, чтобы купить пакет чипсов. Возле окошечка топтался забавный дед в тубейке и с тростью.

— Вот думаю, какой чай купить, — сказал он.

— Берите «Липтон», — предложил Вахап Аминов. Он не любил ждать в очередях.

— Он хороший? — с надеждой спросил бабай.

— Он просто замечательный.

— Спасибо, добрый человек, за совет, — поблагодарил бабай и купил пачку чая. — Пусть хранит тебя Аллах!

С этими словами он развернулся и заковылял куда-то по своим несложным делам.

— Я и не знаю, что это за чай, — сказал Вахап Аминов, протягивая мелочь.

— Правильно вы ему посоветовали, — ответила продавщица, — отличный чай. К тому же он прекрасно разбирается в чае. Я его знаю. Ему просто хотелось с вами пообщаться.

Вахап Аминов посмотрел вслед бабаю, который уже ковылял через улицу. «Когда-то все мы становимся старыми», — подумал он, и тотчас раздался оглушительный визг тормозов.

В следующее мгновение дед был снесен выскочившим из ниоткуда автомобилем. Трость совершила в воздухе несколько оборотов и угодила в стеклянную витрину. Старик лежал навзничь возле обочины и тяжело дышал. Он лежал прямо под знаком с изображением переходящего дорогу человека. «Надо же, — подумал Вахап Аминов, — знак перехода как будто подтверждает, что чья-то душа должна перейти в иной мир. Ах, опять я берусь что-то сравнивать и толковать».

Глаза старика были закрыты.

— Подождите, я вызову «скорую», — крикнул Вахап Аминов, подойдя к нему.

Бабай открыл глаза. Затем посмотрел перед собой и произнес странную фразу:

— Этот мир — словно старая одежда. Пришло время ее сменить...

— Что? — Вахап Аминов не понял его.

Старик прикрыл глаза и не ответил.

Совершивший наезд автомобиль остановился поодаль, как будто чего-то выжидая. Затем резко сорвался с места и скрылся за поворотом. Вахап Аминов успел разглядеть человека, сидевшего за рулем, а точнее, короткую толстую шею и тяжелый профиль, умчавшийся в неизвестность.

Врач «скорой помощи» зафиксировал смерть неизвестного пожилого человека. Затем Вахап Аминов дал свидетельские показания прибывшей милиции.

— Номер машины помните? — спросил лейтенант.

Вахап Аминов назвал номер. Запомнить его было легко, поскольку состоял он из трех одинаковых цифр.

Возле витрины магазина лежала трость старика. «Удивительно, — подумал Вахап Аминов, подняв ее с асфальта. — Человека уже нет, а рукоять еще теплая. Небытие ближе, чем собственная ладонь, только мы никогда этого не замечаем».

Через несколько дней он забыл о старике и об этом печальном происшествии.

— Кто там? — спросили из-за двери.

— Я, — ответил Вахап Аминов и поразился, словно впервые услышал свой голос. Он сказал «я», вспомнил о себе, и ему стало так грустно, что ноги его ослабели. Он понял, что давно забыл себя, а это самое последнее дело — забывать себя.

— Я, — повторил он, входя в открывшуюся дверь.

— Что с тобой? — спросила женщина.

— Ничего.

— Ты плохо выглядишь.

— Мне грустно, — сказал он.

— Отчего? — спросила она, наливая ему чай.

— Ты знаешь, я был когда-то маленький и очень ждал Нового года. А сейчас мне все равно, придет он или нет. Тебе меня жалко?

— Еще как жалко!

Перед тем как лечь, она долго смотрела на себя в зеркало.

— Хорошенько запомни себя перед сном, — сказал он ей из постели. — Навсегда запомни свои черты. А то можешь забыть себя во сне. А если забыла себя во сне — считай, что все кончено. Ты можешь себя не вспомнить. И проснуться в другом месте.

— Как это? — спросила она с подозрением.

Но он уже запутался и не помнил, с чего начал.

— Проснешься в другом месте и ничего не будешь знать.

— Что знать?

— Да отстань ты от меня. Вечно привяжешься непонятно с чем. Иди ко мне.

Вахап Аминов знал толк в женщинах. Он любил их всех до одной и хотел обладать всеми ими разом. Но на такую универсальность способен только Всевышний, в чьей власти души и женщин и мужчин. Вахап Аминов довольствовался теми, кто рядом.

Когда спустя полгода его убьют двумя выстрелами в упор, о нем вспомнят в разных домах. Та, в объятиях которой он сейчас засыпал, уронит голову на руки, и на странице открытой книги расплывется влажное пятнышко. А та беленькая, которую он постоянно обманывал, тихо зарыдает и две недели не ступит ни шагу из дому. И даже та, надменная и кареглазая, из далекой юности, когда-то не принявшая его горячую руку, опрокинет фужер с шампанским и, оставив гостей, уйдет в свою комнату. Его душа будет перемещаться от одной к другой, а потом увидит их всех разом, а затем метнется туда, где его будут ждать женщины, ушедшие прежде него. И тогда его освободившаяся душа с бесконечной силой полюбит их всех, находящихся и на этом и на том свете.

Он уснул в ее объятиях и наутро покинул ее с птицами. Он шел по улице и слышал крик муэдзина с далекой мечети Иске-Таш. С того самого минарета, где лестница, ведущая вверх, узка, как дороги в снах. Вахап Аминов выпутывался из снов, из узких бестелесных коридоров и, шагая к оставке, просыпался.

Опять выпал снег, который таял на глазах. Вахапу Аминову нравилось это повторение — снег, потом ручьи, снова снег, и снова ручьи, солнечные блики, сокровенный запах земли. В этой заикленности было подобие вечной весны.

Дворники усердно убирали снег, который и без того таял. Это желание соучаствовать весне выгоняло их на улицы, где зимой было так бесприютно и холодно. Ведь каждый хочет помогать весне в меру своих сил. Кто-то истребляет лед наперегонки с солнцем, кто-то освежает пространство улыбкой, а кто-то насыщает горизонт бесконечным желанием счастья. Вахап Аминов вдохнул апрельского воздуха. Ему захотелось жить, кататься на коньках, заниматься производством, ходить на рыбалку, любить женщин и еще много другого, чего он сам не знал.

— Дайте, мне, пожалуйста, папку с договорами за прошлый год, — попросил главбух Ненашев.

Вахап Аминов оторвался от экрана компьютера и пере-

дал ему папку. Главбух Ненашев несколько минут листал документы, а затем резко встал и подошел к окну.

— Знаете, что я думаю?

— Нет.

— Я думаю, что ... вообще, — речь главбуха была сбивчива и прерывиста, — вот смотрю я в окно и вижу снег. А он только выпал, он белый-белый. А пацаны играют в футбол, а мяч розовый. Вы понимаете, снег белый, а мяч розовый. И щеки у пацанов тоже розовые, как мяч. А снег тает, а сверху летают грачи. Вы меня понимаете?

— Конечно понимаю, — Вахап Аминов оторвался от экрана. — Еще как понимаю!

— Надо поставить чайник, — засуетился главбух Ненашев. — Уже время. Включите его, пожалуйста.

Вахап Аминов включил электрический чайник и подошел к окну. Пацаны внизу уже разошлись по домам. Снег под ногами пешеходов претерпевал страшное превращение — небесная, ангельская субстанция на глазах становилась земной грязью. Вдали за крышами поблескивал освобождающийся ото льда Итиль, его поверхность напоминала саблю, легшую плашмя вдоль горизонта.

Временами его работа приносила ему удовлетворение, но иногда он чувствовал себя в офисе как инородное тело. С этим многоэтажным зданием была связана одна легенда. Говорят, владелец фирмы Хамди Валетов, еще во времена своей безвестности, явился однажды ночью на пустырь. Этот пустырь был такой темный, что сам шайтан не согласился бы там заночевать. Хамди Валетов зарыл в землю собственный зуб и прочел над ним слова заклинания.

Наутро на этом месте выросло многоэтажное здание из стекла и стали. В следующую ночь Хамди Валетов поймал на улице черную кошку и прокричал ей в ухо другое заклинание. (Кстати, многие в ту ночь видели, как он на площади Восстания что-то кричал кошке в ухо, но никто тогда не придал этому значения). Наутро в здании появилась оргтехника, средства связи, сигнализация и прочее.

Вахап Аминов подозревал, что и некоторые клерки возникли здесь вместе с оргтехникой, настолько они соответствовали духу заведения. Однако ближайшие его сослуживцы — главбух Ненашев и старший менеджер Джульетта Хузина были весьма забавными людьми, и он даже иногда скучал, если долго с ними не виделся.

— Идите пить чай, — позвал главбух Ненашев.

— Как у вас хорошо получается заваривать чай, — ска-

зал Вахап Аминов, пригубив из чашки. — Поделитесь секретом.

— Дело не в секрете, — сказал главбух, — дело в таланте. Кому-то дано, кому-то нет.

— На заваривание чая влияет множество причин, — продолжил он после того, как налили по второй чашке. — Вкус чая, например, меняется, если за окном идет снег. Сейчас, когда снег на улице тает, в чае появляются оттенки чего-то уходящего, и мы пьем чай, как будто мучаем себя сладкой ностальгией. Кроме того, на вкус чая действует форма помещения. Чай хорошо заваривается в бревенчатых избах, а также в больших овальных залах. Но лучше всего чай заваривается в хрущевских кухнях ближе к полуночи.

— Это проверено и нами, и нашими отцами, — заметил Вахап Аминов.

— Совершенно верно, — сказал главбух Ненашев. — При этом огромное значение имеют разговоры, которые ведутся. Вкус чая может изменяться при каждой фразе.

— Кстати, — спросил Вахап Аминов, — когда вы завариваете чай, какие слова вы говорите?

— А вы как думаете?

— Я думаю, что вы говорите что-нибудь вроде «чай, заваривайся! Чай, заваривайся!»

— Ни в коем случае. Такими словами можно оскорбить чай. Вы принуждаете, торопите чай, пытаетесь им руководить. Но природой, как вы знаете, нельзя руководить. Поэтому, когда заваривается чай, ничего не надо говорить. Мало того, в этот момент не надо ни о чем думать. Голова должна быть пуста, нюх обострен, а душа должна слышать звуки Вселенной.

Когда закончили с чаем, главбух поставил обратно в холодильник варенье. Затем он поглядел в зеркало, которое висело над холодильником, и долго вглядывался в свое отражение, словно примеривал свой облик. Затем сделал боксерский выпад и с удовлетворением снова посмотрел на себя.

— Что вы себе позволяете! — вскричала входящая в комнату старший менеджер Джульетта Хузина. — Кто вам разрешил мерить мою шапку?

Она резким рывком схватила с холодильника шапку.

— Не трогал я вашу шапку, — возмутился Ненашев. — Сдалась она мне.

— Нет, вы мерили мою шапку, я видела!

— Он смотрел в зеркало, — сказал Вахап Аминов.

Эти слова Джульетту Хузину успокоили.

— Пейте чай, он еще горячий, — предложил Ненашев.

— Пожалуй, выпью, — она полезла в стол за своей чашкой.

Сама Джульетта Хузина чай никогда не заваривала, поскольку в ее руках он не желал завариваться. Она обладала странной способностью воздействовать на окружающее. Кактус, за которым она ухаживала, со временем дичал (хотя никто никогда не видел одичавший в горшке кактус). Однажды, живя на даче, она взяла поросенка на откорм. Поросяенок, вначале милый и розовый, со временем покрылся шерстью, жесткой, как проволока. Ветеринар из соседнего колхоза сказал, что это редкий случай возврата к предкам. Поросяенок поразительно много ел и при этом совершенно не прибавлял в росте. Увеличивался только его дышащий со свистом нос. Это существо выглядело так: половина объема — поросенок, половина — его нос. С утра этот заросший шерстью поросенок убежал на улицу и до вечера носился с собаками, соблюдая законы стаи и пытаясь лаять. Однажды поросенок убежал в лес с целью окончательно превратиться в кабана. Но вскоре прибежал обратно. Ему там не понравилось. В лесу надо было добывать себе еду, а это его не устраивало. Поросятка съели. Соседка говорила, что по вкусу он напоминал некастрированного бычка.

Словом, Джульетта Хузина имела странное покровительство над опекаемыми существами. Мужчины возле нее долго не задерживались, начиная подозревать неладное.

— Если посчитать, сколько народу меня бросило, — говорила она, — пальцев на руках не хватит. Да что там пальцев, столько деревьев в лесу нет, сколько мужиков меня бросило.

Но ей хотелось иметь детей, и однажды она взяла из детского дома девочку. Взрослея, девочка не покрылась щетиной и не одичала. Произошло нечто обратное. Девочка терпеть не могла, когда за столом чавкали. Ее взгляд испепелил бы того, кто позволил себе отрыжку. Как-то она заперла в ванной сантехника, который пришел чинить кран и при этом матерился. Сантехник просидел в ванной 12 часов и на следующий день уволился. В другой раз она стала инициатором зверского избиения продавщицы, которая обвешивала покупателей и хамила. Она сама, разумеется, не била, а лишь подначивала толпу: «Есть тут мужчины, в конце концов?».

Такова была Джульетта Хузина. Самым странным было здесь то, что ее непостижимые чары действовали только на тех, кого она любит. Будь то кактус, поросенок или девочка. Что касается служебных обязанностей, она относилась к ним холодно. Поэтому ее работа не страдала, и сметы составлялись в срок.

Вахап Аминов заметил, что нельзя долго находиться в поле действия Джульетты Хузиной. Однажды, после того как она долго и внимательно на него смотрела, волосы его стали кудрявиться, и никакая расческа не могла их смирить. И тогда Вахап Аминов понял, что ни в коем случае нельзя дать ей себя полюбить. Иначе можно измениться так, что себя не узнаешь. Он несколько дней с ней не здоровался, и волосы его выпрямились.

— Кому нужна ваша шапка? — сказал Вахап Аминов. — Ей место на помойке.

— А вот и неправда, — сказала Джульетта Хузина, допивая чай. — У меня прекрасная шапка, просто вам по вашей простоте этого не понять. Не по вашей голове эта шапка.

— Кстати, о шапках, — вмешался главбух Ненашев. — Я изобрел новый головной убор. В нем есть этническая составляющая и в то же время военная. Представьте себе матросскую бескозырку с ленточками. Но в моем головном уборе основа не бескозырка, а тюбетейка. Ленточки, разумеется, остаются.

— Тюбетейка с ленточками! Какая прелесть! — воскликнула Джульетта Хузина и засела за свои бумаги.

Мужчины тоже разошлись по рабочим местам и приступили к своим вечным обязанностям, называемым служебным долгом.

Через некоторое время раздался телефонный звонок. Вахап Аминов взял трубку и услышал сквозняк тишины. Сквозь гул времени и вечное стрекотание вперемешку с мурлыканьем были слышны голоса мертвых, а перекрывали их выкрики нерожденных детей. А потом чей-то голос произнес: «Этот мир словно старая одежда, пришло время ее сменить».

— Черт те что, — сказал Вахап Аминов и положил трубку. Телефон тут же зазвонил опять.

— Алло, — сказали в трубке. — Это Вахап Аминов?

Звонили из городского отдела ГАИ. Его просили прийти и дать показания по дорожному происшествию, свидетелем которого он стал несколько дней назад. Он вспомнил старика и трость, сохранившую тепло уже мертвой руки. «Воистину небытие ближе к тебе, чем собственная ладонь», — опять сказал себе Вахап Аминов.

— Что? — переспросил его главбух Ненашев.

— Ничего. Ровным счетом ничего...

В тот же день он явился в городской отдел ГАИ и дал показания по делу. Его трижды переспрашивали, не ошиба-

ется ли он, называя номер машины. Нет, отвечал он, номер я перепутать не мог. Скорее я забуду себя, чем тот номер.

Прошел апрель, с улиц ушел снег. И в душе остался тот же осадок, какой остается после сна, такого легкого, что и содержание его вспомнить нельзя. Люди меняются после того, как сходит снег. Печальные становятся еще печальнее. Открытые еще более открытыми. А мудрые еще мудрей. Но суть человека не меняется, считал Вахап Аминов. Скорее группа крови человека изменится, чем его суть. Каждый с чем приходит на свет, с тем и уходит. Ничего не узнав. Ничего не обрета. Человек несет свою истину, как река свою воду. И всю жизнь с удивлением замечает подтверждения своей истине, наивно полагая, что узнает нечто новое.

Так рассуждал Вахап Аминов, сидя в баре и вглядываясь, словно в бегущую воду, в поток пролетающих за стеклом машин. Вдруг из вечного движения выделилось темное пятно. За стеклом стоял человек в темном плаще и темном галстуке и смотрел на Вахапа Аминова. Во взгляде его угадывалась та безошибочность, какая обычно ввергает в беспокойство. Человек исчез и тотчас появился в дверях. За ним вслед вошел второй, точно такой же, в темном плаще и темном галстуке. Они подсели к столику Вахапа Аминова и смотрели теперь на него, как смотрят боксеры перед матчем, тяжело и не опуская ресниц.

— Чем могу быть полезен? — спросил Вахап Аминов.

Они продолжали смотреть на него, стараясь задавить своим молчанием.

— Советуем тебе забрать свои свидетельские показания, — сказал наконец один из них.

Вахап Аминов промолчал. Затем принялся за свой кофе.

— Надеюсь, ты все понял? — сказал второй. — Мы договорились?

— Не уверен, — сказал Вахап Аминов.

— Хорошенько подумай.

Они ушли. Вахап Аминов глядел на проносящиеся за стеклом автомобили, словно в бегущую воду. Но эта вода была теперь другой, она имела острый отсвет небытия.

Он опять и опять вспоминал того старика, сбитого машиной. Что это был за человек и куда вели его земные пути, Вахапу Аминову было неизвестно. Но лицо старика теперь казалось ему странно знакомым и близким. Близким не по внешним чертам, а по некоторой скрытой сути, которая за

ним проступала. Здесь мерещилась сила, посредством которой рднятся бегущая вода и слово, человеческая душа и ветер, слышимое и неслышимое. Вахап Аминов шел по очищенной ото льда улице и вдыхал острый апрельский воздух. Он твердо решил не отказываться от своих свидетельских показаний. Ему предлагали предать старика. А значит, предать слышимое и неслышимое, рождающуюся траву и ветер. Вахап Аминов остановился и сказал:

— Отныне я поступаю так, как хочет моя душа.

В следующий миг он увидел двух мальчиков-близнецов, которые переходили улицу. А если увидишь близнецов, то, как известно, твоя мысль поддержана небесами. Вахап Аминов рассмеялся, и отсвет небытия, присутствующий всюду, бесследно исчез. Кстати, это было не последнее подтверждение его выбора в тот день. Несколькими минутами позже навстречу ему попался его партнер по футболу — сантехник Васнецов, который шел в обнимку с каким-то типом. Вахап Аминов радостно дернулся навстречу Васнецову, но вдруг заметил, что это не Васнецов, а некто очень на него похожий и очень красный от пива. Говорят, если увидишь кого-то похожего на твоего знакомого, то вскоре встретишь и самого знакомого. Вахап Аминов не успел об этом подумать, как увидел, что человек, который идет в обнимку с красномордым Лже-Васнецовым, является не кем иным, как настоящим Васнецовым.

— Привет, Вахап, — сказал Васнецов. — Познакомься, это мой брат Кузьма. У меня сегодня отгул. Вот пивком разминаемся.

— Как ты мог! — сказал Вахап Аминов. — У нас же вечером футбол. Ты что, не придешь?

— Ни в коем случае, — успокоил его Васнецов, — обязательно приду.

Вечером они встретились на поле.

Это действо происходило по четвергам на пустыре, что за школой № 212. Люди, приходящие сюда, принадлежали к клану избранных и посвященных, члены которого отдавали душу футбольному мячу, словно круглому богу. Мяч забирал душу мгновенно. Все тайны мироздания сходили на нет, стоило надеть кроссовки и выйти на поле.

Когда-то они жили в близлежащих домах-хрущевках и гоняли здесь мяч, побросав в кучу школьные ранцы. Над полем поднималась подсвеченная полуденным солнцем пыль, и пацаны носились сквозь нее, словно крикливые привиде-

ния. Прошли годы, пацаны выросли, переехали в другие районы, но приезжали сюда один раз в неделю, вечером, невзирая на любые препятствия. Не было на свете ничего, что могло бы отменить футбол.

— Кстати, завтра Страшный суд. Ты будешь?

— К сожалению, я не могу, у меня завтра футбол.

Вот такой диалог вполне был бы уместен, чтобы описать преданность этих людей мячу. Они играли на том же месте, словно храня некий кровный обет, данный этому пыльному пятачку земли. Здесь проливался сладкий детский пот, затем свежий юношеский, а потом горький мужской. Земля была пропитана потом и утоптана тяжестью взрослеющих, матеряющих тел. На этом поле никогда ничего не вырастет. Так когда-то плодородие почвы убивали солью, и земля ничего не рожала. Говорят, когда-то отсюда уходили в свои жестокие походы воины Казанского ханства. Кони топтали эту землю так усердно, словно старались сродниться с ней, ведь кони знают то, чего не дано знать их хозяевам — вернутся они или нет. В более же поздние времена горожане приносили здесь в жертву коз, чтобы спасти город от страшной напасти — чумы, которая уносила людей верней, чем Тамерлан. Земля пропиталась спасительной кровью животных в четыре человеческих роста в глубину, прежде чем чума покинула город.

Футбольный мяч катился по древней земле, утверждая, что жизнь продолжается. Катание мяча имеет огромный смысл, говорил сантехник Васнецов. Мы катаем мяч, словно единственную для себя истину. Каждый из нас во что бы то ни стало пытается завладеть ею и, завладев, делится с ближним. Забивая гол, ты утверждаешь свою правоту, как никто другой. Но самое главное в футболе то, что истина всеобща, как мяч, который каждый из нас старается приручить и присвоить. Мяч — он вроде бы и для тебя, но твоим быть не может, он над всеми, как истина, — так завершал свою речь Васнецов.

Они играли раз в неделю, и всю неделю им снились одинаковые сны. Так же, как казанские воины, которые вторгались в далекие земли, чтобы уже никогда оттуда не вернуться, так же, как души бедных животных, которые уносились в темноту, чтобы умиловить глухое божество, — так и наши футболисты неслись в своих снах в бесконечном дриблинге, ни на миг не упуская мяч, ведь в снах мы все обладаем истиной.

Приходил четверг, и истина, достижимая лишь в снах, становилась ближе, чем когда-либо.

Переодевались тут же на поле, обдуваемые свежим ветром и сгорая от нетерпения. Едва раздавались первые уда-

ры по мячу, из-за крыш близлежащих домов раздавался рокот, и через несколько минут напротив поля, взметнув кучи мусора, приземлялся вертолет. Из вертолета выбегал уже переодетый в спортивную форму мультимиллионер Свирид Аглаев и тут же налетал на мяч, словно коршун, спустившийся с небес. Вслед за ним выбегали два его телохранителя, которые занимали наблюдательную позицию по сторонам поля.

Свирид Аглаев сменил несколько жен и несколько раз успел сменить родину. Его бизнес гонял его из страны в страну, словно мяч, но Свирид Аглаев не пропустил ни одной игры и раз в неделю прилетал сюда из любой дали. Говорят, ради этого он отменял важнейшие совещания, и вполне возможно, что каждая игра стоила ему баснословных денег. Надо сказать, что присутствие Свирида Аглаева на поле всегда добавляло остроты в игру, поскольку играл он с полной самоотдачей. А в сырые осенние дни находилось применение и вертолету. Железная тысячесильная громадина зависала над полем и создавала своими лопастями такой ветер, что лужи тотчас высыхали.

Если вдруг в какой-либо из команд не доставало игрока, Свирид Аглаев приказывал вступить в игру одному из своих телохранителей. Второй телохранитель исполнял роль зрителя, не забывая оглядывать окрестности и крыши соседних домов. Впрочем, всегда могла последовать команда хозяина: а ну-ка сбегай за мячом, чего стоишь тут как пень. Или: а ну-ка быстро принеси из вертолета качок, не видишь, мяч сдулся. И еще что-нибудь в этом роде.

Свирид Аглаев презирал другие виды досуга. Его совершенно не волновал головокружительный слалом среди ослепительных снегов Альп, его душу не увлекало волшебное скольжение гавайской доски на высокой волне Тихого океана. Ему было нужно это пыльное, в окурках поле, где его партнер кричал ему матом, почему он, мудака, не дает ему наконец пас. Разумеется, социальный статус играющих здесь не учитывался. Не учитывался он и после игры, когда члены братства пили пиво в ближайшей пивной.

Они всегда позволяли себе в меру напиться.

— Такая хреновая жизнь, — начал жаловаться после игры режиссер Вали Ухватов, усердно накачиваясь пивом. Он искал у друзей сочувствия и, конечно же, находил. — Ладно еще есть на свете футбол, иначе бы вообще никакого просвета в жизни не было.

— Точно, — поддержали его другие.

— Человек рождается для футбола, как птица для полета, — сказал писатель Муртаза Летов, отпивая из кружки.

— Рождается для футбола, а умирает неизвестно за что, — сказал сантехник Васнецов и ударил сушеным лещом по краю стола. От резкого стука попугай в клетке, что висела на стене, возмущенно заверещал.

— У меня к вам просьба, — сказал Свирид Аглаев, — если я умру раньше вас, отправьте меня в последнее странствие, положив рядом мяч.

— И у меня такая же просьба ... — раздались голоса. — И у меня...и у меня...

Они сдвинули кружки с таким шумом, что попугай в клетке задергался, как пойманный, а рыбки в аквариуме заметались, словно в предчувствии шторма.

— Девочка, — сказал Свирид Аглаев официантке, — еще всем пива.

Вахап Аминов смотрел на своих друзей и думал о том, как неодинаковы человеческие судьбы и вместе с тем так похожи. Он знал этих людей с детства и видел раз в неделю, как видят горизонт через проскакивающие вагоны проходящего поезда. Менялись профессии, доходы, семейные положения, среда обитания. Но человек оставался таким же.

Вот напротив сидит кинорежиссер Вали Ухватов. Его взгляд остановился на пивной кружке. Кое-кто еще помнил фотовыставку молодого Вали Ухватова. Автор представил тогда публике странные фотографии. Как он утверждал, это действительность, запечатленная в снах разных людей. «Но разве можно проникнуть в сны других людей, тем более с фотоаппаратом?» — спросили его. Именно с фотоаппаратом туда и можно проникнуть, самонадеянно отвечал он. Фотоаппарат в некоторых случаях является пропуском не только в сны, но и на другие недоступные территории.

Позднее фотоаппарат сменила кинокамера. Вали Ухватов снял множество фильмов, но считал, что так и не снял ничего путного. Его цель заключалась в том, чтобы снять фильм такой силы, чтобы его смогли увидеть на том свете. Но только очень сокровенные фильмы смотрят на том свете, говорил Вали Ухватов. А всю эту ерунду, которую мы делаем, не смотрят даже на этом свете, не то что на том. А со временем, добавлял он, мы объединимся (то есть те, кто в этом что-то понимает) и создадим целый канал телевидения, который будут смотреть на том свете.

Вахап Аминов знал некоторые его фильмы и находил их интересными. Например, ему запомнились следующие эпизоды. Из кухонного крана медленно появляется и срывается вниз капля. Затем энергия падающей капли словно перехва-

тывается самолетом, который летит в недостижимой высоте. Эту эстафету подхватывает мчащаяся среди осенних полей электричка, а затем поющий на ветке соловей. Все это создавало ту атмосферу всеобщего единства, которую ощущал Вахап Аминов, слыша сквозняк тишины. Он догадывался, что этими знаками руководят одни и те же силы.

Во всех его фильмах нет идеи, говорили о Вали Ухватове. В ответ на это режиссер заявлял, что есть на свете нечто выше, чем идея. Так же, как и человеческая жизнь, добавлял он. Все от нее требуют смысла, а она выше смысла, и не надо подходить к ней с такими глупыми требованиями, как смысл.

Однако, как ни странно, Вали Ухватов однажды снял фильм, который противоречил его убеждениям. Это был боевик. Сюжет его заключался в следующем. Главный герой фильма — обычный клерк — случайно переходит дорогу некоему преступному клану. За что его, разумеется, жестоко наказывают. Убивают, насколько мне помнится, его жену и еще, кажется, близкого друга. Герой устремляет взор в синее небо и клянется отомстить. Чем и занимается всю оставшуюся часть фильма. Правда, последовательность отмищения здесь весьма своеобразна. Клерк под покровом ночи проникает в дом, где живет глава клана, и пускает ему пулю в лоб. Он убивает его, словно какую-то мелкую сошку. Его, в чьих руках все рычаги преступной машины. Именно после этого-то и развиваются основные события фильма. Далее наш клерк расправляется с заместителями главы и так постепенно, спускаясь все ниже по иерархической лестнице клана, добирается до непосредственного исполнителя злодеяния. Этому предшествуют долгие споры главного героя со своим соседом. «Все злодеяния в мире, — утверждает он, — происходят из-за тех, кто всегда готов убивать и лишь ждет для этого сигнала. Сталин не виноват. Он и не убил-то никого. А виноваты тысячи и тысячи тех слабодушных, которые убивали, ссылаясь на приказ и оправдывая себя приказом.

— Но ведь ты обвиняешь весь народ, — сказал ему как-то Вахап Аминов.

— Да, — ответил Вали Ухватов. — От народа-то и все беды.

— Так нельзя относиться к народу. А как же народное творчество, сказания, легенды и прочее?

— У народных легенд и прочего есть конкретные авторы, просто они забыты, — сказал Вали Ухватов. — А сам народ ничего не может сотворить, кроме столпотворения.

Ах да, я забыл упомянуть, что еще сотворил народ. Это народные пляски. С повизгиванием и притопыванием. Ничего серьезнее он не придумал. Более того, народ все портит. Вот я включаю в ванной кран, а там вода еле бежит. Почему? Народ пришел с работы и теперь моется, забрав всю воду. Вот я хочу сесть в троллейбус, а там народ набился под самую крышу, и мне приходится брать такси.

Его было бесполезно переубеждать.

Но вернемся к фильму. В финале наш герой вступает в поединок с непосредственным убийцей его близких. Именно здесь апогей противостояния добра и зла. Убийца — совершенно невзрачный человек из толпы и ни одной чертой лица не примечателен. Такого забудешь, едва отведешь от него взгляд. Но именно он и является носителем вселенской дисгармонии. Поединок проходит по всем правилам боевика. Долго крушится мебель и ломаются ребра. И наконец злодей наказан и переходит в небытие, как того требуют законы жанра.

Но повторяю, это был единственный фильм Вали Ухвата, где присутствовала идея. Вероятнее всего, это была ироничная усмешка элитного режиссера, который облек идею в низкий жанр боевика.

Вахап Аминов вдруг вспомнил о ситуации, в которой оказался сейчас сам. Ему явно угрожали, и дальнейший ход событий был пока неясен. Он оглядел друзей и подумал: а не стоит ли рассказать им про это? Нет, решил он. А потом, это мое и только мое дело. А точнее, мое и того старика, с которым меня связывает общая тайна.

Тем временем послефутбольное застолье продолжалось. На столе сменились напитки. С той же неизбежностью, как за весной приходит лето, пиво в мужской компании сменяется водкой. Тосты во славу мяча уступили место более общим тостам. Рюмки сдвигались, словно части хорошо отлаженного механизма.

— Девушка, еще бутылку, — распорядился Свирид Аглаев.

— А не свалимся? — спросил с опаской Муртаза Летов.

— Организм, который выдерживает такую лютую беготню, — сказал сантехник Васнецов, — запросто выдержит литр водки.

Вдруг послышался дикий крик. Это кричал попугай, и голос его был полон новых волнительных интонаций.

— Чего там ему опять не нравится? — спросил Вали Ухватав.

Лапка попугая застряла между прутьями клетки, и бедная птичка висела вниз головой, проклиная судьбу. Вахап Аминов помог ей высвободиться и вернулся к столу.

— Может, все-таки выпьешь? Это им нельзя, они на работе, — Свирид Аглаев кивнул в сторону своих телохранителей, которые безмолвно сидели за соседним столиком. — А тебе-то сам Бог велел.

— Нет, — помотал головой Вахап Аминов. Он не пил спиртного.

Если человек вообще не пьет, у него что-то с головой. Эта мысль насквозь пронизывает историю человечества. «А мне плевать на весь опыт человечества, — говорил Вахап Аминов. — Меня интересует только собственный опыт».

Застолье набирало обороты. Вскоре Свирид Аглаев заявил, что давно пора поесть. После чего позвонил в самый дорогой ресторан и велел привезти в пивную ужин на пять персон. Он долго переспрашивал наименования блюд и выносил меню на всеобщее обсуждение. После ужина кому-то взбрело в голову поехать купаться, как ездили когда-то после игры. Эта идея была поддержана всем столом. Они загрузились в ночной троллейбус, а именно ночной троллейбус добавлял в это путешествие атмосферу юности, и поехали в сторону Итиля. Свирид Аглаев сунул водителю ворох денег и велел не останавливаться на остановках. Это был троллейбус, какой они хотели, — старый и дребезжащий, с гуляющим в салоне шальным ветром. Троллейбус мчался по ночным улицам, а вверху, словно на невидимой нити, летел вертолет, который старался не упустить из виду своего хозяина.

Они разошлись за полночь. Братство распалось ровно на одну неделю. Ночное такси унесло режиссера Вали Ухватава на другой конец города, где его давно ждала истеричная жена. Сантехник Васнецов пошел ночевать к своему брату Кузьме, жившему неподалеку от дамбы. Свирид Аглаев вознесся в своем вертолете в темную высь и долго потом смотрел в иллюминатор на уходящие огни проспектов и площадей, которые постепенно сменились мраком бесконечных полей.

Вахап Аминов вызвался проводить Муртазу Летова, который сам до дома вряд ли добрался бы. Они шли по мосту через Итиль, и писатель вслух размышлял о жизни. Проводить пьяных — дело неблагодарное. «Но лучше пьяный писатель, чем пьяный начальник, — думал Вахап Аминов, поддерживая его за локоть. — Или, скажем, милиционер, или заведующий кадрами».

Ветер с Итиля был свеж и плотен, словно имел ладони, которые мягко упирались в грудь и мешали идти.

— Давай поймем такси, — сказал Вахап Аминов.

— Нет, — ответил Муртаза Летов. — После хорошей выпивки надо долго ходить пешком, иначе завтра будешь носить вчерашний день за пазухой, словно тяжкий грех. Со вчерашним днем надо стараться покончить вчера, то есть сейчас.

Он остановился, облокотясь о парапет моста, и вдохнул речного воздуха. Трудно было представить, что этот седоватый почтенный человек несколько часов назад остервенело носился по полю, гоня мяч.

— А вчерашний день, переживаемый сейчас, — продолжил Муртаза Летов, — особенно значим. Для тебя он уже умер, а ты его как будто насильно воскрешаешь и удерживаешь. Ты мог не видеть этих огней и не вдыхать этот речной воздух. Бытие проходит сквозь тебя, словно сквозь мутную воду, но ты делаешь усилие, и эта вода становится все прозрачнее, а воздух острее.

Он пнул носком ботинка камешек. Внизу под мостом послышался гулкий всплеск и тотчас затих.

Муртаза Летов был тем писателем, которые приобретают известность целенаправленно. Среди его творений были и довольно нашумевшие, например, книга «Мурлыканье тигра», повествующая о сильных мира сего и их слабостях, а также бульварный роман «Упоительный ад ее будней», который переиздавался шесть раз. Однако автор не придавал этим литературным опусам серьезного значения и утверждал, что таким образом зарабатывает себе на пропитание.

Другой его роман носил название «Тугие паруса Чингизхана». Не всякому известно, сообщал в ней автор, что повелитель Вселенной имел намерение создать боеспособный флот, а при его величайшем честолюбии неудивительно, что он хотел превзойти всех не только на суше. Корабли монголов были неказисты, но преодолевали морские мили так же неудержимо, как низкорослые монгольские лошади покрывали необозримые просторы степей. Однажды Чингиз-хан повелел своему любимцу Олдон-багатуру открыть новые земли в далеких морях. И этот приказ был исполнен, поскольку никто не осмелится прогневить повелителя Вселенной. Так за двести лет до Колумба была открыта Америка. Автор делает свои выводы на том основании, что на языке некоторых племен североамериканских индейцев встречаются мон-

гольские слова. А кроме того, воины этих племен стреляют из лука особенным образом, так же, как это делали воины монгольского племени тангутов. Почему же открытие не было зафиксировано в истории? Олдон-багатуру не удалось со своим флотом вернуться обратно. Монгольские воины навсегда остались на далекой земле и постепенно ассимилировались с местным населением так же, как это случилось с монголами во время других их завоеваний.

Писательский дар Муртазы Летова мог дремать годами и прорваться внезапно. Однажды он решил подарить свою книгу Вахапу Аминову.

— Есть одно правило, когда даришь свою книгу, — сказал писатель, взяв в руку авторучку. — Надписывать книгу надо непременно, когда даришь ее. Нельзя заблаговременно делать это дома. Кроме того, нельзя даже в уме продумывать будущий текст. Голова должна быть ясной. А пером должна водить душа. Разумеется, это касается только случая, когда даришь книгу хорошему человеку.

Он посмотрел на Вахапа Аминова долгим, проникновенным взором и начал писать на титульном листе что-то вроде: «Вахапу Аминову в один из весенних дней третьего тысячелетия дарю свою книгу. Хотя это могло случиться не весной, а летом. И не в третьем тысячелетии, а в четвертом. Но это должно было случиться, потому что на свете нет ничего, что не могло бы случиться...»

Писатель перевернул титульный лист и продолжил на обороте. Вахап Аминов хотел было сказать, что достаточно того, что есть, но Муртазу Летова нельзя было остановить. Авторучка его летала над страницей, отдавая бумаге сокрытые знаки доселе молчавшей души. Закончился титульный лист, затем настал черед шмуцтитула, а вскоре последовали страницы романа, которые взлетали одна за другой, словно перелистываемые ветром. Писатель перечеркивал написанное ранее в угоду приходящему со скоростью ветра новому. Вахап Аминов незаметно ушел, поскольку почувствовал себя лишним. Кстати, книга, которая рождалась на его глазах, была продолжена, и многие считали ее удачной. Основное повествование в ней перемежалось с притчами, и одну из них я помню. Речь в ней идет об одном молодом царе, который во время утреннего чаепития сказал:

— Мне надоела моя пиала. Замените ее.

Разумеется, пиалу поменяли в мгновение ока. В следующий раз царь, гуляя по лесу, повелел, чтобы все деревья в нем были одной породы. Но этого ему оказалось мало. Как-

то он взглянул на свою жену и не захотел ее больше видеть. Жену поменяли так же, как пиалу. Однако в душе было спокойно, а дела в государстве не ладились. С помощью своего могущественного дяди, который правил соседним государством, наш царь полностью сменил свое окружение — визирей, советников, военачальников, оркестр и даже придворного поэта. Но это совершенно не принесло успокоения царю. И тогда он решил поменять народ в государстве, посчитав, что с этим сбродом ничего путного не совершить. Народ погрузили в повозки и отправили в далекие земли, а взамен пригнали другой народ, более просвещенный и цивилизованный. Прошло столько времени, сколько должно было пройти. Царь заметил, что лес рождает самые разные деревья, как его ни смирай. Новая жена превращается в такую же стерву, что и старая. Визирь по-прежнему ворует, оркестр фальшивит, придворный поэт грубо льстит. А оба согнанных со своих земель народа возвращаются домой с той же неизбежностью, с какой струится песок в песочных часах.

Царь пил чай, когда рассуждал об этом. Он остановил взгляд на пиале и вспомнил, с чего все началось. Тут он увидел свое отражение в чае и понял, что можно тысячу раз сменить пиалу, но отражение останется прежним. И тогда он вскочил из-за стола и выбежал из дворца навстречу ветру. А ветер был такой сильный, что котов уносило. Коты терялись и не могли найти дороги. Царь вышел к морю, где в своей неистовой силе бушевала вода. Он встал на колени и сказал, что все принимает и все примет как есть, и даже если будет еще хуже, чем может быть. Молнии носились от воды к небу и наоборот. Ему было все равно, убьет его молнией или нет. Затем он направился обратно ко дворцу. Его встретила взволнованная исчезновением своего господина свита. А еще, подумал царь, в твоих исканиях должно участвовать как можно меньше народа. И деревьев. И камней. И чего угодно.

Автор завершил роман теми же словами, что были в его начале, а точнее, эта мысль присутствовала в дарственной надписи Вахапу Аминову: «Нет на свете ничего, чего не могло бы случиться».

Вахап Аминов подозревал, что это сквозняк тишины нашептывает писателю строки, а порой и целые главы. Речи персонажей, как известно, не могут взяться из ниоткуда, в противном случае они звучат нелепо. Но более всего Вахап Аминов ценил повесть Муртазы Летова о Зие Акмале. В этой повести утверждалась мысль о том, что каждый носит в себе свою поэму, надо только ее услышать. Конечно, Вахап

Аминов был согласен с предположением автора. Но, считал он, есть нечто большее, чем поэма, носимая человеком с рождения. Есть общее поле, а точнее — сквозняк тишины, откуда приходят слова к тем, кто способен их расслышать.

«А не поделиться ли своими соображениями с ним сейчас? — подумал Вахап Аминов, ведя под руку писателя, изможденного сумасшедшим футболом и водкой. — Впрочем, это бесполезно. Во-первых, он пьян, а во-вторых, он и так это все знает. Может, знает даже больше, чем я думаю».

Ночная река отражала огни города. Они шли через мост, овеваемые речным ветром.

— Завидую я тебе, — заговорил Муртаза Летов. — Завтра ты проснешься здоровым, а я буду мучиться похмельем. Сколько ни старайся протрезветь перед сном, на завтра будешь мучиться. А ведь известно, что, чем человек безобразнее напивается, тем тяжелее похмелье. Похмелье — это наказание за пьянство. Ответственность за содеянное. А содеянное и ответственность идут всегда рядом. При этом чем человек старше, тем сильнее похмелье, серьезней наказание. Со взрослого больший спрос за совершенные поступки. А с юноши спрос невысок, он ничего еще в жизни не понимает. Поэтому Всевышним так и устроено, что юноша не мучается с похмелья, а если и мучается, то совсем недолго. Так обстоит дело не только с похмельем. Со взрослого выше спрос за любые поступки, и наказание для него куда серьезней. Муки совести его тем сильнее, чем ему больше лет. Поэтому в нашем возрасте, — заключил он, — ни в коем случае нельзя идти на сделки с совестью.

— Это точно, — сказал Вахап Аминов. — А ты так всегда и поступаешь — по совести?

— Стараюсь поступать.

Вахап Аминов проводил его до дома. Затем вышел на освещенный ночными фонарями проспект, вдохнул острого весеннего воздуха и сказал себе:

— Поступать по совести, делать только то, что желает душа, спать только с любимыми женщинами.

Он вспомнил, какая из любимых женщин жила ближе, и направился в сторону женского тепла. А женское тепло не должно пропадать зря. Оно не для того, чтобы обогревать атмосферу. Он уснул в объятиях любимой, той самой, которая по утрам мастерски готовила кофе.

Не зря говорят, что день полностью зависит от утреннего напитка. Она знала слова, которые дают силу закипающему кофе и пробуждающемуся дню. Но эти слова нужно вов-

ремя произнести, утверждала она. В тот самый момент, когда темная пена поднимается к горловине турки, словно разбуженное прошлое, надо усмирить кипение словом и лишь затем снять турку с огня. Но здесь необходима предельная внимательность. Если произнесешь заветные слова раньше, чем положено, напиток будет содержать в себе недосказанность, и день будет недосказанным, словно строчка стихотворения, выхваченная невеста откуда. Если же, наоборот, опоздаешь, в кофе появится привкус уходящей истины, которую ты никак не можешь настичь. И день будет иметь точно такой же привкус. Ты будешь приходить к месту действия, опоздав ровно настолько, сколько необходимо для того, чтобы не свершилось все задуманное.

Она варила кофе, заперев дверь на кухню, не допуская его к тайнству. Он в это время неспешно умывался в ванной и рассматривал себя в зеркале. Есть вещи, в которых не нужно соучаствовать, а принимать их готовыми, как принимают будущее.

— Как всегда у тебя превосходный кофе, — сказал он, пригубив из чашки.

— Я старалась для тебя вдвойне, — сказала она.

Ее облик был уютен и ненавязчив. Зимой она сохраняла тепло, а летом прохладу, так же, как старые основательные дома. «Любой дом, — подумал Вахап Аминов, — строится для женщины. Мужчина в нем только гость. И вообще мужчина в этом мире гость, а женщина в нем как дома. Она приходит сюда хозяйкой и творит здесь уют, не мучая себя подозрениями».

— Налить тебе еще?

— Конечно, — сказал он. — Из твоих рук я выпью даже яд.

Она посмотрела на него. В ее взгляде была та женская покровительственность, с какой смотрят на младших братьев.

— С напитками будь осторожным, — заговорила она. — Например, никогда не пей томатный сок у незнакомых людей. Томатным соком ты можешь ненароком запить проклятие и дурной призыв. И тем более не пей томатный сок в гостях у женщины, поскольку женщина может стать твоим врагом, может быть, она уже и так твой враг, только ты этого не знаешь. А если женщина тобой любима, она твой враг настолько же, насколько и друг, иначе она не была бы для тебя так притягательна. Женщина-друг не может быть любима.

Он давно привык к ее советам. Она знала истину с недоступной для него стороны, с той стороны, откуда никакой мужчина ее никогда не увидит. Мужчина может только де-

лать вид, что понимает женщину, на самом деле он лишь убедит себя, что ее понимает.

Внезапно утреннюю тишину нарушил телефонный звонок.

— Тебя, — сказала она, подавая ему трубку.

— Как меня? Никто не знает, что я здесь! — удивился он. По спине его пробежал холодок. Утро начиналось странным образом.

В трубке послышался голос матери:

— Я догадалась, что ты у нее. Слушай. Вчера приходил Камиль. Он прождал тебя два часа и, не дождавшись, ушел.

— Мама, Камиль погиб год назад, — сказал он.

— Ну да. Он очень тебя ждал.

— Но послушай, — он был взволнован не на шутку, — Камиль прекрасно знал, что по четвергам я играю в футбол.

— Ты думаешь, мертвые не ошибаются? — голос матери был спокоен. — У них память гораздо хуже, чем у живых.

— А почему он не пришел ко мне домой, а искал меня у тебя?

— Это очень просто. Он пришел в дом, связанный с вашим детством. А детство помнят и на том свете, и на этом.

— Хорошо. Он что-нибудь сказал?

— Ты что! Они же не говорят.

Вахап Аминов молчал в трубку.

— Я думаю, что он пришел тебя о чем-то предупредить, — сказала мать через некоторое время. — Так что будь, пожалуйста, осторожней.

— Хорошо, мама, я буду осторожен.

Он положил трубку и продолжил утреннюю трапезу.

— Что-то случилось? — спросила она.

— Мама в последнее время очень мнительна, — ответил он.

Выходя от нее, он заметил записку, которая лежала на полу. По-видимому, она была вставлена с наружной стороны и выпала, когда он открывал дверь. Развернув записку, Вахап Аминов увидел нарисованную от руки трость. Ту самую трость, которая хранила тепло старика, сбитого машиной. Ему опять напоминали, что небытие ближе, чем собственная ладонь.

На дворе стоял май, цвела черемуха, а когда цветет черемуха, как известно, царит холодный северный ветер. Ветер этот вездесущ, и даже в закрытых наглухо помещениях чувствуется его дыхание. Но раньше ветра приходит сопровождающее его беспокойство. Людям становится неуютно в своих снах. Ночи в этот период особенно длинные, они

длинны вглубь себя, хотя внешне протяженность их обычна. Дни же, напротив, кажутся короткими и не имеющими сердцевины.

В один из таких дней Вахап Аминов остановился на улице и вгляделся в лужу, где пролетали отражения облаков и автомобилей. Его взгляд вошел в незримые пространства, и сквозь уличный гул вновь проступил сквозняк тишины. Вдруг чей-то голос сбоку отчетливо произнес:

— Старший лейтенант Бикмурзин.

Рядом стоял высокий лысоватый человек и протягивал ему руку. Вахап Аминов пожал протянутую руку и осмотрел незнакомца.

— Мне надо с вами поговорить, — сказал тот.

Есть люди, которым лысина к месту. Всевышний как будто завершил их облик несколькими взмахами полировальной кисти. Но старшему лейтенанту Бикмурзину лысина совершенно не шла. Она словно случайно нашла пристанище в его облике и невнятно проглядывала сквозь мелкие кудряшки, виновато отсвечивая розовыми оттенками.

— Вы, наверно, догадываетесь, о чем. Я хочу поговорить о том дорожном происшествии, свидетелем которого вы стали.

Вахап Аминов понял, почему Бикмурзину не идет лысина. Он был молод. А молодому лысина не идет в любом случае. Хотя, говорят, ранняя лысина дается человеку в подтверждение его серьезности.

— Надо же, — сказал вдруг Вахап Аминов, — как вы на отца своего похожи.

— Вы что, — удивился Бикмурзин, — знаете моего отца?

— Да нет, я так почему-то подумал.

— Я хочу предупредить вас. Человек, который вынуждает вас забрать показания, известный криминальный авторитет Хамдун Ротвейлер. Он будет на вас давить. Сейчас у нас это единственный способ засадить его за решетку. Наезд на пешехода, повлекший за собой смерть пострадавшего.

Из подворотни вышел кот и начал тереться об ноги старшего лейтенанта Бикмурзина. Это был серый, невзрачный кот дворняжьей породы. Такие обычно не доверяют первому встречному.

Вахап Аминов опять смотрел в лужу, где пролетали отражения автомобилей и облаков. Северный ветер царил в пространстве, во дворах цвела черемуха.

— Они договорились уже давно, — сказал Бикмурзин.

— Кого вы имеете в виду? — спросил Вахап Аминов.

— Черемуху и северный ветер. Я всегда думал, почему это происходит одновременно — цветение черемухи и приход северного ветра? Дело в том, что сговор их произошел очень давно.

— И насколько давно? — спросил Вахап Аминов.

— Это было так давно, что... — Бикмурзин замешкался. Взор его упал на кота под ногами.

— ...что даже котов еще не было, — продолжил он. — И даже Бога еще не было.

— Что вы от меня хотите? — Вахап Аминов посмотрел в глаза своему собеседнику.

— Если вы будете твердым и не откажетесь от своих показаний, мы обещаем вам защиту.

Бикмурзин произнес эту заученную фразу и отвел взгляд, стыдясь своих слов.

— Не смешите меня, — сказал Вахап Аминов. — Какая защита?!

— Что вы намерены делать? Вы откажетесь от показаний?

— Нет. И у меня на то свои причины.

Хамдун Ротвейлер был не самый опасный человек, но никто не хотел с ним связываться. О таких не говорят: не клади ему в рот палец, не то откусит. А говорят: держи пальцы подальше от его рта, а лучше в карманах, сжатыми в кулак. И, может быть, твои пальцы останутся целы.

Про Хамдуна Ротвейлера рассказывали разное. Говорили, например, что он метит свою территорию, так же как это делают хищные животные, чтобы отпугнуть соперников. Это могло выглядеть так. Несколько одетых в черные плащи телохранителей прятали за собой массивного, с толстой шеей хозяина, который журчащей струйкой подтверждал право собственности. Чем обильней увлажнена земля, тем дольше она будет твоей, считал Хамдун Ротвейлер. Говорят, увидев однажды ночью пьяного прохожего, который мочился на его территории, Ротвейлер выхватил пистолет и убил его. Еще журчание не смолкло в ночи, а пьяница был мертв.

Людская молва на этом не успокаивалась. Однажды осенним утром Хамдуна Ротвейлера будто бы видели сидящим на далеком берегу голым, обмазанным кровью и рыбьей чешуей, произносящим какие-то слова. После чего он прыгнул в воду и исчез, даже не оставив после себя кругов. Вынырнул же он к вечеру у себя в бассейне.

— Сто грамм водки плюс бутерброд с икрой, — властно потребовал он, снимая с себя тину. Служанка, прибиравшая

ся во дворе, упала без чувств (а потом никогда больше здесь не появлялась). Хамдун Ротвейлер вынужден был сам налить себе водки, чтобы согреться.

Годы брали свое. Жадность и мнительность, когда-то прикрываемые романтическим ореолом районного мафиози, теперь проступали в его характере так же отчетливо, как морщины на лице и неблагородная седина в волосах.

Он собственноручно пересчитывал всю поступающую наличность, не подпуская к мятым ворохам купюр своего бухгалтера. Он не доверял никому и ничему. Он не верил даже зеркальцу заднего вида в своем автомобиле и всегда оглядывался назад, чтобы удостовериться, что дорога сзади свободна. Тем более Хамдун Ротвейлер не доверял шоферам и водил автомобиль сам.

В тот день он был пьян. Но пьян не настолько, чтобы сбить пешехода. Почему-то руки сами поворачивали руль, упреждая сигналы центральной нервной системы. Конечно, он не хотел задавить старичка. «Он сам меня спровоцировал», — объяснил себе Хамдун Ротвейлер свой неожиданный поступок. Но самым неприятным здесь было то, что он покинул место происхождения, точно испугавшийся пацан.

Ему доложили, что некий клерк стал свидетелем этого недоразумения.

— А откуда он знает, что за рулем был я?

— Он видел именно вас, — объяснили ему.

— Так пусть заберет показания, — решил Хамдун Ротвейлер.

— Не хочет.

— Что?!

Говорят, что Хамдун Ротвейлер тут же кликнул телохранителей и отправился метить свою территорию, словно откуда-то исходила угроза.

Людской поток издали похож на дым, который низко стелется по земле. Или на темную воду, которая находит пути, следуя своим законам.

Так думал Вахап Аминов, идя по людному проспекту. Он не любил соседства идущих. Его раздражал любой прохожий, находящийся в недопустимой близости от его души. Поэтому, когда какой-то мужичок в очках поравнялся с ним, Вахап Аминов чуть сбавил шаг, чтобы пропустить того вперед. Однако сосед по толпе тоже замедлил движение, словно повинаясь какой-то низменной, сводящей в стаю силе. Тогда Вахап Аминов, как нападающий в футболе, поспе-

шил вырваться вперед. Мужичок тоже прибавил ходу, точно опомнившийся защитник. Это несуразное общение, столь частое на городских улицах, продолжается ровно столько, сколько необходимо, чтобы осознать всю комичность происходящего. Вахап Аминов заметил вдруг, что его сопровождающий вовсе не свободен, а вовлечен в подобную же схватку с другим пешеходом, от которого также нелепо пытаются избавиться. Вахап Аминов бросил взгляд в другую сторону и увидел, что от него тоже хотят во что бы то ни стало отклеиться, а точнее, это парень в джинсовой куртке, бросающий на него быстрые и неодобрительные взгляды. В свою очередь этот парень в джинсовой куртке является раздражителем для другой независимой души, которая мечется, пытаясь освободиться. И вообще весь идущий народ был вовлечен в это общее действие, и каждый претендовал на свою избранность.

Вахап Аминов отошел в сторону, встал под рекламным щитом и осмотрелся. Весь мир был как на ладони. Уже закончилось царствование северного ветра и цветущей черемухи, которые договорились между собой еще в незапамятные времена. Молодая листва обжила пространство, лишив его весенней пронзительности и гулкости.

Вахап Аминов был не похож на других. Он был не похож на других гораздо больше, чем другие были не похожи на таких же других. Именно потому он стоял сейчас под рекламным щитом и смотрел на людей, словно на темную воду, текущую своими, ей одной ведомыми путями. Именно потому полчаса назад он отказался от денег, предложенных ему людьми Хамдуна Ротвейлера в обмен на молчание. Это были опять те двое — в темных плащах и галстуках. Они не ожидали услышать отказ.

— А ведь какой хороший человек был, — многозначительно оглядев Вахапа Аминова, сказал один из них.

— И как, наверно, жить хотел, — сказал другой, пряча обратно в карман толстую пачку купюр.

Они ушли, держа руки в карманах, уверенные в своей и чужой судьбе.

— Зачем ты так упрямисься? — убеждал его Свирид Аглаев. — Тебе жалко старика?

— Да.

— Но он мертв. Ты ведешь себя так, как будто в твоих руках судьба мертвого. Но судьбы мертвых не в нашей воле. В нашей воле иногда судьбы живых. В частности, собст-

венная судьба. Старика нет. А тебе угрожает серьезная опасность. По твоей же глупости и упрямству.

Вахап Аминов молчал.

— Ты должен забрать свои показания.

— Я их не заберу.

— Тогда я не смогу тебе помочь. Я могу сделать очень много. Но ты поступаешь не по правилам, и тут я бессилён.

Он свыкся с чувством опасности так же, как свыкаются с ним на поле боя. День приходил, наполнялся содержанием и исчезал, не оставляя после себя ничего, кроме нереальных, невнятных мотивов, которые называют памятью.

Вахап Аминов не любил прошлого. Он не принимал попусторонний ответ былых поступков и всего того, что по прошествии времени душе не принадлежит. Прошлое заставляет копошиться в себе, точно в выгребной яме, и бесконечно вовлекаться в затухающие инерции уходящих в небытие поездов.

Он любил настоящее. Любил его в ущерб прошлому и будущему. Наверно, именно поэтому Вахап Аминов терпеть не мог фотографироваться. Фотография предъявляет тебе искаженное настоящее, которое уже стало прошлым. «Мне плевать, каким я достанусь потомкам, — говорил он. — Пусть мой образ будет запечатлен лишь на редких фотографиях в плохом ракурсе и с темным лицом. Какая мне выгода здесь и сейчас от этой фотографии?»

Поэтому, когда его ослепила вспышка, он запоздало прикрыл лицо ладонями. Вечность задела его своим крылом в тот момент, когда он поправлял волосы.

— Зачем? — в его голосе чувствовалось раздражение. Он словно был захвачен врасплох и запечатлен в этой жизни, как на чужой территории.

— Не обижайся, пожалуйста, — она виновато опустила фотоаппарат. — У меня нет ни одной твоей фотографии.

— Моя стихия — безвестность, — сказал он. — Я хочу почить в ней, как в собственном доме. Поняла?

Она поняла, что у него просыпается вдохновение.

— Я войду в безвестность, как в быструю воду, и никаких кругов не останется, — он ходил по комнате, слегка взволнованный легкостью приходящих слов. — Человеческий ум не в силах примириться с предстоящим уходом. От того-то люди рожают детей, совершают открытия, завоевывают другие страны. Но это все мелкое земное барахтанье. А я — буду безмянен, как дерево или дождь.

— Надеюсь, ты говоришь это не всерьез. Сделать тебе кофе? — спросила она.

— Конечно, не всерьез. Сделай.

В кабинете главы фирмы Хамди Валетова всегда поддерживалась особая атмосфера. Здесь работал кондиционер, который гнал из своего нутра степной ветер-суховея. Кроме того, этот ветер сопровождался характерным присвистом, какой можно услышать только в степи. Хамди Валетов утверждал, что только в подобных условиях его ум поддерживается в состоянии готовности. Черты лица его, от природы острые, еще более обострились в кабинете, где он пребывал в ветре как в собственной стихии. Говорят, Хамди Валетов перебрал бесконечное множество климатов, пока не выбрал последний. Он прошел через эти климаты, словно совершил кругосветное путешествие. Он задышался в тропиках, замерзал в горах и глотал мертвый воздух хамсина, который приходит раз в год в Иерусалим, посланный в наказание его жителям еще тысячи лет назад. Однажды странствия Хамди Валетова закончились, и теперь он сидел в своем кабинете, словно обретая далекую родину.

Вахап Аминов миновал приемную, толкнул дверь и вошел в ветер, который тотчас обжег лицо своей шершавой, быстрой плотью.

— Присаживайтесь, — сказал Хамди Валетов из-за своего стола.

Вахап Аминов преодолел силу ветра и, сделав несколько шагов в направлении начальника, сел на предложенный стул.

— Вы, наверно, догадываетесь, о чем я хочу с вами поговорить, — Хамди Валетов говорил громко, покрывая свист ветра. — Я хочу попросить вас забрать ваши свидетельские показания по дорожному происшествию.

— Вам позвонили? — спросил Вахап Аминов.

— Да.

— Я ничего не заберу.

Глава фирмы встал и прошелся вдоль и поперек ветра. Затем остановился и, внимательно посмотрев на своего собеседника, спросил:

— Это ваше окончательное решение?

— Да.

Хамди Валетов стоял напротив него. В кабинете могло бы нависнуть молчание, если бы не свист ветра.

— В таком случае на вас ложится высокая ответственность представлять нашу фирму на том свете, — голос ше-

фа был невозмутим. — Надеюсь, вы осознаете всю степень нашего доверия к вам?

— Разумеется, — вяло ответил Вахап Аминов. Его голос покрывался суховеем и был почти не слышен.

Хамди Валетов был из той породы начальников, которые умеют подстраиваться под внешние обстоятельства. Внешность их всегда подтверждает готовность этого изменения.

— Начальники бывают разные, — рассуждал Муртаза Летов спустя два часа в чайной возле мечети «Нурулла». — Вот у меня был однажды начальник. Все его называли добрым. Но я утверждаю, что это был поразительно жестокий человек. И вот почему. У него была такая постная внешность, что меня неудержимо клонило ко сну. Я практически спал рядом с ним. Но он спать не давал. Он постоянно пытался разбудить тебя, требуя к себе внимания. Вот в этом и заключалась его изощренная жестокость — он тебя усыпляет и в то же самое время не дает спать, словно тыкая тебе в задницу шило.

— Таких много, — поддержал его Вахап Аминов. — Они сплошь и рядом.

— Я вспоминаю соседского мальчишку, который таким же образом издевался над своим котом. «Спать»! — приказывал он бедному животному, которое и без того хотело спать и закрывало глаза. Затем, обведя присутствующих торжествующим взглядом мага и волшебника, пацан издавал победный вопль: «Не спать!» Бедное животное тут же недоуменно открывало глаза: почему его разбудили? Вот в каком жестоком мире мы живем, брат.

Муртаза Летов сделал этот вывод, помешивая ложечкой чай.

— Расскажи, что ты сейчас пишешь, — попросил Вахап Аминов.

— Ничего.

— Ты что, пригвоздил себя к молчанию?

— Пишущий никогда не пригвоздит себя к молчанию, — Муртаза Летов говорил неспешно, попивая чай. — Поскольку это невозможно. Древний писатель Бахти Алмас, например, ничего не записывал на бумагу. Страницы были у него в памяти, точно высеченные на камне. «Ни в коем случае нельзя исправлять то, что начертано в памяти», — утверждал он. Если ты меняешь местами хотя бы два слова, ты пытаешься изменить прошлое. А это недоступно даже высшим силам.

Муртаза Летов взял заварочный чайник и подлил чая в пиалы.

— Прошлой ночью мне снился сон, — сказал Вахап Ами-

нов. — Будто я смотрю на себя в зеркало и не вижу отражения. Что это значит?

Муртаза Летов промолчал. Он долго и сосредоточенно пил чай, пока наконец не сказал:

— Это значит, что тебе надо забрать из ГАИ свои свидетельские показания.

Вахап Аминов был убит спустя несколько дней в собственной квартире двумя выстрелами в упор. Убийца так и не был найден, как всегда бывает при заказных преступлениях. Некоторые обстоятельства этого дела, однако, были загадочны. На экране компьютера, который не выключался ни до, ни после момента преступления, остались странные буквы:

njn vbh ckjdyj cnflhfz jlt;lf/ Gjhf tt cvtybnm

Ни на один из известных языков эта надпись не переводилась.

Старший лейтенант Бикмурзин давно понял, что убийцу искать бессмысленно, а Хамдуна Ротвейлера никогда не вывести на чистую воду. Однако ему не давала покоя эта надпись. Он доставал свой блокнот и в тысячный раз вглядывался в нее, словно в древние письмена.

Но однажды он набрал эти буквы на компьютере и понял, в чем здесь секрет. Покойный Вахап Аминов не переключил клавиатуру на русский шрифт. Сопоставляя на клавишах латинские и русские буквы, старший лейтенант Бикмурзин получил искомую фразу. Она выглядела так:

*Этот мир — словно старая одежда.
Пришло время ее сменить.*

«Когда же Вахап Аминов успел набрать эти слова?» — думал следователь. Быть может, когда в прихожей уже был слышен звук отмычки, подбираемый к замку, и небытие ледяной волной накрывало сердце? Или, следуя некоему темному моментальному предчувствию, он бросился к компьютеру и отстучал на клавиатуре первое, что пришло в голову? Ясно было одно: он не стал исправлять написанное, поскольку был в состоянии крайнего волнения. Вполне вероятно, что он даже не смотрел на экран, а набирал текст вслепую, как набирают его люди, чьи руки чувствуют клавиатуру как собственный организм.

Когда тело покойного предавали земле, кое-кто обратил внимание на странный круглый предмет, который Свирид Аглаев передал Муртазе Летову, а тот опустил его в могилу

прежде, чем туда посыпались комья земли. Главбух Ненашев утверждал по дороге с кладбища, что это был футбольный мяч. «Не может быть! — восклицала Джульетта Хузина. — Зачем ему мяч?». «Никто не знает, зачем ему мяч, кроме него самого», — сказал идущий рядом сантехник Васнецов.

Затем пошел дождь, нехолодный и бестелесный, словно шел не от неба к земле, а от земли к небу. Люди шли сквозь этот дождь, который не имел имени, так же, как не имеют имени дерево и трава. Так же, как не хотел иметь имени оставшийся в земле Вахап Аминов.

На следующем футболе кто-то спросил:

— А почему нет Вахапа Аминова? У него уважительная причина?

— Уважительней не бывает, — ответил Вали Ухватов.

На этот раз они гоняли мяч еще одержимей, чем обычно. Жажда обрести истину проснулась в них с утроенной силой. Желание забить мяч было сродни желанию жить. Мяч летал над полем почти не приземляясь. Новенький, только что купленный в «Спортоварах» мяч.

Через три месяца газеты сообщили о гибели Хамдуна Ротвейлера. Он был убит в Стамбуле, где остановился проездом по пути на средиземноморские курорты. Но это не было результатом криминальных разборок или спланированной мести, утверждала одна из газет. Хамдун Ротвейлер случайно попал в толпу разбушевавшихся футбольных фанатов, которые затеяли на улицах массовые беспорядки. Другая газета сообщила, что в этой поездке с Ротвейлером была женщина, которая пожелала остаться неизвестной и покинула Стамбул, не дождавшись отправки тела на Родину. Это не удивительно, делалось заключение, какая любовница, тем более хорошо оплачиваемая, захочет огласки?

Смерть Хамдуна Ротвейлера вызвала среди публики шквал рукоплесканий. «Вполне справедливое возмездие», — слышалось тут и там. Но старший лейтенант Бикмурзин никогда не доверял вмешательству небес. Что-то тут не так, сказал он себе и запросил через Интерпол подробности дела. Поступившие вскоре факты подтвердили его догадки. Выяснилось, что в момент убийства Хамдун Ротвейлер был одет в футболку английского клуба «Арсенал». Тогда старший лейтенант Бикмурзин поднял календарь футбольных игр и нашел то, что искал. В тот роковой день в Стамбуле проходил финал кубка УЕФА. Встречались стамбульский «Га-

лата Сарай» и лондонский «Арсенал». Неудивительно, почему с Ротвейлером обошлись так жестоко. Он в своей футболке был красной тряпкой для разъяренного быка, для стамбульских фанатов он стал представителем армии английских болельщиков — самых драчливых в мире.

Итак, выяснена причина убийства. Это футболка. Кто Ротвейлеру посоветовал ее надеть? Женщина, которая была с ним. «Дорогой мой, — сказала она, слыша страшный гул толпы за окнами отеля, — надень футболку, которую я тебе купила. Замечательно. Ты помолодел лет на двадцать. И сходи, пожалуйста, за вином и пищей. Ты ведь меня любишь, да?»

Воображение старшего лейтенанта Бикмурзина на этом не останавливалось, и весь ход событий разворачивался в его разгоряченном уме, словно на телеэкране. В первых же кадрах на фоне бухты Золотой Рог крупным планом возникал толстоший, седеющий Хамдун Ротвейлер, душа которого вдруг встрепенулась навстречу забытому чувству. Рядом с ним молодая, покрытая легким средиземноморским загаром обворожительная женщина, в которой сразу можно распознать любовницу, но есть в ее внешности нечто, отличающее ее от класса любовниц, — это элегантность, которая странным образом соседствует с бычьей шеей Хамдуна Ротвейлера. Что же ее привязывает к нему? На этот вопрос ответ всегда один и тот же: деньги. И все-таки вы ошиблись, заявляет старший лейтенант Бикмурзин. Не деньги. Эта женщина мстила Хамдуну Ротвейлеру. Я голову даю на отсечение, уверял себя Бикмурзин, что эта женщина знала Вахапа Аминова. А еще она знала, что иначе восстановить справедливость невозможно. Это и заставило ее однажды лечь в постель к тяжело пыхтящему борову, который вскоре восплает к ней высоким чувством.

Месть ее была на редкость изощренной, но вряд ли женщина имела определенный план действий. Вероятно, принимая приглашение Хамдуна Ротвейлера смотаться на море, она еще не знала, каким образом осуществит свое заветное желание. А потом, быть может, проезжая мимо стадиона, где тысячи зрителей вскакивали со скамеек, образуя темные ревущие волны, соперничающие с волнами Средиземного моря, она и остановилась на этом оказавшемся беспроигрышным варианте. Старший лейтенант Бикмурзин не исключал и следующего расклада событий: накануне поездки она изучила календарь футбольных игр и выбрала на карте место, где обещали сойтись самые темные и непримиримые силы.

Встает вопрос: как эта женщина возникла в поле зрения Хамдуна Ротвейлера и вошла к нему в доверие? Здесь вари-

антов множество, но, скорее всего, рассуждал Бикмурзин, люди Ротвейлера вышли на нее, когда следили за Вахапом Аминовым. Возможно, ее захотели использовать как заложницу, чтобы вынудить его отказаться от своих показаний. Тогда-то Хамдун Ротвейлер и положил на нее глаз.

Так рассуждал старший лейтенант Бикмурзин. «Чего же я хочу?» — задавал он себе вопрос. Привлечь эту женщину к ответственности? Конечно нет. Я хочу знать истину, а точнее даже не так. Я никогда не верил, что справедливость восстанавливается вмешательством свыше, и желаю убедиться в этом еще раз.

Она не удивилась его приходу.

— Хотите кофе? — спросила она.

— С удовольствием, — ответил старший лейтенант Бикмурзин.

Она ушла на кухню и закрыла за собой дверь. Вскоре оттуда послышался ее приглушенный голос, словно женщина разговаривала сама с собой. Это было похоже на короткое заклинание, оберегаемое от чужого взгляда.

— Замечательный кофе, — сказал он, пригубив из чашки. — Надеюсь, вы не добавили туда яда?

— Зачем мне отправлять на тот свет такого симпатичного молодого человека? — сказала она.

— Вы отправляете на тот свет только несимпатичных и старых? — вежливо поинтересовался он. — У вас есть сахар?

— Никогда не думала, что милиционер может быть приятным собеседником, — она подвинула ему сахарницу. — Я дам вам добрый совет. Напитки сами по себе могут быть опасней любого яда. Например, никогда не пейте томатный сок в гостях у своих врагов. Тем более у женщины, поскольку женщина может стать твоим врагом. А если женщина тобой любима, она уже твой враг, иначе бы она не была любима.

— Вы знали Вахапа Аминова? — спросил он.

— Впервые слышу это имя, — ответила она. — Хотите еще кофе?

Другого ответа он от нее не ожидал.

Со временем догадки старшего лейтенанта Бикмурзина стали сходить на нет. Не было доказательств, а были одни домыслы. Тем более, увидев ее, он решил, что вряд ли эта женщина, чья внешность уютна, как добрый и тихий дом, способна не поведя бровью отправить человека (пусть даже

кровного врага) в руки бешеной толпы, которая тотчас превратит его в месиво. Что же бросило ее в объятия этого мерзавца? Деньги. А почему бы и нет? Кроме денег, здесь мог присутствовать еще дух приключения, который всегда витает вокруг преступного мира, привлекая безгрешные, но азартные души. Словом, однажды поиски истины для старшего лейтенанта Бикмурзина завершились, и в один прекрасный день он твердо сказал себе: «Дело закрыто». Разумеется, он имел в виду дело, которое живет в его голове; дело же, которое живет в папках, давно уже было закрыто.

Он знал, что никогда больше ее не увидит. Но это знание не было верным, как не бывает верной любая попытка ухватить будущее. В один из летних дней третьего тысячелетия старший лейтенант Бикмурзин дежурил на выезде из города, в том самом месте, где рядом с шоссе несет свои воды великий Итиль. Уже вечерело, когда он повелительным движением жезла остановил очередной автомобиль. Она вышла, поспешно доставая из сумочки документы. Вместе с документами из сумочки выпала и тут же вспорхнула, подхваченная ветром, открытка. Через несколько мгновений открытка, совершив несколько плавных зигзагов, приземлилась у ног старшего лейтенанта Бикмурзина. Это была фотография, на которой был запечатлен Вахап Аминов. Вечность коснулась его своим крылом в тот самый момент, когда он поправлял волосы. Старший лейтенант Бикмурзин поднял с земли фотографию и протянул женщине. Она спрятала обратно в сумочку образ, который принадлежал только ей. Лицо ее не выдавало никакого волнения.

— Все было, как я думал, — сказал старший сержант Бикмурзин.

— Нет ничего, чего не было. Нет ничего, чего могло бы не быть, — сказала она, захлопывая за собой дверцу.

Он смотрел вслед удаляющемуся автомобилю, пока тот не скрылся с глаз. На душе у старшего лейтенанта Бикмурзина было спокойно, как никогда. Он окинул взглядом горизонт и пройденные жизненные пути. Затем спустился к реке и долго смотрел на бегущую воду, доверяясь ей, словно самому дороговому на свете существу.

Стена времени

Если бы год назад кто-нибудь сказал, что я отправлюсь искать клад, я бы плюнул тому глупцу в глаза. Но теперь я убедился еще раз, как безнадежны наши попытки властвовать над будущим, ибо только Аллах властен над ним. Мы властвуем только над прошлым, мы опять и опять обращаемся к нему и замусоливаем его, словно единственную в доме старую книгу, в которой уже не хватает многих страниц...

Итак, около года назад наш господин и учитель, достойнейший мударис Шамс ад-Дин Мухаммад созвал нас, пятерых своих учеников, и, глядя с высоты своего ложа, сказал нам, сидящим у его ног:

— Я уже вижу мир иной. Моя правая сторона окоченела, и если по ней пройдет муха, мне будет больно. Моя левая сторона разбита параличом, и, если ее резать ножницами, я ничего не почувствую. Внутри меня камни, которые мешают течь моче. Так слушайте, пока мне не отказал голос.

Он прикрыл глаза: силы уходили из него, как уходит вода из высыхающего источника. Передохнув, он продолжил:

— Я был в том же возрасте, в каком вы сейчас. Пути небесные вели меня в края язычников, я нес людям истинную веру, и они впервые внимали словам Пророка. Так я оказался на земле северных болгар, где летом ночи коротки, как крик совы. Моим помощником и другом стал местный житель — достойный Баха ад-Дин аль-Булгари. Мы шли по высокому берегу Итиля недалеко от города Биляр, когда земля подо мной разверзлась и я упал в ад. Я лежал в кромешной тьме и ждал Иблиса. Надо мной возник кусок синего неба, в котором пролетела чайка, а потом появилось склоненное вниз лицо Баха-ад-Дина, который из мира живых вопрошал, жив ли я. Потом он побежал в Биляр за веревкой.

Учитель пригубил чаю из пиалы, которую почтительно придерживал слуга, и продолжил:

— Мы обследовали пещеру, преодолевая страх, ибо были молоды и любопытны. Наше любопытство было вознаграждено. Мы прошли в дрожащем свете факелов шагов пять-

десять и обнаружили в одном из залов клад. Это были сложенные наспех сундуки и тюки с драгоценностями. Мы долго рассуждали, кому это все могло принадлежать, и остановились на том, что это был тайник разбойников-урусов, которые грабили купеческие суда на Итиле. А судов там ходило великое множество, ибо это была река, по которой сообщались Восток и Запад.

Позднее мы обнаружили другой вход в пещеру, он находился в глубокой расщелине среди нагромождения валунов. Местные жители знали это место, но боялись его, считая, что там живет какой-то злой дух. Мы с моим другом думали, как нам поступить. Наше предназначение было в том, чтобы нести неверным слова Пророка. И мы обратились к Всевышнему, чтобы он явил нам свою волю, и ждали, при каждом шаге предчувствуя знамение небес. Ах, наивные юнцы, мы хотели найти откровение в полете птиц, мы пытались распознать буквы арабской графики в мгновенных рисунках молний на горизонте, мы всматривались в линии ветвей и в следы зверя, идущие к Итилю. Конечно, мы ничего не дождались. Но после вечернего намаза я зажег в нашем жилище свечу, и тени на стенах заплясали, точно исполинские духи подземелий. Я наугад открыл Священную книгу.

«Сура восемнадцать. Пещера», — вслух прочитал я вверху страницы. Волосы поднялись дыбом на наших головах. Тени на стене сжались и замерли. «Читай», — сказал Баха-ад-Дин. Я перевел дух и продолжил: «... И нашли они стену, которая хотела развалиться, и он ее поправил... А стена — она принадлежала двум мальчикам-сиротам в городе, и был под нею для них клад, а отец их был праведен, и пожелал Господь, чтобы они достигли зрелости и извлекли свой клад по милости твоего Господа ...» Тут священный ужас объял нас, мы выбежали во двор и пали на землю, благодаря Всевышнего за то, что он не забыл нас. Этот случай дал нам невиданную силу, и мы продолжали нести веру в ряды язычников с особым рвением, поскольку знали, что опекаемы божественной милостью.

Прошли годы, я вернулся на родную землю. Баха-ад-Дин, провожая меня, напомнил мне о кладе и священных словах: «они достигли зрелости». «Обрушится стена времени, и мы заберем то, что нам причитается», — сказал он.

Учитель приподнялся на ложе и посмотрел на нас.

— И наконец, спустя сорок лет я получил письмо от Баха-ад-Дина, которое он послал с караваном из Великого Болгара. В письме только два слова: «Стена обрушилась».

Учитель посмотрел на нас поочередно, точно пытаюсь навсегда запомнить.

— Я вызвал вас, самых достойных, сильных и верных своих учеников, чтобы вы доставили сюда причитающуюся мне половину клада.

Учитель откинулся на подушку, отдыхая. После долгой паузы молчание нарушил Нияз Кул, который спросил:

— Мой господин, почему вы думаете, что сокровища в сохранности, ведь прошло столько лет?

— Я доверяю Баха-ад-Дину, — ответил учитель. — Все эти годы он присылал сообщения, понятные только нам. Через год после моего отъезда он сообщил о перемирии болгар с русскими, после которого были пойманы и казнены все до последнего русские разбойники, грабившие суда. Так я понял, что хозяев у сокровищ нет, кроме нас двоих. В другие годы он присылал мне письма, где, помимо всего прочего, давал понять, что наше время еще придет.

В разговор вступил Ильбасар:

— Учитель, неожиданно слышать от вас слова о золоте, которое вам причитается. Мы привыкли слышать из ваших уст слова веры и мудрости. Еще непонятнее, зачем вам сокровища, когда душа ваша уже видит мир иной.

— Я ждал от тебя этого вопроса, Ильбасар, — ответил учитель. — Ты прав, они мне уже не нужны. Когда вы вернетесь, тело мое будет съедено земляными червями. Но вот что я хочу вам сказать, о дети почтенных родителей. На эти деньги должна быть построена самая большая в городе мечеть, которая станет еще и сосредоточием многих богоугодных наук. Далее деньги пустите на строительство медресе в тех селениях, где их нет. Словом, все это должно пойти на богоугодные дела. Седьмую часть заберите себе. Этого хватит и вам, и детям, и внукам вашим жить безбедно.

Мы сидели молча, обдумывая сказанное. Я всегда считал разговоры о кладах пустой тратой времени, но это был наш учитель, который никогда не бросал слов на ветер и чья мудрость была безгранична.

— Я знаю, вам предстоит трудный путь, — сказал учитель. — Но эта моя последняя просьба к вам. А сейчас каждый из вас поклянется Аллахом, что никогда не поднимет меч на своего товарища.

Мы сделали, как он просил. Мы отворили себе вены и подтвердили эту клятву кровью.

Я сразу скажу, что никто из нас не нарушил этой клятвы. Нас было пятеро — Ильбасар, Нияз Кул, Токтай, Абдаллах и я.

Мы покинули Багдад и никогда уже более не видели учителя. Наше путешествие и впрямь было тяжелым и опасным. В пути мы молили Аллаха, чтобы он провел нас через все испытания достойно. Мы были молоды, тела наши были крепки, руки умели держать меч, а в душе была вера.

Мы шли по пустыне, сутками не зная воды. Мы переходили горные перевалы, столь высокие, что птицы задыхались там и, превращаясь в камни, падали вниз. А порой нас застигали такие дожди, что рыбы из рек могли плавать до неба. Вокруг нашего костра ходили дикие звери, выжидая, не отойдет ли кто во тьму. Нас встречали такие густые чащи, что мы прорубались через них мечами, точно опутанные змеями. Мы видели, как из розовых зарев мчались табуны диких лошадей. Я увидел великое чудо света — лед, который никогда еще не видел. Нас принимали на постой дикари-кочевники, чья жизнь и смерть проходила верхом. Нам попадались люди истинной веры, а порой и молящиеся огню и земле.

Вечерами мы разводили костер и вели беседы о душе и мироздании.

Мы стали одним целым.

Но чем ближе становилась конечная цель нашего путешествия, тем большая напряженность стала возникать между нами. Еще не было блеска золота, который сводит людей с ума, была только мысль о блеске. Видели ли вы бедняков, стоящих в очереди за похлебкой? Конец очереди еще вполне благопристойен, но чем ближе к раздаче, тем судорожно-теснее убогие тела, и здесь уже пахнет черным подозрением и скандалом.

Я знал, что золото делает с людьми. Я видел родителей, которые продавали своих детей в рабство; женщин, которые продавали себя; мужчин, которые из-за пары дирхемов падали на колени. То были люди низкие. Но я был и свидетелем того, как люди достойные изменяли себе и продавались чуть дороже продажных женщин.

Нельзя тронуть рукой молнию, и нельзя поймать чужие думы. Что было в головах у моих товарищей? Как поведет себя каждый из нас, когда мы будем у цели? Я уверен, что никто из нас не хотел избавиться от своих попутчиков, чтобы одному завладеть сокровищами. Скорее всего мы стали ожидать друг от друга нечестности. Пламя нашего костра стало неровным, сны наши стали беспокойными.

Мы миновали бескрайние степи страны Дешт-и-Кипчак и вступили в леса. Однажды на привале мы подверглись нападению разбойников. Их было довольно много, на каждого из нас пришлось около трех-четырех негодяев. Но мы были гораздо искуснее во владении мечом. Нашим противникам же куда лучше было бы держать в руке палку, которой погоняют ишаков, а не меч. Мы яростно и довольно уверенно отбивались от этих лесных шакалов, когда краем глаза я заметил Абдаллаха, для которого этот бой был явно тяжел. Его прижали к повозке несколько разбойников, он же, по-видимому, раненный, работал мечом уже не так усердно, как следовало бы. Вскоре мы обратили врагов в бегство; они бежали, оставив несколько убитых. Но убит был и Абдаллах.

В эту ночь никто из нас не спал. Я думал о том, что не пришел на помощь Абдаллаху, хотя мог прийти. Но никто не может обвинить меня в его смерти, разве что я сам себя. А еще мне стало ясно, что и я могу оказаться на месте Абдаллаха, и никто не придет мне на выручку, поскольку трижды презренное золото уже кидает свой кровавый отблеск на нашу дружбу. Очевидно, остальные рассуждали точно так же.

Леса время от времени сменялись скалистыми горами, где тропинки были узки и опасны. На одной из таких тропинок и поджидала смерть нашего друга Токтая. Он шел последним, когда мы слышали шум срывающихся камней и улетающий вниз крик. Мы долго стояли над пропастью, в которой пытались разглядеть очертания тела. А потом, как мне показалось, слишком поспешно мы тронулись дальше. Уходя, я услышал — или мне послышалось? — из пропасти стон и мольбу о помощи. А может быть, не мне одному слышался этот стон?

Мы продолжали путь втроем. На одном из вечерних привалов, в селении, где женщины ходят с непокрытыми головами, мы сидели возле котла, в котором варился рис. К нам подходили местные жители и, познакомившись, отправлялись дальше. Затем подошла женщина и села возле костра. Она была так красива, что мы стеснялись смотреть на нее и отводили взгляды. А возможно, она и не была красива, просто мы давно не знали женского тела. Затем она поднесла Нияз Кулу пиалу с чаем. А вскоре они ушли вдвоем в темноту — Нияз Кул и женщина.

«Ах, золото! — думал я, глядя в пламя костра. — Металл, который сам по себе — ничто. Но его можно обменять на многое, в том числе и на женские ласки, на земное счастье. Но это можно получить и без золота!» Я смотрел вслед Нияз

Кулу и женщине. Золото вовсе ни к чему, когда над головой переполненное звездами небо, под ногами сочная, мягкая трава и теплый ветер овеивает со всех сторон тебя и твою возлюбленную.

Наше путешествие продолжалось. Прошло много дней, пока мы вышли к Итилю и пошли вверх по его течению. И настал день, когда у Нияз Кула проявились верные признаки дурной болезни. Мы оставили его молящимся с отстраненным взором, он не смотрел в нашу сторону и не провожал нас. Он понял, что золото ему теперь ни к чему, и остается теперь разве что отмаливать грехи и заботиться о душе.

Наконец нас осталось двое — Ильбасар и я.

И вот мы пришли в Великий Болгар. На базаре нас поразили меха. Они были из шкур животных, о которых мы и не слышали. Здесь же мы видели много людей из далеких стран и удивлялись, насколько разными создал нас Аллах. Вдруг к нам подошли ханские стражники и спросили, кто мы и откуда. Затем они увели с собой Ильбасара. Я спросил у базарных торговцев, что это значит. Они мне ответили, что здесь уже несколько дней ищут известного разбойника и что мой друг обречен, даже если он и честный человек, — казнь здесь совершается без промедления.

Я вышел из города и, уже отойдя на почтительное расстояние, остановился и посмотрел назад. Там, вдалеке, поблескивали на солнце полумесяцы минаретов. «Прощай, Ильбасар», — сказал я и пошел дальше. Все складывалось так, что я должен был остаться один. По левую руку от меня внизу катил свои волны великий Итиль, я шел по его высокому берегу и думал. «Что же я сделаю с сокровищами?» — опять и опять возникал вопрос. Не может быть никаких вопросов, я поступлю, как повелел наш учитель: все отдам на богоугодные дела, за исключением седьмой части, которую оставляю себе. Но кто-то второй во мне, ехидный, прячущийся в тени первого, говорил: ясно, как божий день, что все до последнего грамма я заберу себе. И был во мне еще третий, который с интересом наблюдал борьбу этих двоих: кто же выигрывает? Итак, мне предстояло испытание золотом.

В Биляре я тут же принялся искать Баха-ад-Дина — того, кто должен был ждать меня, чтобы привести к сокровищам. Но никто из жителей не знал его. Наконец один почтенный старец сказал мне: «Тот, кого ты ищешь, достойнейший мулла Баха-ад-Дин аль Булгари, умер двадцать лет назад».

Я сидел на берегу Итиля опустошенный и не нужный теперь себе самому. Ты распоряжался тем, что тебе не при-

надлежало, и вот как ты смешон сейчас в своих глазах, жалкий, корыстолюбивый кладоискатель. Как смешны были теперь мои мучения, этот нелепый диспут, который вел сам с собой мой разгоряченный разум. Я вспомнил своего учителя Шамс-ад-Дина. Возможно, он разыграл нас, отправив в это опасное путешествие. Может быть, чувство юмора, которое ему было свойственно, к старости приобрело не совсем приличный оборот. Я помню одного почтенного старца, весьма небогатого, который завещал похоронить его в пирамиде (разумеется, не меньшей по величине, чем Хеопса). Я бродил по городским улицам, обманутый и обсмеянный тем и этим светом. Из моего существования изъяли блеск золота, подобно тому, как из тела извлекли бы костяк, и оно стало бы мягким и ненужным, как вчерашняя лапша. На моем пути возник каменный колодец. Я посмотрел в него, в бездну, возникшую в его круге, и подумал: не полететь ли вниз головой в эту черноту, в холод от этой жаркой, шевелящейся бессмысленности, которая называется жизнью? И тут я воскликнул: «О Всевышний, прости меня! Из-за чего я устроил себе конец света? Из-за золота, которое у меня отняли, еще не дав».

Я миновал площадь и шел по деревянной мостовой к мечети. Над городом разносился крик муэдзина, оповещавшего правоверных о намазе. Я ускорил шаг. Но тут сзади послышался быстрый скрип досок: кто-то догонял меня. Я обернулся. Передо мной стоял человек в одежде ишана. Взгляд его был столь тяжел, что я тут же отвел глаза.

— Почтенный Баха-ад-Дин велел тебе передать вот это, — сказал он, передавая мне свернутый свиток.

— Но Баха-ад-Дин умер двадцать лет назад, — сказал я.

— Да.

Ишан повернулся и быстро направился в обратную сторону. Я догнал его и попытался заговорить с ним.

— Больше я тебе ничего не скажу, — сказал он и ушел.

Я развернул свиток. Это было письмо Баха-ад-Дина учителю, в котором он извинялся за то, что не поставил его в известность о своей приближающейся смерти, и извещал, что сокровища на месте, и пусть он идет и заберет все золото, в том числе и его половину.

Мир обрел смысл и заиграл всеми своими красками. Я вдохнул ветра, который налетел с Итиля, и огляделся. Жизнь начиналась заново. Я снял жилище в городе и спал в ту ночь не видя снов. Мне надо было восстановить силы и во всем разобраться.

Вот как я рассуждал. По всей видимости, Баха-ад-Дин двадцать лет назад, предчувствуя приближающуюся смерть, заготовил письма, которые поручил отправлять через каждые несколько лет. Возможно, отправлял их тот самый ишан. А последнее письмо было велено передать Шамс-ад-Дину или тому, кто придет вместо него. Встает вопрос: зачем Баха-ад-Дин на столько лет отсрочил передачу сокровищ? Может быть, он считал, что «мальчишки не достигли зрелости», как сказано в Священной книге (кто знает, какую зрелость он имел в виду). А может быть, ему был вещий сон или откровение. Я не исключаю того варианта, что мулла Баха-ад-Дин имел своеобразное чувство юмора и решил напоследок подшутить над своим другом (здесь надо иметь в виду, что сокровища не имели такого большого смысла в глазах этих двух набожных старцев). И вот последнее письмо. Если его получает Шамс-ад-Дин, то он немедленно направляется в пещеру за золотом, поскольку знает его местонахождение. Но если письмо получает тот, кто пришел вместо него, — здесь возникают вопросы. Этот кто-то, а в данном случае я, не знает, где находятся сокровища. Но предполагается, что учитель должен был рассказать мне, где их искать. Но учитель не сделал этого обстоятельно, поскольку предполагал, что Баха-ад-Дин жив и сам поведет туда, куда требуется. И что мы имеем в итоге? Я знаю, что недалеко от Биляра есть пещера, где спрятан клад, и мне надо его найти.

Я стал расспрашивать местных жителей, нет ли в ближайших окрестностях пещеры, но никто не мог сказать мне ничего определенного. Наконец один старый дервиш за серебряный дирхем рассказал мне, что на расстоянии двух фарсахов на север от города была пещера, по крайней мере так ему помнится.

И вот я стоял у входа в пещеру, передо мной была жуткая, сквозящая адским холодом темнота. И я шагнул в нее и принял ее как неизбежность, которую каждое мгновение творит на нашем пути Аллах. Но это было начало новых и куда более серьезных испытаний. Пещера эта была словно подземный город с длинными разветвляющимися улицами. Улицы шли одна над другой в несколько этажей, переходя друг в друга, сходясь, расходясь, заканчиваясь тупиками. Я брал с собой веревку, чтобы не заблудиться, и несколько запасных факелов. Почему же учитель и Баха-ад-Дин так быстро нашли дорогу от клада к выходу из пещеры? Вероятно, им повезло. С тех пор здесь, по-видимому, были обвалы, которые совершенно меняли траекторию подземных ходов, и

клад, который должен был быть найден быстро, теперь отдалялся от меня на сотни каменных стен, скользких тоннелей и тупиков. Как-то через несколько дней моих поисков я вышел из пещеры на солнечный свет и, изможденный, упал на траву. Сон сковал мои веки, я уснул и проспал несколько часов. Открыв глаза, я увидел перед собой Ильбасара, который сидел и смотрел на меня.

«Мне должны были отрубить голову, — рассказал он мне, — но начальник стражи был удивлен, что я говорю по-арабски — на языке Пророка. Меня отвели к болгарскому хану. С ним у нас была долгая беседа о толковании хадисов. Три дня я гостил в ханском дворце. Меня отпустили с почестями».

Мы продолжили поиски сокровищ вдвоем. Ильбасар советовал рисовать карту подземелья, так было удобнее ориентироваться и обозначать пройденные коридоры. Мы все наносили теперь на карту, тут же давая имена открываемым территориям: тоннель Черный, Красный зал, Зеленый зал, грот Дракона, галерея Чудовищ.

Мы соорудили недалеко от входа в пещеру шалаш, где могли ночевать. А за едой мы отправлялись в город. Конечно, вдвоем нам было гораздо легче, но... Золото, золото... Его блеск уже проникал в наше сознание, между нами росла напряженность, и временами мы внезапно оглядывались друг на друга, точно ожидая удара в спину. Хотя эти опасения были излишни — мы оба не забывали о клятве, данной нами накануне путешествия. Я знал, что никогда не подниму руки на Ильбасара, я был уверен, что и он не обратит меч в мою сторону. Но я вспоминал наших погибших товарищей и чувствовал, что смерть всегда рядом.

Ильбасар, по-видимому, не отвергал возможности того, что я без него нашел сокровища, и это добавляло недоверия в наши отношения.

Нас было двое, а клад один. Ханство, половина ханства. Империя, половина империи. Как звучит слово *половина*? Оно тут же сводит на нет блеск и величие целого. Оно несет чувство, что тебя обманывают и дают не то, что тебе причитается. А теперь я расскажу, какой адский план я задумал, чтобы избавиться от Ильбасара. Ночами я умышленно стал разговаривать во сне. Ильбасар должен был подумать, что это результат напряженности последних дней. Сквозь ветви шалаша проглядывал рассвет, и я начинал говорить. О чем? О чем может говорить спящий? Это была полная ерунда, в которой временами угадывались отголоски реальности. Так в

течение нескольких ночей я рассказал ему все то тайное и откровенное, чего любой постыдился бы при свете дня. Однажды во время моего ночного монолога Ильбасар переспросил меня о чем-то, и я тут же ответил ему. Мы обменялись несколькими фразами, после чего я потерял нить разговора, а потом и вовсе не ответил и задышал ровно, как все спящие. Днем же я встречал настороженный взгляд Ильбасара, чувствуя всю шаткость и двусмысленность нашего положения. Наконец через несколько ночей я заговорил о кладе. Ильбасар спросил у меня, где он находится. Я ответил, что нужно идти по Кривой дороге, по правую руку будет большой круглый камень, а за этим камнем в стене есть ход, который и приведет к сокровищам.

Итак, я указал Ильбасару, куда нужно идти. Он еще полежал немного, раздумывая, а затем встал, взял факел и ушел. Он прекрасно знал Кривую дорогу, мы десятки раз проходили ее, помнил он и тот большой круглый камень, который попадался нам на пути. За этим камнем и вправду был ход, но к сокровищам он не вел. Я обнаружил его еще в первые дни моих поисков, до того как ко мне присоединился Ильбасар. Этот ход в стене, едва начавшись, таил в себе серьезную опасность. Под ногами тут же по ходу движения возникала трещина, до дна которой не доставал свет факела. Эта трещина свободно могла проглотить человека, идти вперед надо было широко расставляя ноги, ставя ступни на наклонные, сходящиеся к зияющему провалу каменные плоскости. Накануне, когда мы по Кривой дороге возвращались домой, я незаметно зашел за камень, вошел в этот самый ход и полил хлопковым маслом каменные уступы под ногами. Полил я и выпуклости на стене, за которые могла с надеждой цепляться рука проваливающегося вниз человека. Затем я вышел на Кривую дорогу и присоединился к идущему впереди Ильбасару.

Больше я уже никогда его не видел. Мой жуткий план удался. Ильбасар был мертв. Я не нарушил клятвы, данной учителю. Возможно, кто-то скажет, что убийство всегда есть убийство, и неважно, какое орудие используется — меч или жестокое коварство. Я обратился к своей совести, надеясь обнаружить ее скорчившейся в страшных муках. Но мой взгляд наткнулся на темную пещерную пустоту, в которой мерцал приближающийся свет золота.

Вскоре нашли сундуки с сокровищами. Я пошел посмотреть в темную бездну, которая проглотила Ильбасара, я прошел над жуткой трещиной и решил посмотреть эту до-

рогу до конца. Трещина постепенно заканчивалась, и надежная тропа взмывала резко вверх, заканчиваясь небольших размеров сводчатым залом. Там-то и находились эти вожаделенные сундуки и тюки. Я стоял над ними, и сердце мое колотилось, точно летя в необъятные райские пропасти. Вдруг где-то вдалеке, через множество каменных стен, послышался шум обвала. В темных этажах подземелья рухнули природные опоры, и гул этого падения отдался в моих подошвах. Откуда-то сверху к сундукам покатались камни, и я, подняв повыше факел, увидел сбоку от себя нагромождение каменных глыб, готовых в любое мгновение устремиться вниз. Но вскоре все затихло.

Я вернулся в город, чтобы собраться с силами. Нужно было продумать, как вынести сокровища из пещеры и увезти. Но главный вопрос был в том, как ими распорядиться.

И вновь во мне заговорили несколько человек. Ты должен поступить с сокровищами, как повелел тебе твой учитель Шамс-ад-Дин Мухаммад, говорил первый. Ты все должен забрать себе, ты имеешь на это право, убеждал второй. А третий — холодный и бесстрастный — молча наблюдал за этим мучительным спором. Вероятно, именно он, этот третий, и повелел мне написать все это от начала до конца. Я думаю, все, что на свете было написано, имеет автором этого третьего молчаливого свидетеля высочайших взлетов и самых грязных пороков.

Я уже засыпал, когда сквозь подступающую дремоту в сознании моем возникло слово «стена», а затем я увидел камни, которые, рушась, накрывают сундуки с сокровищами. Мне припомнились слова Баха-ад-Дина: «Стена разрушилась». Все это связалось в какое-то страшное ощущение реальности, и я вскочил без намека на сон в глазах, пораженный неясным предчувствием.

Итак, я написал все от начала до конца. А теперь я полностью отдаюсь тому, что мне предначертано, и вновь отправляюсь к заветным сундукам.

Клянусь Аллахом, если я вернусь оттуда живым, я продолжу эти строки.

Часы в гостинной пробили шесть вечера. Я отложил рукопись и взглянул в окно, где опять шел какой-то вязкий, мелко-невзрачный дождь. Внизу по продрогшему Невскому куда-то мчались пролетки и плыли, покачиваясь, темные зонты. Нужно было войти в реальность и осознать себя, поскольку рассказ средневекового магометанина целиком зах-

ватил меня. Ответ древневосточного золота еще стоял в пространстве, никак не уживаясь с осенним Петербургом конца XIX века. Я еще раз пролистал рукопись. Не было заметно никаких исправлений, по-видимому, при переводе с арабского она несколько раз переписывалась набело.

Пора было уходить. Я попрощался с дочерью хозяина, почтенной дамой с остатками былой красоты на лице.

— Папа не сможет проводить вас, — сказала она, прощаясь.

Еще вчера я ужасно тяготился своей обязанностью, которая заключалась в том, чтобы помочь профессору Ульфу разобраться с архивом. Этот архив готовился для передачи в Институт востоковедения и, возможно, представлял какую-то научную ценность. Но мне это было неинтересно. Я, двадцатилетний студент факультета юриспруденции, выполнял поручение декана, который почему-то считал меня аккуратным юношей, и мне приходилось сейчас заниматься всякой ерундой, чтобы поддержать это убеждение.

Профессор был совсем стар и уже с трудом передвигался. Он руководил мной большей частью из постели, слабым голосом давая указания, что и как рассортировать. Выпучив бесцветные мокрые глаза, он сообщал мне, куда нужно поместить папки Мавераннахра и Улуса Джучи. При этом он раздраженно ворчал и намекал на мою неаккуратность. Я шел в кабинет, где находился архив, и продолжал свою пыльную безнадёжно скучную работу.

Но вот на моем пути возникает эта рукопись. Надо сказать, что в те годы я запоем читал Эдгара По и Конан Дойла и всматривался в жизнь с таким ожиданием, какое возникает при чтении захватывающей книги. В происходящих событиях мне чудилась причинно-следственная связь, свойственная детективу. Эта рукопись, случайно выпавшая из стопки, сразу зацепила мое воображение, и я почувствовал, что она является звеном в цепи некоторых значительных событий.

Почему же эти помятые листы бумаги так захватили меня и заставили мой бедный разум усердно строить бесконечные логические сооружения?

Годом ранее Санкт-Петербургский университет скромно вспомнил о семидесятилетии другого востоковеда — покойного профессора Таркаева, который покинул этот мир тридцать лет назад. Мне запомнились обстоятельства смерти профессора. Он погиб, исследуя какую-то пещеру в Казанской губернии. Разумеется, пещера из рукописи и пеще-

ра, в которой погиб профессор Таркаев, сошлись в моем воображении, тем более что над всем этим таинственно витал дух средневекового Востока.

Мои подозрения привели меня в публичную библиотеку, где я поднял подшивки газет тридцатилетней давности. Вот что я в них отыскал.

Этнографическая экспедиция, в составе которой было несколько студентов, профессор Таркаев и старший преподаватель Ульф, вела свои исследования в районе слияния рек Камы и Волги. Руководил экспедицией профессор Таркаев. Когда план исследований был выполнен, руководитель отпустил всех участников экспедиции, которые пароходом добрались до Казани, а затем поездом прибыли в Санкт-Петербург. Они сообщили, что профессор решил еще немного задержаться, чтобы побыть одному и привести в порядок свои записи. Однако к началу учебного года профессор не явился. Через полгода поисков тело профессора обнаружили в пещере, которая находилась рядом с лагерем экспедиции. Профессор остушился и, упав в глубокую расщелину, умер, по-видимому, истекая кровью и мучаясь от жажды. Останки удалось извлечь не сразу, ввиду большой сложности этой работы. В заключение большинства публикаций говорилось об огромном вкладе профессора в науку востоковедения, о том, что его жизнь — это пример служения науке и т.д.

Кроме того, я вспомнил некоторые закулисные разговоры, которые велись о профессоре Ульфе. В них проскальзывали намеки на то, что в свое время он очень завидовал Таркаеву и тайно метил на его место.

Я вошел в комнату профессора и встал у его изголовья. Он посмотрел на меня выпученными глазами и сказал:

— Сегодня, пожалуйста, подготовьте материалы по мусульманской Андалузии. Около десяти папок. Они помечены.

Я не уходил. Возникла тяжелая пауза, и мой голос отчетливо и веско произнес:

— Я уже вижу мир иной. Моя правая сторона окоченела, и если по ней пройдет муха, мне будет больно. Моя левая сторона разбита параличом, и если ее резать ножницами, я ничего не почувствую...

Профессор выпучил глаза, но это не было признаком волнения, ибо это была особенность его взгляда.

— А я думал, рукопись давно утеряна, — спокойно сказал он. — Я вижу, вы ее хорошо изучили, если цитируете

наизусть. И чувствую по вашему решительному виду, что вы хотите мне что-то сказать.

— Я хочу сказать, что обильно разлитое хлопковое масло делает свое дело. В результате — мертвый конкурент и стопроцентное алиби.

— И ненарушенная клятва, — добавил профессор.

— И муки совести, — добавил я.

— Садитесь, — сказал профессор и жестом показал на стул. Я сел.

— Вы неплохо потрудились, мой юный Шерлок Холмс, — продолжил он. Голос его был глух. По-видимому, говорить ему было трудно. — Но сейчас я в пух и прах разобью ваше обвинение. Вы утверждаете, что я разлил масло на пути профессора Таркаева. Но профессор прекрасно знал о варианте с маслом.

— Он читал эту рукопись? — спросил я.

— Он является ее автором. Она написана его рукой, это подтвердит любая экспертиза.

Мне оставалось только извиниться. Но я медлил.

— На сегодня хватит, — сказал профессор, откидываясь на подушку. — Приходите завтра, и если я буду жив, я расскажу вам еще кое-что.

Я вышел на продрогший от холода Невский, где темные пятна прохожих, не имеющие ни лица, ни тела, плыли, движимые какой-то безжильной, безжизненной силой петербургской осени. Боже мой, как я был самонадеян и смешон, жалкий, неудачливый исследователь! Вдобавок ко всему выяснилось, что, уходя, я забыл у профессора зонт, и ноябрьский дождь пробрал меня насквозь. Он перебрал мою одежду, словно страницы тоненькой книжки, трепещущей на ветру.

На следующий день я вновь был в доме профессора.

— Как я вам сопереживала, — говорила его дочь, отдавая мне зонт. — Вы так быстро выскочили под дождь, что я не в силах была догнать вас. Вы сильно промокли?

— Я выпил несколько рюмок водки и тут же согрелся, — сказал я.

— Вот и хорошо. Идите к папе, он давно ждет вас. И вот еще что, — она помедлила, — вчера был врач и сказал, что ему осталось жить полторы-две недели. Пожалуйста, не обижайтесь на него, когда он ворчит.

Я понимающе кивнул и поднялся к профессору. Он выглядел немного лучше, но это могло ничего не значить — вид больного бывает обманчив. Профессор предложил мне

сесть, и тут же заговорил, словно боялся, что может не успеть рассказать что-то важное.

— Вы ошиблись, предположив, что я разлил хлопковое масло, как это сделал герой рассказа. Вы рассуждали, следуя законам детективного жанра, где сразу предлагаются все обстоятельства дела, а вам остается найти решение задачи. Ах, как это тонко — найти блистательное решение, не выезжая на место преступления, сидя возле пылающего камина и покуривая трубку. Но в реальности все обстоит иначе. Здесь появляется множество обстоятельств, учесть которые невозможно, и вы уверенно, не сомневаясь в своей правоте, тыкаете пальцем в небо. Но вот что я вам скажу. Вы ошиблись, не угадав способ совершения преступления. Видимо, по наитию, а может быть, совершенно случайно вы попадаете пальцем в небо, схватывая при этом суть событий. И я догадываюсь почему. На вас оказала сильнейшее влияние эта рукопись. В свое время я тоже был в этой зависимости, и мы с вами оказались в одном пространстве, где действительность складывается по своим законам. Почему я вам все это рассказываю? Потому что во мне сейчас тот же изнурительный диспут, какой происходил в душе героя нашей рукописи. Тот самый третий во мне бесстрастный наблюдатель и фиксатор сущего ищет в конце концов своего зрителя.

Вы не ошиблись, угадав мотив преступления. Зависть. Я ужасно завидовал Таркаеву. Мы были одного возраста, но он был уже профессор. Но степени и звания — это была как бы внешняя сторона зависти. Была еще зависть более глубокая. Он был талантлив. Стоило ему заговорить, и я опять и опять убеждался в своей ничтожности.

В той экспедиции мы долгое время ночевали с ним в одной палатке. Наши студенты, их было трое, располагались в соседней более просторной палатке. В последние дни у нас было много свободного времени, и Таркаев, видимо, от безделья, написал этот рассказ. Он создавал его на моих глазах, и мы оба оказались во власти этой надуманной реальности. Лагерь нашей экспедиции располагался на высоком берегу Волги. Чуть ниже лагеря была довольно большая пещера. Мы несколько раз забирались в нее, и, по-видимому, именно тогда в голове у Таркаева возникли образы сундуков с драгоценностями.

Надо сказать, что он был очень впечатлительным и увлекающимся человеком. Образы, придуманные им самим, начали поглощать его целиком. Он целиком отождествлял себя

с выдуманным героем, и мне показалось, временами он забывал, в каком веке живет. Однажды ночью я услышал, как Таркаев разговаривает. Но это не было продуманной тактикой, профессор болтал без всякого умысла, ибо над ним довлел его герой.

Экспедицию пора было сворачивать. Таркаев пожелал остаться еще на неделю и велел нам отправляться домой без него. Это было вполне в его духе, поскольку люди его склада испытывают желание побыть в одиночестве. Вполне возможно, что он хотел продолжить свои писания. Мне он сказал, что хочет хорошенько исследовать пещеру. Мы со студентами отправились пешком в ближайшее селение, где делал остановку теплоход, идущий в Казань. Здесь-то в моей голове и стал возникать какой-то адский замысел, еще не выраженный мыслью, но уже подчинивший меня себе. Я сказал студентам, что отправлюсь в Казань берегом, так как хочу нанести на свою карту некоторые прибрежные селения. Студенты с основным грузом отбыли в Казань. Там они должны были разъехаться кто куда, поскольку до начала занятий еще было достаточно времени. Мне помнится, один из них жил в Казани, другой — в Нижнем, а третий, кажется, в Алатыре. Встретиться мы должны были уже в Петербурге на занятиях.

Я взял с собой кое-что из вещей, в том числе чалму и чапан, которые купил как-то у одного татарина. Смутный план, который созрел в моей голове, уже начал обретать костяк и требовал воплощения. Была ночь, когда я вернулся на стоянку экспедиции. Я поднялся выше по берегу и заночевал там, подстелив под себя траву и укрывшись чапаном. Интересно, что никакие сны меня не тревожили. На рассвете я вошел в пещеру, освещая себе путь пламенем свечи. Затем я прошел по тому опасному пути, который полил маслом тот магометанин в рассказе, и остановился среди бесформенных камней и теней.

Я стоял и ждал. Чего же, спросите вы? Я ждал появления профессора. Мне почему-то нужно было войти в его немного нездоровую реальность, войти главным персонажем. Я надел на себя чалму и чапан, загасил свечу и затаился. Это было ожидание в абсолютной темноте, к которой глаза никогда не привыкнут, жуткой темноте без углов и очертаний, ничего темнее быть уже не может, разве что ад, которого нет. В тишине где-то слетала и гулко разбивалась о камни капля, и вновь наступала та же поусторонняя тишина.

Вскоре где-то далеко, в том конце темноты, возникло движение и слабый свет. Это была свеча профессора Таркаева. Он шел навстречу мне по той самой опасной дороге. Я заметил, как осторожно он передвигается. Он крался над трещиной с такой опаской, словно камни были политы хлопковым маслом. По-видимому, люди, подобные Таркаеву, вместе со своей чувствительностью и талантом, несут в себе еще нервозность, которая порой близка к умопомешательству. Он шел над этой страшной трещиной, создавая вокруг выдуманную реальность и в то же время боясь встречи с ней. В какой-то момент он поднял повыше свечу и заметил впереди какое-то движение. Это был я.

Я появился среди камней в одежде средневекового магометанина, неестественно реальный в свете дрожащей свечи. Его глаза расширились от ужаса, и он замер над бездной. Затем нога его скользнула в трещину, он потерял равновесие, ловя руками уступы стен. Но было поздно — профессор сорвался вниз, он исчез так быстро, что в пространстве еще остался его испуганный взгляд. Свеча скатилась вслед за ним, и опять наступила темнота, но в тысячу раз более жуткая, чем прежде, это была темнота, наполненная бесконечным криком. Прошла вечность, пока я не нашарил спички и не зажег свою свечу.

Я вышел из пещеры и пошел вдоль высокого берега, освещенного утренним солнцем. Реальность, навязанная мне профессором Таркаевым, диктовала свои законы. Получилось, что я действовал так же коварно, как и герой рукописи, который давал клятву не поднимать меча. Так же, как и тот магометанин, я обратился к своей совести и не увидел ее скорчившейся в страшных муках. Передо мной было будущее без Таркаева, и это меня вполне устраивало. Мне оставалось теперь добраться домой, что я и сделал без приключений.

Профессор Ульф закончил свой рассказ и откинулся на подушку.

— Но у вас не было алиби, — сказал я после недолгого молчания. — Ведь вы не поехали домой вместе со всеми. Следовательно, у любого тут же могло возникнуть подозрение, что вы вернулись в лагерь и убили профессора Таркаева.

— Вы опять оцениваете реальность как нехитрый детективный рассказ, — ответил профессор Ульф. — Зачем у кого-то должны возникать подозрения? Профессор Таркаев не является на занятия. Потом выясняется, что, исследуя пеще-

ру, он остуился и разбился. Судьба исследователя. Никому и в голову не пришло, что это убийство. И, в конце концов, это не убийство.

— Я с вами не соглашусь, — сказал я.

— Это ваше право, — сказал он. — А сейчас мне особенно плохо. Прощайте. Когда будете спускаться, скажите дочери, чтобы поднялась ко мне с лекарствами.

Я долго бродил под петербургским дождем, возбужденный рассказом профессора. Моя молодость требовала восстановления справедливости, и еще несколько дней я порывался пойти рассказать обо всем в полицию, в университет и еще неизвестно куда, наверно, в какие-то недоступные небесные инстанции, которые должны принять неведомо какие действия по отношению к умирающему профессору. Но постепенно я успокоился. Пусть все остается как есть, подумал я. Стена времени погребет всех, и мы перейдем туда, где все одинаковы. И то, что мы увидим, настолько не похоже на то, что мы видим сейчас, что уже не будут иметь значения ничьи послужные списки.

Записки эпохи раннего телевидения

Лишь о смерти и лишь о любви
Говорю. Остальное, поверьте,
С этим связано, это в крови...

М.Зарецкий

— Кинооператор Охапкин был очень интересным человеком. Его жизнь была удивительна и оборвалась весьма своеобразно. Его затоптал слон. Это случилось на съемках в цирке.

— Прекрасная смерть, — сказал кто-то, после чего установилась благоговейная тишина.

Но тут в разговор вступил Ихсанов:

— Это не совсем так. Я хорошо знаю подробности этого дела. Охапкин был совершенно пьян, и его прогнали за кулисы. Там он упал и отключился. И тогда по нему пробежал слоненок.

— Но это, наверно, очень большая масса.

— Килограмм сто пятьдесят. Но надо учесть, что у слоненка четыре ноги, а не две, и вес тела распределяется на четыре точки. Это все равно что по тебе прошел человек весом 75 килограммов. А кроме того, у слоненка мягкие, нежные ноги. Так что получается, что человек, который прошел по тебе, — красивая, молодая женщина. Можно от этого умереть, я спрашиваю?

Ихсанов оглядел присутствующих.

— Я думаю, любой мужчина только возбудился бы от этого. Охапкин же проснулся и ушел домой, где продолжил свой затяжной запой. На следующий день его хватил инфаркт, после которого он уже не выкарабкался. Людская же молва связала его смерть со съемками в цирке, попутно вырастив милого слоненка в разбушевавшегося слона.

Я вспомнил этот разговор потому, что он показывает Ихсанова во всей его красе. Да, он любил разрушать легенды, и

в этом ему не было равных. Однако это был тот человек, в котором природа стремилась к некоей законченности. Как известно, если что-то убудет в одном месте, то непременно прибудет в другом. Он умел создавать свои легенды, и в этом ему не было равных тоже.

Сейчас Ихсанов уже далеко отсюда. (В этой фразе можно уловить тонкий намек на то, что мой герой ныне обитает в пространствах иных миров, впрочем, я не вижу большой разницы в том, где сейчас мечется его беспокойная душа, на том свете или на этом.) Вспомните годы детства, и наверняка из глубин вашей памяти выплывет некий розовощекий мальчик, который однажды перешел в другой детский сад, после чего вы уже никогда его больше не видели. Есть души, которые однажды выпадают из вашей жизни, они уходят от вас навсегда, и по большому счету неважно, куда они переселились — на другую улицу, в другую страну или вовсе туда, откуда уже нет возврата. Лишь нежный оттенок грусти появится в вашем сердце, когда вы, вовлеченные в вечные циклы воспоминаний, вдруг зацепите забытый образ. Поэтому я вправе говорить об Ихсанове с той самой высоты памяти, которая позволяет в равной мере видеть живых и ушедших.

Мы познакомились с ним на телевидении, там, где сходятся самые разные характеры. Помнится, он явился туда не по звонку сверху и не по чьей-либо просьбе, как это чаще всего бывает на провинциальных телеканалах. Он сопровождал писателя Марфина в качестве шофера, а вернее будет сказать, писатель Марфин попросил Ихсанова завезти его на телевидение, где ему предложили написать некий сценарий, а уж потом идти в пивную или куда еще. Ихсанов, редко отказывавший своим приятелям, очевидно, согласился. Он вошел вместе с этим писателем на ту территорию, где задержался на много лет и откуда люди обычно не уходят, так как телевидение — это такая зараза, избавиться от которой невозможно. Однако Ихсанов со всеми его особенностями и талантами принадлежал к той редкой категории людей, которые идут вне общей колонны. Думается мне, он и работал-то на телевидении, словно спускался под воду, набрав побольше воздуха для погружения, нырял, делал свою работу и, ощущая недостаток кислорода в легких, мучимый страшным гулом в висках, стремился вверх, к желанному глотку воздуха, в родную среду обитания.

Первое время он не позволял себе вступать в разговоры, делать замечания, поскольку был занят тем, что художники

называют изучением материала. Один поэт сказал как-то, что писать стихи ему неинтересно: он настолько владеет искусством стихосложения, что не чувствует сопротивления материала и потому собирается бросить писать стихи. Так, наверно, поступил позднее Ихсанов с телевидением. Но повторяю, первое время он ушел в него с головой, не откликаясь на отзвуки внешнего мира. Впрочем, легкая отчужденность во взоре была свойственна ему изначально, я его таким и запомнил — идущим мне навстречу по коридору, думающим о чем-то своем. Мне кажется, его совершенно не привлекало к себе цеховое братство телевизионщиков, где каждый, при всей внешней благожелательности, втайне завидует успеху своего собрата (добавлю к этому, что телевидение — это особая территория борьбы амбиций, где деятели экрана заняты главным делом своей жизни — пропагандой собственной личности). Эта его отчужденность находила воплощение в отказе от некоторых устоявшихся здесь обрядов. Взять, к примеру, обряд ежедневного приветствия, который на телевидении обычно совершается двумя способами в зависимости от половой принадлежности того, кого ты встретил на своем пути. В случае с мужчиной предполагается теплое рукопожатие и внимательный, благожелательный взгляд. В случае с женщиной — легкий светский поцелуй, который может перейти в объятия, пылкость которых зависит от степени доверия. В обоих случаях Ихсанов явно подчеркивал свою непричастность к профессиональной традиции. Причем свой отказ от женских объятий он мотивировал следующим образом: «Не хочу себя распалять. Так же, как алкоголик, который, стоит ему только выпить рюмку, хочет немедленного продолжения, так же захочу продолжения и я. Так что лучше мне женщин не обнимать». При всей кажущейся несерьезности его слов, я склонен думать, что он говорил вполне искренне, поскольку сущность его была спонтанна и свободна, как ветер.

Несмотря на свою отчужденность, он со временем не удержался, чтобы не дать оценку некоторым из своих коллег. Замечу, что в этом отношении Ихсанов был весьма бесцеремонен. В то время у нас работал редактор Темнов, который считал, что его таланты не признаны начальством. «Меня держат в клетке!» — обычно кричал он в коридоре, собрав вокруг себя несколько женщин, горячо сопереживавших ему. «Меня держат в клетке, а я хочу летать...» — его крик постепенно переходил в проникновенный шепот, после которого его почитательницы не могли удержаться от слез.

Я хорошо помню Ихсанова, стоящего возле стены коридора, и его без всяких интонаций голос: «Ну и правильно вас держат. Потому что, если попугая выпустить из клетки на улицу, он заблудится, и его в конце концов заклюют дятлы». Ихсанов видел человека насквозь и бил наверняка.

Помню я и другую оценку, которую он дал нашему завхозу Инне Михайловне, проработавшей у нас 40 лет. «Единственным ее достоинством, — сказал как-то Ихсанов, — является ее способность краснеть, когда она врет, но так как она всегда красная от выпитого, это достоинство сходит на нет».

Нажил ли он себе врагов? Разумеется, да. Телевидение — это такое место, где враги у талантливого человека появятся в любом случае, ты можешь и вовсе ни с кем не говорить, и тем самым наживешь врагов еще больше. Первым, кто невзлюбил Ихсанова, был ведущий одной из телепрограмм по фамилии Двухвостов. Этот Двухвостов имел при себе целую группу редакторов, которые сочиняли ему сюжеты и писали тексты.

Несомненным талантом Двухвостова являлась его способность проникновенным голосом говорить чужие слова, трогая самые недоверчивые зрительские души. Характеристика этого человека звучала так (при этом почему-то опять налицо был крен в сторону мира пернатых, по-видимому, на это Ихсанова подвигла фамилия его оппонента). «Да, Двухвостов умеет летать, — соглашался наш герой, — но его крыльев хватает ровно настолько, чтобы взлететь на высоту человеческого роста и усесться тебе на шею».

Вы спросите, что же такого интересного создал сам Ихсанов? О его непостижимых передачах я поведаю позднее. Пока же позволю себе рассказать о первом опыте Ихсанова в жанре короткой телепостановки. В то время среди режиссеров было модно обрывать жизнь главного персонажа следующим образом: герой медленно шел к открытой двери, где, имитируя небытие, восходил пиротехнический дымок, подсвеченный лучом прожектора. Вот мы видим человека, переходящего эту таинственную черту и исчезающего в иных пространствах. Какое-то время наблюдаем его спину, которая постепенно сливается с дымом, лучами вечности, клубящимися движениями Вселенной. Ихсанов поступил со своим героем точно так же, никого не удивив, но разочаровав меня, поскольку уже тогда я предчувствовал в этом парне нечто особенное.

— Ты зря говоришь, что он сделал это бездарно, — сказал мне старый осветитель Нугманов. — Да, я согласен, так

делают сейчас все. Но у Ихсанова есть одна дополнительная деталь. Ты обратил внимание: когда его герой удаляется в эту самую дверь, план вдруг меняется, и мы видим крупно лицо героя, идущего прямо на нас. Ты понимаешь? Ихсанов установил камеру в мире мертвых и оттуда показывает нам лицо и глаза, уже видящие то, чего нам знать пока не дано. Уверяю тебя, так не делал еще никто. Этот парень еще покажет, на что он способен.

Я сразу уверовал в его исключительность, и Ихсанов много раз подтвердил, что я не ошибся. Кстати, эта первая его телепостановка осталась вовсе незамеченной. Обычно, если передача удалась, на следующий день в студии не смолкают звонки от телезрителей, желающих выразить свою благодарность. На этот раз благодарностей не было. Хотя звонки были. «Кто-то весь день звонит и молчит в трубку», — рассказывала секретарша Людочка. «Это звонки с того света», — сказал мне осветитель Нугманов, — я же говорил, что Ихсанов непростой парень».

Пару недель назад я побывал у осветителя Нугманова, чтобы забрать старые кассеты. Он пригласил меня на кухню попить чаю, и я не отказался, поскольку никогда не отказываюсь от чашки чая в домах, где лики хозяев светлы. Тем более осветитель Нугманов умел заваривать чай, а такие люди знают толк в жизни. Они знают ее аромат, они пробуют каждое ее движение на вкус и распознают мгновения, как сорта чая. Их движения сродни течениям тихих рек, а морщины их напоминают древние пергаменты, где написано то, что дано знать лишь избранным. Пока пили чай, я заметил на стене фотографию, на которой был запечатлен хозяин квартиры на фоне лесного пейзажа. Эта фотография меня удивила. Нугманов был не из тех, кто вешает собственную фотографию на стену.

— Эта фотография на память, — объяснил он мне. — Именно на память. Но не обо мне. Так как я сам себе совершенно не интересен.

— Что же тут такого интересного? — спросил я, вглядываясь в снимок.

— Эту фотографию сделал Ихсанов.

Он подлил мне чаю в пиалу:

— Она интересна именно этим. Ей цены нет. Где ты еще найдешь фото, которое сделал гений?

— Ну ты загнул, — не согласился я.

— Как сказать, — не согласился осветитель Нугманов.

Наше знакомство с Ихсановым началось с того, что он позвонил мне: «Нужен оператор для поездки на сабантуй в Санкт-Петербург. Удобно ли мне просить вас?». Несмотря на то, что я был уже опытным оператором и работать с начинающими мне, как правило, неинтересно, я согласился. Мы ехали с ним двое с лишним суток, а нигде не узнаешь человека лучше, чем в поезде. В поезде, который несет своих пассажиров в наступающий мрак, темень. Он вворачивается в бытие, словно червь в яблоко, он входит в родные стихии, как посвященный. Твоя душа мчится вместе с ним, вот она влетает в туннель, будто падает в бездонный колодец, и, словно возвратившись из глубокого обморока, несется дальше. Нигде, кроме как в поезде, не ощутишь этой полноты мироздания, когда ложечка, стучащая в стакане, имеет тайную связь со стуком колес, бешено крутящихся там, внизу; ответ придорожного фонаря роднится с дальней звездой или глазами совы, прячущейся где-то в ночи на темной ветке, а твоё дыхание совпадает с дыханием Вселенной.

Нашими соседями по купе оказались два военных водолаза, которые ехали к себе домой в Питер после какой-то ответственной работы на Севере. Один из них несмело достал из сумки бутылку водки:

— Вы не против?

В ответ на это Ихсанов вытащил бутылку коньяка и поставил на стол:

— Очень не против.

Говорят, в России последней степенью опьянения являются разговоры о работе. Это действительно так, и в этом ничего плохого нет. Мы рассказывали водолазам о съемочном процессе, сценарии и монтаже. Водолазы рассказывали нам о погружениях в морские бездны, куда даже рыбы не заглядывают.

— Там внизу держи ухо востро. Любое резкое движение, и ты можешь вывихнуть конечность. Очень высокое давление.

Через пару часов у нас у всех было чувство, что мы знакомы всю жизнь, как бывает в поезде, и только в поезде. На станции один из водолазов вышел на перрон и вернулся с сушеным лещом. Ихсанов на это сказал:

— Водолаз вернулся с рыбой в руке. Это совершенно правильно. Летчик вернулся бы с птицей. Или с курицей. Каждому своя стихия.

Затем посмотрел на меня и сказал:

— Ты не смейся. Есть в мире взаимосвязи, которые мы не замечаем.

— По-моему, все гораздо проще, — сказал я, — на перроне ничего другого не продавали.

— Может быть, — ответил он, но я понял, что его мои слова не убедили.

Водолазы легли спать, как люди военные, они ложились рано, а мы с Ихсановым о чем-то еще долго говорили. Потом один из водолазов упал с верхней полки. Лежа на полу, он энергично поднимал над головой руку, то ли дергая воображаемый трос безопасности, то ли просто зовя на помощь.

— Есть связи, на которые мы не обращаем внимания, — опять сказал Ихсанов, когда мы поднимали водолаза и укладывали обратно на полку.

Наш ненавязчивый разговор под стук вагонных колес и храп водолазов продолжался, а точнее, говорил Ихсанов, а я слушал.

— Мы проходим разные жизненные этапы, — рассуждал он, щипая сушеного леща, — и меняемся. Мы становимся совершенно другими людьми. Так же, как лещ, который заплывает из Волги в Каму, меняется полностью. Он принадлежит теперь другой реке. Ему снятся другие сны, и вкус он имеет совершенно другой. Ты не думал, почему ты оказался на телевидении?

Мы допивали оставшуюся водку.

— Это очень серьезный этап, — продолжал захмелевший Ихсанов, — телевидение служит для того, чтобы столкнуть человека с реальностью. Есть в этом некоторая задумка. Вспомни, — он вскинул на меня свои глаза, темные, сродни ночи, несущейся за окном, — наверняка тебя тоже всегда мучило подозрение — реально ли бытие вокруг тебя? Когда-то ты смотрел телевизор, наблюдал некие события, например, закат солнца в Нью-Мексико. И вот у тебя возникает подозрение: а не водят ли тебя за нос? Существует ли на самом деле Нью-Мексико? Быть может, все это принадлежность телевизора и телевизором ограничивается? И вот...

Ихсанов сделал паузу, как актер, поймавший ритм спектакля:

— ... и вот судьба приводит тебя на телевидение, чтобы ты увидел все изнутри и убедился, что все это взаправду и они не водят тебя за нос.

— Кто это они? — спросил я.

— А это, брат, мы никогда не узнаем, — Ихсанов покачал головой. — Или узнаем, когда уже будет все равно.

— Но это так печально, — я был тоже порядком пьян.

— Ничуть. Было бы гораздо печальнее, если бы мы все это знали с самого начала.

На вторые сутки нашего путешествия мы продолжили нашу пьянку с водолазами. В какой-то момент Ихсанов сказал, что мечтает совершить глубоководное погружение. «Нет проблем, — сказали пьяные водолазы. — Ради друга нет проблем. Сейчас на первой же остановке найдем любую лужу и устроим тебе погружение». Сказав это, они начали распаковывать свои акваланги, шланги и гидрокостюм, который Ихсанов тут же начал неловко примерять. Я приложил все усилия, чтобы отговорить их не делать никаких погружений: мы можем отстать от поезда и прочее. К моему счастью, и водолазы, и Ихсанов оказались людьми хоть и пьяными, но вполне вменяемыми и отказались от своей затеи.

Мы отсняли материал в Питере и вернулись домой. Эта поездка нас сблизила, и какое-то время нам пришлось работать вместе, а точнее, это был один из тех периодов жизни, которые оставляют свои тайные знаки на всю последующую жизнь. Мы входили, как нож в масло, в структуры телепередач. Мы совершали глубоководные погружения в образы наших героев. Мы следовали собственному чувству ритма и ритмам Вселенной. Мы, словно рыба лещ, переходили из одной стихии в другую, меняясь качественно. Одним словом, мы поняли друг друга. Подробнее о тех самых телепередачах я расскажу позднее. А пока я остановлюсь на некоторых особенностях личности Ихсанова, которые меня поначалу озадачили. Взять, например, его отношение к заказным фильмам. В то время, да, пожалуй, и сейчас, снимать заказные фильмы было делом прибыльным. Режиссеры делали это так: тяжело вздыхая и брезгливо морщась, они выдавали приторно-мажорный материал о буднях глав администраций и директоров предприятий, и лишь шуршание отсчитываемых купюр впереди покрывало все неудобства этого процесса. Ихсанов же, напротив, проявил особый интерес к заказным фильмам. «Снять фильм о чем хочешь любой сможет. А ты сделай то, что тебе не по душе», — сказал как-то он. Впрочем, разного рода начальники и сильные мира сего были ему как раз по душе, о них-то он и сделал те самые удивительные телепередачи, о которых я обещал рассказать.

— Начальники, которые над тобой, это не просто люди, которые нами командуют, — говорил Ихсанов. — Они возникают на нашем пути, как телеграфные столбы по ходу поезда, и появление каждого из них неспроста. Дело в том, что в нас заложен определенный запас подобострастия и послу-

шания, который мы обязаны в течение жизни реализовать. Если ты этот запас не реализуешь, тебя будет вечно уносить в сторону, все будет наперекосяк и ты не найдешь успокоения. Поэтому не делай независимый вид и не плюй в сторону начальника.

— Надо же, как ты выкручиваешься, чтобы оправдать свое подхалимство, — подначивал я его.

— Возражения желторотого юнца, — ничуть не смущаясь, отвечал Ихсанов.

Его теоретические рассуждения относительно начальства получили однажды странное развитие в области практической, когда он пригласил к себе в гости заместителя председателя нашего телеканала Трюкова, который в иерархии телевизионного руководства занимал весьма высокое положение. Я знаю эту историю с чужих слов, поскольку сам (очевидно, ввиду своего низкого ранга) приглашен туда не был. Ихсанов встречал дорогих гостей стоя на улице.

— Милости просим, — любезно улыбнулся он, открывая дверцу перед начальством.

Трюков, а вслед за ним и начальник отдела кадров (или это был начальник планового отдела) вышли из машины и, сопровождаемые радушным хозяином, направились в сторону дома. Но тут возникла неожиданная загвоздка. Их путь преградил высокий каменный забор.

— У нас тут стройка, — объяснил Ихсанов, — к нашему дому пристраивают еще один. Обходить очень далеко, но тут в заборе есть дыра.

— Прошу вас, — любезно и несколько виновато улыбаясь, сказал Ихсанов, приглашая войти в невысокий проем в стене.

Трюков поморщился, но, кряхтя, полез в дыру, а вслед за ним полез и начальник отдела кадров.

— Вы уж извините, — говорил Ихсанов, с той же виноватой улыбкой ведя гостей к подъезду, — но если бы мы обходили вокруг, знаете, сколько бы ушло времени.

Однако главное неудобство гостей ждало впереди. У самых дверей квартиры стояла какая-то женщина и в отчаянии заламывала руки. Это была жена Ихсанова.

— Вы знаете, — ее голос был взволнован до предела, — я вышла вынести мусорное ведро, а дверь захлопнулась. А ключи остались там, в квартире.

— Извините, — улыбка Ихсанова стала еще более виноватой, — сейчас что-нибудь придумаем. Надо вызвать МЧС. Да, сейчас мы зайдем к соседям и вызовем МЧС.

Трюков и начальник отдела кадров смотрели на происходящее без всякого выражения на лице.

— Пожалуйста, не уходите, дорогие гости, — Ихсанов старался держать марку до последнего, — сейчас они придут. Мы так готовились, у нас такой стол, понимаете, накрыт. Умоляю вас, сейчас они придут и откроют.

Теперь, по прошествии лет, я склонен считать, что это заискивание Ихсанова перед властью имущими было скорее искусственным и вынужденным. Столь же искусственным было и его трепетное отношение к заказным передачам, которые, кстати, у него плохо получались. Как это ни странно, мне думается, что в основе всего этого лежит обычная борьба за выживание. Ихсанов, кроме жены, имел двух детей — мальчика и девочку, которых, как известно, надо одевать и кормить.

Надо сказать, что мои юношеские воззрения на отношения с начальством со временем претерпели существенные изменения.

«А пошли они все на...!» — можешь воскликнуть ты, имея в виду начальство, оглушительно хлопнув дверью, блистая честными, возвышенно-благородными глазами.

Вокруг гул рукоплесканий: ах, как это смело, ах, как это правильно! Да, соглашусь я, это очень правильно по отношению к истине. Но это очень неправильно по отношению к собственным детям, которые будут теперь недоедать и одеваться в тряпье. А дети — это гораздо более высокая истина, чем ты вместе со своим начальником. И потому, поступая так, ты совершаешь глубоко эгоистичный поступок. Посмотри вокруг, окинь взглядом мерцающие вдали одинокие фигуры этих эгоистичных гордецов с честными глазами, а потом переведи взгляд на их детей, стоящих в стороне, серых, неухоженных, беззащитных, и тем более неухоженных и беззащитных, чем благороднее их папаши, — и ты поймешь цену хлопанью дверьми.

И поэтому Ихсанов, с его подобострастной улыбкой, склоненный в почтительной позе перед — забыл кем, кажется, Трюковым, не выглядит теперь в моих глазах столь нелепо. Тем более я знаю, что однажды его дети вырастут, и он порвет последние нити, связывающие его с ненужными теперь долгами.

Мне вспоминается одна фраза, которую он иногда отпускал, глядя куда-то в сторону: «Надо посоветоваться с начальством». Никто не спрашивал его, какое именно начальст-

во имеется в виду. Но если бы спросил, я думаю, Ихсанов небрежным жестом показал бы рукой на небо.

Хотя осветитель Нугманов считает, что эта фраза вполне могла относиться к жене нашего героя. Что касается этой особы, я видел ее всего пару раз и утверждаю, что она вполне могла бы иметь власть над любой душой. Заговорив о ней, я вспомнил, что немного отвлекся, оставив наших героев в подъезде перед закрытой дверью.

Ее плечи подергивались, глаза были полны слез. «Я тебе говорила, — ее взгляд, направленный на Ихсанова, был по-прежнему полон отчаяния, — бери всегда с собой ключ, когда выходишь. Но ты меня никогда, никогда не слушаешь, ты занят только собой». Она была по-настоящему красива. Разумеется, зампредседателя Трюков не устоял против этой красоты. Его лицо вскоре смягчилось, а глаза стали масляными. Да, надо вызвать МЧС. Конечно, давайте воспользуемся моим мобильным телефоном. Не надо так переживать. Он сочувствовал ей как мог. Специалисты МЧС, однако, не приехали. Вернее, приехали, когда гости уже ушли. «Пожалуйста, не уходите, — лепетал Ихсанов, — сейчас они приедут». Но Трюков даже не смотрел в его сторону. «Не стоит переживать, — говорил он, опять и опять беря ее за руку, — вам обязательно откроют дверь. Любая дверь со временем открывается».

— Я женился на первой же красивой женщине, которой я понравился, — рассказывал как-то Ихсанов, держась за пивную кружку. — Дело в том, что меня всю жизнь любят некрасивые женщины. Я пользуюсь у них страшным успехом. Мне просто покоя от них нет. Они влюбляются в меня с первого взгляда. Я всегда думал: вот бы вместо трех-четырёх некрасивых меня полюбила одна красивая. Количество перешло бы в качество. Но нет, опять одно и то же. Не дают мне покоя.

— А как на это смотрит жена? — спросил редактор Хаиров.

— Да никак. Они же ей не конкурентки.

Мы сидели в трактире напротив нашего телецентра после одной из смен. Ихсанов и Хаиров пили пиво, я же, уже к тому времени бросивший потреблять все виды алкоголя, попросил официантку принести кофе. Официантка принесла мне нечто мутное, темное и приторное, разбавленное водой, в которой присутствовал вкус ржавых труб и каких-то других сооружений, имеющих отношение к области сантехники. Пить это было нельзя, но разговор, который происходил ря-

дом со мной, был настолько мне интересен, что покрывал все неудобства этой холодной забегаловки.

— Почему ты не пьешь с нами пиво? — Хаиров поглядел на мой стакан.

— Он теперь не пьет пиво, — ответил Ихсанов.

— Почему? Это предательство не пить с нами пиво!

— Да, как ты смеешь! — восклицали они. — Предатель, одно слово.

Мне и в самом деле стало неловко. Когда же Ихсанов пронзительно посмотрел на меня и произнес историческую фразу «И ты, Брут!», я был готов и вовсе сгнуться со стыда. Затем они опять переключились на женщин.

— У меня немного похожая ситуация, — продолжал Хаиров начатый разговор. — Но я постарше вас и могу рассуждать о женщинах с высоты времени. Когда я был молод, мне тоже очень нравились красивые девушки. Но вот беда — я-то им не нравился. Мне это казалось очень несправедливым и неправильным. Вот я, понимаешь, такой хороший парень, все вроде бы при мне. Но они — красивые девушки — на меня не смотрят. Теперь, по прошествии лет, я считаю свои претензии обоснованными. И вот почему. Не стану скромничать, я — человек, не обделенный талантом. Во мне есть, что называется, изюминка. Те красивые девушки моей молодости были тогда еще глупы, чтобы эту изюминку распознать. Со временем они поумнели, и теперь я им уже очень даже нравлюсь. Но вот беда, они-то мне уже не нравятся. Они мне нужны были в полном обаянии их молодости и глупости.

— Справедливости вообще мало на этом свете, а в любви особенно, — задумчиво произнес Ихсанов.

— Так оно и есть, — сказал Хаиров. — Жизнь устроена жестоко как по отношению к женщинам, так и к мужчинам. Если вы не торопитесь, я расскажу вам одну историю из моей молодости.

Он рассказал свою историю, и ниже я привожу ее полностью, хотя к моему рассказу она имеет косвенное отношение. Она скорее интересна тем, что подтвердит одну особенность Ихсанова: в нем было нечто, что располагало к нему собеседника.

Итак, Хаиров начал свой рассказ.

— Как вы знаете, я учился на филфаке. В нашей группе училась одна девушка по имени Алина. Дело в том, что такой красивой девушки я прежде еще никогда не видел. В ее гордой грациозности было нечто от древних половецких или

татарских родов, получившее ненавязчивое продолжение в шейпинге, фитнесе и прочем, чем обычно увлекаются студентки. Не могу сказать, чтобы я тайно вздыхал по ней. Ее красота была для меня изначально недоступна, и я просто не осмеливался не то чтобы подходить к этой девушке, но даже и думать о ней. Полагаю, что здесь во мне действовали некие защитные силы, не позволявшие маленькой, дышащей точечке разрастись в тот огромный шар, который катится под откос, подминая под себя все — душу, голову, годы.

Во времена моей молодости ребят с филфака забирали в армию, и происходило это где-то на втором курсе. Забрали и меня. Вы догадываетесь, наверно, что в армии я не прижился. Армия не для таких, как я. Военная водица никогда не превратится в вино, а камни, что в фундаментах казарм, никогда не станут хлебом. Более того, армия потребует еще и последнее, что у тебя осталось. Кстати, это хорошо отражено во всем вам знакомой русской народной сказке про суп из топора. Я утверждаю, что эту сказку сочинил некто весьма талантливый (а именно талантливые люди сочиняют народные сказки, а не народ) и с большим намеком. Солдат бросает в кипящую воду топор — символ ничего, а затем с шутками-прибаутками, а точнее, обманом выманивает у хозяйки сначала соль, потом лавровый листок, потом крупу, мясо и прочее, пока не сготовит себе хороший суп. Не улавливаете ли вы в этой сказке образы армии с топором в пустой воде и народа, прячущего свой кусок, но доверчивого и наивного?

В моем же случае эта пустая армейская вода с запрятанным в ней абсурдным топором потребовала от меня мою голову, мои дни и годы и даже мою тонкую, ранимую душу. Я ее тогда не чувствовал, она целиком уходила в тот же самый суп. Единственное, что было при мне, это сны. Я ждал ночи, я хотел в свои сны, как в родной дом. Но вечно клокочущий суп претендовал и на мои сны — последние территории, где я мог еще остаться самим собой. Ночные подъемы и бесконечные построения, полуночные издевательства дембелей, суточные наряды — вы все это знаете не хуже меня. Кто-то скажет, что так набирается жизненный опыт, но я отвечу, что это был тот опыт, который мне вовсе ни к чему. Сны обрывались на полуслове, свет становился тьмой, лики видений сменялись физиономиями сержантов.

Одним словом, в какой-то момент я ощутил такое отчаяние, которое могло бы привести страшно подумать к чему. Но вдруг я получаю письмо от нее. Той самой девушки Алины, о которой не мог даже мечтать. Помню, сердце мое подп-

рыгнуло выше небес, я стоял в коридоре казармы с распечатанным конвертом в руке и нелепой улыбкой. Время было уже перед отбоем, мимо меня проходили солдаты, на плечах их были влажные после вечерней помывки полотенца.

— Ты че стал на дороге? — спросил рядовой Лыков. — Умер, что ли?

— Умер, — ответил я, глядя на него и словно видя впервые.

Я и в самом деле умер. Я умер и воскрес, и снова умер и опять воскрес, и так бесчисленное количество раз. Алина сообщала, что очень переживала, когда меня забрали в армию, что она хотела бы получить от меня ответное письмо. И еще что-то, что обычно пишут девушки, когда хотят сообщить о своих затаенных чувствах. Та крохотная дышащая, но прячущаяся где-то на задворках моей души точка выросла в мгновение ока, превратилась в огромный шар, который понесся — не вниз, под откос, в неизвестность, напротив, он помчался в будущее — страстное, ликующее, наполненное близким счастьем.

На утреннем построении я поднял свой взор к небу и увидел пролетающих над нашей армейской частью птиц. Они летели к своему дому, а может быть, в теплые края или вовсе в некую свою птичью Мекку. Я поймал себя на том, что никогда еще, будучи в армии, не замечал птиц. Да и вовсе не поднимал взор к небу. Будущее счастье полностью преобразило настоящее мгновение. Я огляделся и понял, что бесконечно люблю все сущее. Люблю этого тупого краснолицего майора, принимающего построение (а кто сказал, что он туп, просто люди на свете бывают разные, не надо предъявлять к ним своих требований), люблю этих невзрачных, грубых солдат (почему грубость? Любой воюет за свое место под солнцем), люблю эти казармы (вполне приличные, в конце концов, строения для человеческих сообществ). Добавьте к этому еще то, что мне было девятнадцать лет, возраст, когда в тебе сокрыт такой резерв любви, что эта разбуженная внезапно любовь может спокойно проглотить весь земной шар с его вечными ледниками и знойными пустынями, выплюнув, чуть поморщившись, разве что какие-нибудь известные отложения или остатки древних метеоритных дождей.

С этого момента моя жизнь изменилась неузнаваемо. Армия стала для меня идеальным фоном для приближающейся встречи с любимой девушкой. Я был первым в лыжных кроссах и огневой подготовке. Я заимел множество друзей — от того же рядового Лыкова до замначальника столовой. Лик мой был светел — любовь наделяла меня ненавязчивой свя-

тостью, той самой святостью, которая шла впереди меня, гася самую страшную вспышку ярости и вызывая в ответ тихую, кроткую улыбку. И даже матерщина в моих устах, без коей невозможна солдатская жизнь, несла тот же оттенок святости, которая перекликалась с моим всеобъемлющим чувством.

По вечерам я уединялся в красном уголке и читал письма от нее. Я получал их почти каждый день и в какой-то трепетной прострации писал ответные письма — нежные, полные затаенной страсти и ожидания. Мы не признались в нашей любви открыто, это было вовсе не обязательно, нам было достаточно наших писем, столь частых, что частота эта сама по себе была куда красноречивее всяких слов. Но мы позволяли себе мечтать, представляя себе нашу будущую жизнь. Нет, это не была жизнь, четко обозначенная двумя главными и столь приземленными персонажами — муж и жена, это было нечто трогательно-воздушное, в котором угадывались два светящихся пятна — она и я.

Два армейских года прошли для меня незаметно. Подсвеченные легкой аурой моего чувства, проходили часы, дни и месяцы. Они не оставляли на сердце ран и даже беспокойства. Да что там армейские тыловые будни! С колышущимся знаменем любви над головой я мог бы под дикие крики моих товарищей штурмовать неприступные стены форта Байяр или переходить Альпы, не зажмуриваясь при виде бездонных пропастей, вырастающих на пути.

Между тем близился самый желанный и волнующий в моей жизни час. «Что я скажу ей при встрече?» — один и тот же вопрос тысячный раз вставал передо мной. Я скажу что-нибудь вроде: «Здравствуй, Алина, вот я наконец и вернулся. Как ты жила без меня?». Нет, это слишком банально, многословно, неправильно. Надо сказать: «Здравствуй, вот и я». Но после долгих внутренних диалогов был отвергнут и этот вариант. Я скажу ей только одно слово: «Здравствуй...». Именно так. И в этом слове будет высокая недосказанность. Все остальное она поймет по моим глазам.

Стоп! Но если брать во внимание красноречивость моих глаз, то можно ничего не говорить. Да. Вот что следует сделать. Посмотреть на нее и ничего не говорить, а заключить ее в объятия. Конечно, к чему тут слова, молчание сильнее любых слов.

Испытывала ли она сходные переживания? Да. Мне известно это сейчас, было известно и тогда. Я выходил в ночь из спящей казармы, вдыхал свежайший мартовский воздух и

не верил своему счастью. Чем я заслужил это? Может, все это происходит не со мной?

Спать не хотелось, снег хрустел под моими ногами, близилась весна, дембель, дорога домой — долгая, подсвеченная тихим восторгом, сопровождаемая частыми ударами моего любящего сердца. В кармане у меня уже был билет на поезд, тот самый поезд, который помчит меня к ней, моей любимой.

И вот позади долгая дорога. Я дома. Я сижу за столом, тереблю край скатерти и жду ее. Она придет ко мне домой в шесть часов вечера — так мы условились в последних наших письмах. Моя душа ни жива ни мертва висит над бездной и эта бездна — ожидание. Шесть ноль-ноль. Я встаю из-за стола, иду к окну, смотрю на горизонт, возвращаюсь к столу, и так бесчисленное множество раз.

Шесть ноль три. Звонок в дверь. Это она.

Я подхожу к двери и открываю ее, последнюю дверь между мной и моим счастьем. Но...

Передо мной стояла не та, которую я ждал. Она была невзрачна, неинтересна, маленького роста, с угревой сыпью на лбу. Словом, это была не она. Потрясение, которое мне пришлось испытать, было столь неожиданно, что моя речевая система тотчас отказала мне, и я не мог вымолвить ни слова. Однако наше сознание устроено таким образом, что даже в мгновения самых страшных катастроф какой-то его краешек отчетливо фиксирует происходящее и анализирует события. Поэтому я тут же понял, что происходит. Эта низенькая, невзрачная девушка за порогом и впрямь училась в нашей группе. И звали ее тоже Алина. Фамилия ее была — Валиахметова. Моя же Алина (а теперь оказалось, что вовсе не моя) имела фамилию Казембекова. В письмах, которые я получал, фамилия не указывалась, ведь в делах любовных такие мелочи всегда отходят на второй план.

Несколько секунд я находился в полной прострации, осознавая всю чудовищность этой ошибки и жестокость судьбы, сыгравшей со мной столь злую шутку. Тем временем Алина Валиахметова, которая глядела на меня не отрываясь (очевидно, она так же, как и я, долго репетировала сцену нашей предстоящей встречи и посчитала, что молчание куда красноречивее любых слов), сделала шаг ко мне.

Далее происходило то, что нельзя объяснить с точки зрения здравого смысла. Я начал судорожно закрывать дверь, спасаясь от этой несправедливости судьбы, стараясь не пустить в дом реальность, словно можно было запереть дверь и тем спасти действительность, остановить ее, удержать, по-

вернуть вспять. Алина Валиахметова же, напротив, отчасти тоже бессознательно, вступила со мной в эту молчаливую борьбу — пыталась открыть дверь. Она пыталась открыть ее всеми своими девичьими силами, она стремилась к своему счастью, к своему будущему, столь сладостному в переживаниях и мечтах.

Наше единоборство длилось, наверно, около минуты. В какой-то момент, когда наконец с обеих сторон была осознана вся нелепость этой борьбы, Алина Валиахметова ослабила усилие, и я захлопнул дверь. Через некоторое время на лестнице раздался стук ее каблучков. Она ушла.

А потом я долго ходил из угла в угол по комнате. Мне было так весело, что я хохотал, и в этом хохоте присутствовали истерические нотки. «Всяк сверчок знай свой шесток», — говорил я и опять хохотал.

Такова история той любви, жестокой и теперь почти забытой.

Приведя здесь рассказ редактора Хаирова, я отдаю себе отчет в том, что это не совсем тактично по отношению к нему, поскольку Хаиров — человек пишущий и рано или поздно сам мог вынести историю своей любви на суд читателей. Но что-то подсказывает мне, что он никогда не сделает этого, поскольку принадлежит к той категории талантливых людей, которые редко добиваются до письменного стола. Это люди высокого полета (и опять нас влечет в сторону пернатых), но, как правило, они всю свою жизнь носят на своей шее тех, кто — я цитирую Ихсанова — умеет летать, но их крыльев хватает только, чтобы взлететь на высоту человеческого роста и усесться тебе на шею.

Редактор Хаиров закончил свой рассказ. Я не заметил, как глоток за глотком выпил стакан ужасного напитка, известного в этом заведении под названием кофе. Вероятно, срабатывали забытые рефлексy, связанные с принятием алкоголя, — пить морщась нечто невкусное.

— Нам еще пива, а ему кофе, — сказал Ихсанов подошедшей официантке.

— Ни в коем случае! Не надо кофе! — запротестовал я, но женщина уже умчалась выполнять заказ.

Редактор Хаиров сидел и молчал, глядя на букет искусственных ландышей посреди стола.

— Видел ли ты еще после этого Алину Валиахметову? — спросил его Ихсанов.

Но тот молчал, то ли потеряв интерес к разговору, то ли выдерживая паузу.

Официантка принесла пива для моих приятелей и стакан все того же ненавистного темного напитка для меня.

— Я вижу Алину Валиахметову каждый день, — ответил наконец Хаиров. — Это моя жена.

Я опять, забывшись, отхлебнул из своего стакана.

— Она была не такой страшной, как я вообразил себе. Да, собственно говоря, она была тогда и вовсе приятной девочкой, просто это не бросалось в глаза.

Далее редактор Хаиров ничего рассказывать не хотел. Возбужденный воспоминаниями, он молча и сосредоточенно пил пиво.

— Красота, которая рядом с тобой, это вещь особая, — заговорил Ихсанов. — Через некоторое время ты уже воспринимаешь ее как данность, как фон. Потрогайте свои пятки. Они грубы и тверды, как подошвы ботинок. Немыслимые расстояния пройдены с тех пор, когда твои пятки были мягкими и розовыми. Душа грубеет, как пятки. Наши восприятия стираются. Мы привыкаем ко всему. Мы привыкаем к красоте рядом с нами, будь это пейзаж или женщина. Так же, как и к отсутствию красоты.

Ихсанов продолжал говорить, он был в хорошей форме.

— Вообще жизнь с женщиной — это большое искусство. К этому делу надо относиться с толком. Иначе жизнь превратится в кошмар, как часто и случается. Помните фильм Эдика Нигматова «Мне хорошо там, где тебя нет, дорогая!»? Там, где герой в финале кричит: «Где мои носки?» и сходит с ума. Жизнь с женщиной — это даже не искусство, а хитрое ремесло. Любому дураку ясно, что женщина, будь она трижды красива, в конце концов перестанет тебя волновать как прежде. Да и вообще временами ты будешь ее с трудом переносить. Вот тут-то и должны включиться твои защитные силы. Например, вы можете удариться в путешествия. Для начала это может быть соседний городок, где можно полюбоваться куполами старинных церквей на закате или найти в местном музее следы знаменитого писателя прошлого века, бог знает какими путями попавшего в эту глушь. Затем, по мере того как женщина надоедает тебе все больше и больше, путешествия должны становиться все интереснее. Теперь вам с ней надо отправиться, скажем, в Санкт-Петербург, чтобы Медный всадник и гранитная Нева покрыли зарождающееся в вас обоюдное, взаимное раздражение. И наконец, когда придет время, вы окажетесь, может быть, в Нью-

Йорке, где ослепительный, бодрствующий и днем и ночью Тайм-сквер или музей «Метрополитен» с его чудесами со всего света заполняют ту часть вашей души, которая навзрошь пронизана мыслями о неудачном браке и всей тщете супружеской жизни.

Так обстоит дело не только в отношениях с женщиной. Так во всем. Жизнь — это ремесло, где надо постоянно приобретать навык и оттачивать свое умение. Возьмем, к примеру, твой случай с Алиной Валиахметовой.

Он посмотрел на Хаирова, который по-прежнему молча и сосредоточенно пил пиво.

— Какой навык можно приобрести после такой жестокой ошибки?

— Требовать, чтобы в письмах указывали фамилию, — сказал я.

— Нет, — продолжал рассуждать Ихсанов. — Вспомни, Хаиров, годы своей службы, когда ты находился в счастливом неведении. Предвкушение счастья есть большее счастье, чем само счастье. Человек более опытный прожил бы это время с толком, он вжился бы в каждую секунду этого ожидания, он съел бы его, как рыбу, тщательно обсасывая каждую тонкую косточку. Потому что где-то в глубине души он знает, что предстоящая встреча может не оправдать его надежд, и если даже эта встреча вовсе не состоится, он не будет столь удручен, как ты. Кроме того, эта твоя ошибка помогла пережить тебе годы службы в армии, а иначе, я думаю, тебе бы пришлось там совсем туго, поскольку армия не для таких, как ты. Еще раз повторяю...

Ихсанов подытожил свою мысль:

— Жизнь — это ремесло. И всякий навык надо зарабатывать.

— Кстати, — сказал вдруг Хаиров, — я это все придумал.

Хорошо его зная, я вполне допускаю, что он и впрямь сочинил эту историю с Алиной Валиахметовой, но, с другой стороны, все это так или иначе могло иметь место в действительности, поскольку такие люди, как Хаиров, всегда идут по тонкой тропке между вымыслом и реальностью, порой сходя с этой тропки куда им заблагорассудится. К этому следует добавить, что Ихсанов относится к той же когорте, в чем читателю еще предстоит убедиться.

Услышав признание Хаирова, я перевел взгляд на Ихсанова — мне было интересно услышать, что он ответит тому, кто одним легким движением вынул фундамент из столь монументального здания. Однако мой герой не моргнул и гла-

зом. Он не стал спасать разрушенное здание. Он знал цену правде и вымыслу.

— Ты придумал хорошо, — сказал он. — И это правильно. Мы не должны подстраиваться под реальность. Реальность должна подстраиваться под нас. Мы будем диктовать правила игры. И пусть, — он сделал пространственный жест рукой, — они берут с нас пример.

— Да, — горячо поддержал его Хаиров, — мы будем диктовать правила игры.

Они напились и наверняка потом не помнили ни слова из этого разговора. В какой-то момент они и вовсе утратили нить происходящего, и всей их активности хватало ровно настолько, чтобы с шумом сдвигать кружки, повторяя:

— Мы будем диктовать правила игры. Мы. Не они.

«Мы будем диктовать правила игры» — эту фразу в устах Ихсанова я запомнил надолго. Я вспомнил ее потом, когда началась та сногсшибательная серия диалогов с известными личностями, которую Ихсанов пробил на местном телеканале спустя пару лет. Что же касается Хаирова, то сейчас он диктует свои правила игры в местных журналах, переходя из одного в другой, не запоминая их названий. Так же птицы, летящие к своей птичьей Мекке, приземляясь, находят ночлег, назавтра уже его не помня.

Между тем наши творческие поиски продолжались, и нам хотелось запечатлеть на камеру все сущее. Мы снимали на рассвете, жутко морозным утром, когда чудовищно огромный красный шар вставал в печных дымах городских окраин. Мы снимали в дикой жаре среди руин древних городов, там, где в гулких развалинах слышится перестук далеких сабель и в бывших ханских покоях мерещатся тени наложниц; а потом мы выходили ополоснуться к реке, где волны выбрасывают на берег черепки древних кувшинов, наконечники копий, обломки щитов, бусинки рассыпавшихся ожерелий.

Мы снимали в непогоду и в дождь.

Мы снимали людей, работающих в поте лица своего, ищущих счастья, но так и не нашедших его.

Мы снимали детей их, не знающих Бога, но Богом любимых.

Мы снимали мудрых старцев, и морщины на их лицах превращались в карты с разветвлениями дорог, и мы шли по этим дорогам, по следу истины.

Мы шли по следам мертвых, слышали голоса, стараясь зацепить камерой то, что смертным не дано увидеть.

Мы устанавливали камеру в чуждых сердцу местах и желали поймать ускользающие линии сюжетов, не находили успокоения, и по ночам нам снилось, что мы большие птицы, сносимые ветром, и невозможно приземлиться, чтобы утолить жажду. Нам снилось, что мы рыбы, увлекаемые течением в незнакомые местности, потерянные и забытые Богом.

— Надо поймать образ, — говорил Ихсанов на одной из наших стоянок, наливая себе из котла чай. Пламя костра освещало его лицо, вдохновенное и усталое. Ночь была тиха, во всем мироздании слышны были лишь крики ночных птиц, потрескивание сгорающих у наших ног поленьев да голос Ихсанова.

— Надо поймать образ, — повторил он, пробуя горячий чай. — И этот образ будет диктовать тебе все произведение. Помнишь «Сто лет одиночества» Маркеса? Папа повел мальчика смотреть на лед, а лед, как ты понимаешь, это чудо для латиноамериканцев, которые в те времена не знали холодильников. Именно из образа льда, переливающегося, отсвечивающего всеми цветами радуги, но вместе с тем холодного, как человеческое одиночество, и возник этот роман. Ты меня понимаешь?

— Но я тебе скажу больше, — продолжал он, выпрямляясь и оглядывая ночной горизонт. Свежий ночной ветер шевелил его непослушные волосы. — Образ может породить не только роман. Образ может своими токами пронизывать твой день. Этот день будет от первого до последнего мгновения напоен лучами твоего образа, он будет твоим особенным и единственным днем. Ты проживешь его от первой до последней секунды вдохновенно и правильно. Я тебе скажу больше — образ может вести тебя за собой целую неделю, месяц и даже год.

Его глаза поблескивали, отражая пламя костра.

— Да что там год! Вся твоя жизнь может быть под властью одного образа. Надо только поймать этот образ и верить ему, как путеводной звезде.

Ветер налетал с дальних полей, неся запах травы и далеких гроз. Ихсанов продолжал говорить, я был готов слушать его бесконечно.

Мы искали тот образ, о котором говорил Ихсанов, и в этих поисках забывали себя. Наши дни и ночи были наполнены образами. Образы влекли за собой произведения, а про-

изведения влекли за собой жизнь, — и в этом была особая правда жизни, вкус этой правды я ощущаю и сегодня, хотя наши с Ихсановым пути давно разошлись.

Мы преодолели с камерой огромные расстояния по воде и суше, побывав и в небесах (если учесть съемки с вертолета и мотодельтаплана), сняли множество материалов, но, как ни странно, самые интересные передачи мы сделали в нашей студии, не выходя за ее порог. Я подозреваю в этом некую закономерность. Долгие поиски даются человеку всего лишь для того, чтобы убедить его, что не нужно было никуда ходить. Вот оно, все, что тебе нужно, — здесь, дома. Но это знание нельзя постичь головой. Его можно только выходить, постичь собственными коленными чашечками, голеностопными суставами, а еще пятками, что огрубели в дорогах и стали тверды, как каблуки ботинок. Его можно постичь собственными легкими, вдыхавшими ветра и горизонты. Знание приходит через тело. И это не просто обретение опыта, как может показаться. Ибо тот, кому не дано узнать истину, может пройти немыслимые расстояния и накопить огромный опыт, но этот опыт будет ему не нужен. Тысячи и тысячи старцев сидят по своим кухням и ничего не имеют за душой, кроме опыта, который очень пригодился бы, будь у нас впереди еще одна жизнь. Однако Ихсанов был из тех немногих, кому дано найти то, о чем я говорю, и для этого он и должен был пройти все предназначенные расстояния, а вместе с ним должен был преодолеть их и я.

Итак, сейчас я подхожу к главной части моего повествования, той самой части, из которой и станет ясно, что же это за передачи создал Ихсанов. Я уже упоминал о том, что это была серия встреч с известными людьми, чей высокий ранг никак не вписывался в поле деятельности моего героя. Очевидно, многие помнят те встречи, которые в свое время вызвали столь широкий резонанс.

Как известно, высшей степенью мастерства среди телевизионщиков является способность проникнуть к сильным мира сего и вызвать их на откровенность. Ихсанов весьма в этом преуспел. Мало того, что он умудрился попасть к каждому из них, он убедил их прийти в студию и ответить на вопросы перед телекамерой. Как он это сделал, как вы понимаете, профессиональная тайна. Я опускаю вопросы Ихсанова, поскольку тоже вынужден скрывать цеховые секреты, а привожу лишь частичные ответы интервьюируемых, которые постараюсь восстановить по памяти.

— Вы спрашиваете меня о самой моей значительной встрече? Да, я встречалась с папой римским. Но самая важная встреча была не с ним, да простит меня папа. Да простят меня также королева Англии, Джон Леннон — упокой господи его душу, а также Фидель Кастро, с которым судьба сводила меня пару раз в его лучшие годы. Должность председателя городского Совета народных депутатов предоставляла мне широкие возможности для самых разных знакомств. Сейчас же, как вы догадываетесь, мои возможности еще больше.

Я росла во дворе, где тополя растут до неба и бельевые веревки протянуты с одного края Вселенной до другого. Самое мое раннее воспоминание — это окровавленная ладошка соседского мальчика, который, пытаясь перелезть через забор, поранил руку. В моей памяти на всю жизнь остались закатное солнце над дощатым забором, крики дворовой ребятни и сочащаяся кровью детская ладонь — мгновение осознания мной себя на этом свете. Мне кажется, эта ладонь и ведет меня за собой. Потому-то моя душа беспокойна — на самом ее дне, в ее далеком истоке — та детская ладошка. Я всегда чего-то ищу и никогда не останавливаюсь на отдых. Никакие победы не приносят мне удовлетворения, любая радость длится недолго. И если сейчас, в свете ваших прожекторов, вы внимательно на меня посмотрите, то увидите в моих глазах отсвет далекого детского страдания.

Двор моего детства остался во мне навсегда. Я много раз меняла место жительства, но снится мне все один и тот же двор. Я хожу по нему, не имея ни возраста, ни имени, и тополя по сторонам растут до неба. Сны сами выбирают себе территорию, и, быть может, это и есть та самая территория твоей души, уходя от которой, ты чувствуешь себя на свете чужим.

Мне хочется рассказать про флейту. В июне во дворе зацвела сирень. И именно тогда в соседнем доме начинала играть флейта. Чтобы заметить эту закономерность, мне понадобилось несколько лет. Но вы знаете, что значит год для детства и юности, — немыслимо долгий промежуток времени, наполненный благоуханием цветов, уличным ветром, вос торгом и отчаянием. Это когда жизнь перевалит за середину, год — ничто. Посмотрите вон на того зрелого мужчину, вон там, за прожекторами, возится с проводами, седина отсвечивает. Он спокойно возьмет десяток лет, пожует и проглотит, не поморщившись, не изменяясь в лице, разве что несколько морщин добавится да углы подбородка станут еще жестче. В юности же каждое мгновение на вес гораздо боль-

ше, чем десяток лет в зрелости. Юность поперхнется мгновением, она зайдетса кашлем, она зажмурится, дрожь пробежит ее с головы до ног. Словом, я проживала год до следующего цветения сирени, словно пройдя огромное расстояние, наполненное мгновениями, как шагами.

Приходил очередной июнь, и я вновь слушала флейту и вдыхала запах цветов, который царил в мироздании, подчиняя себе взрослые и детские души. Однажды мне довелось увидеть того, кто играл. В нашем дворе окна летом открыты настежь, июньскую ночь надо пускать в дом, иначе не будет счастья в декабре, это любой вам скажет. В соседнем доме, что через двор, светилося кухонное окно. Музыка доносилась именно оттуда. Тот, кто играл на флейте, был мой сверстник. Он играл на флейте, во дворе цвела сирень, луна в небе была высока и прекрасна. Я не знаю, видел он меня или нет.

Он был совсем юн, но его игра была чудесной. Его умение было старше его, поскольку нельзя за столь немногие годы так научиться играть. Люди зовут это талантом, когда умение старше человека.

Шли годы, и так же, как у подростков ломается голос, его игра менялась. В ней начали появляться мужские гормоны. Менялась и я. Немыслимые превращения свершались во мне между цветениями сирени; неслыханные открытия происходили для юной души — первый поцелуй, запах мужчины, гулкий зов крови в самых твоих недрах. Но мы были связаны с этим мальчиком не жарким влечением наших тел, нет, июньская ночь тому свидетель.

Однажды, в год, когда цветение сирени казалось просто неистовым, я лежала в постели и долго не могла уснуть. В открытое окно донеслись звуки флейты. В этот поздний час они были слышны особенно отчетливо: город давно спал, разве что гулкие редкие шумы поздних автомобилей доносились с дальних улиц. Я встала и посмотрела в ночь, в сирень, в благоухающие цветы. Там, между ветвями, опять светилося то самое окно, а в нем был он, юноша, играющий на флейте. В его фигуре не было мужской массивности, он был словно набросан легкой кистью, не имел веса. Музыка скрадывала вес у всего сущего, деревья в окне весили не больше собственной тени. Мне захотелось туда, к истоку этой музыки. Я вышла из дома, прошла через залитый лунным светом двор сквозь кусты цветущей сирени и вошла в подъезд, где жил юноша. Звуки флейты исчезли, но возобновились вновь, стоило мне подняться на несколько ступенек. Мои ноги понесли меня вверх, музыка росла, как дерево, душа

восходила навстречу флейте. Вот его дверь. Она незаперта. Войдя, я тут же оказалась в темноте, но увидела свет со стороны кухни. Музыка доносилась именно оттуда. Юноша играл на своем волшебном инструменте, стоя спиной ко мне, глядя в ночь, в цветущую сирень. Я долго смотрела на него. Наконец он обернулся. В его глазах не было удивления, он ждал меня. Его лик был светел, и этот свет был гораздо старше его. Затем мы стояли обнявшись, за окном цвела сирень, звуки флейты продолжались — однажды порожденные движением губ, они жили теперь в пространстве, как цветущая сирень, как июньская ночь. И в это самое мгновение мне стало ясно, что это не я стою, обнявшись с ним. Я же наблюдаю со стороны — сначала вблизи, затем, как будто унесясь в сторону, издали — как некая девушка стоит, обнявшись с юношей-флейтистом, а во дворе цветет сирень. И тут я проснулась.

Я так и не осмелилась пойти к нему. Он, наверно, и не подозревал о моем существовании. Я знала, что никогда его больше не увижу.

Теперь к детской ладони, кровоточащей и зовущей, в моей душе прибавились печальные звуки флейты. Они есть у любого, копни ее глубже. Включите телевизор, переключите пару раз каналы, и вы увидите губернатора какого-нибудь края. Как бы ни была толста его шея и непробиваем живот, как бы ни был суров квадратный его подбородок, уверяю вас, в самой глубине его души вы обнаружите детскую кровоточащую ладошку и флейту. Направьте на него свет, и вы увидите на его щеке светящуюся слезу.

Потом мы переехали. Папа получил повышение, теперь он занимал высокую должность в обкоме (не буду скрывать, что своей карьерой я обязана папе, впрочем, это ни для кого не секрет). Новая квартира была гораздо просторнее. В июне во дворе тоже цвела сирень, но никто не играл на флейте.

Моя жизнь складывалась естественно и удачно. Окончание школы, институт. Я имела много того, чего не имеют мои сверстники. Я не была красива, но вокруг меня увивалось множество ухажеров. Было вполне очевидно, что ухаживают они за мной только из-за моего папы. Поэтому, при всей моей внешней благосклонности, я была настроена к ним враждебно. Среди них были даже красивые ребята, но их красота меня не трогала. Обкомовские инструкторы, аспиранты кафедры научного коммунизма, начинающие руководители — кого только среди них не было, уверенных, что путь к вершинам связан с покровительством моего папы.

Особенно настойчив был один студент по фамилии Мошкин, секретарь комсомольской организации какого-то института. Он скакал вокруг папы, как козлик, заискивал перед ним, вскакивал в его присутствии. Его принадлежность к нашему кругу поддерживалась им весьма старательно. Дело в том, что в любой человеческой общности есть индивид, особенно рьяно поддерживающий устоявшиеся правила игры. В тюрьме это некий каторжанин, который из кожи вон лезет в соблюдении законов зоны. Среди людей верующих это прихожанин, рьяно чтящий все церковные традиции, лоб себе расшибивший от бесконечных поклонов. В какой-нибудь конторе — это невзрачный замначальника отдела, до глубины души озабоченный вопросами корпоративной солидарности и дисциплины. А в толпе — это твой сосед, больно ударивший тебя локтем, прорывающийся вперед, чтобы рукоплескать что есть силы и со слезами на глазах приветствовать нового вождя. Мошкин был именно из таких. Его аккуратная прическа, правильный мышиного цвета костюм, весь его облик утверждали вас в мысли о будущем общественном положении этого парня. «Далеко пойдет», — сказал как-то о нем папа. Но я понимала, для чего нужна Мошкину. Я делилась мыслями с мамой. «Хорошая тебе пара, — уговаривала меня она. — Думай быстрее, а то засидишься в девках».

А потом папа решил навести справки о моем женихе. Оказалось, что этот тип был вовсе не тем, кого из себя изображал. Мошкин только прикидывался своим. Он не был секретарем комсомольской организации, а занимался тем, что рисовал рекламные щиты для кинотеатров. Мошкин исчез тут же, как мы его раскусили, уехал куда-то на Крайний Север и там сгинул, а точнее, замерз на какой-то там буровой. Я узнала об этом от наших общих знакомых.

А затем темной июньской ночью я услышала голос флейты. Он доносился едва слышно из каких-то далеких знакомых пространств, пробиваясь сквозь гулкие шумы уснувшего города. Я пошла в направлении флейты. Цветущая сирень вставала на моем пути, ночь была пропитана ее запахом до каждой крапинки асфальта. Музыка становилась все громче, она опять росла, как дерево, и вскоре моя душа была заполнена ей до самого горизонта. Местность вокруг становилась все более знакомой и, наконец, я оказалась в моем старом родном дворе. А там, за ветками сирени, угадывалось знакомое светящееся в ночи окно, а в нем юноша, играющий на флейте. Я вновь, как когда-то, поднялась по ступеням вверх, к звучащей музыке, вошла в незапертую дверь и увидела его,

стоящего спиной ко мне, глядящего в ночь и играющего на своем чудном инструменте. Он обернулся ко мне. Это был Мошкин. Он смотрел в мою сторону, но не видел, словно меня не было вовсе. «Мошкин!» — позвала я громко. Но он не изменился в лице. И в этот момент я проснулась.

На следующее утро я пошла по остывающим следам Мошкина. Я нашла его мастерскую. Там среди множества щитов с заголовками кинофильмов, незавершенных плакатов, тюбиков с краской, разбросанных повсюду, и прочего хлама я обнаружила свой портрет. Моя сущность была воплощена в виде легкого наброска, и было в этой легкости нечто родственное с тем юношей-флейтистом, оставшимся в моей памяти с прошлых времен.

Затем мне удалось отыскать квартиру на окраине города, комнату в которой Мошкин снимал в последнее время. Хозяйка сказала, что он оставил некоторые свои вещи, за которыми обещал вернуться. Среди этих вещей в большинстве были книги, и эти книги сразу выдавали их владельца. Бодлер, Гете, Борхес и много чего другого, явно не тянувшего на место в библиотеке комсомольского работника. В одной из книг я обнаружила свою бог весть как сюда попавшую фотографию. И постепенно истина вставала предо мной во всей своей страшной красе.

Мошкин любил меня. И эта любовь была настоящей. Тонкая, трепетно дышащая, боящаяся резкого возгласа, вскрика, движения, взгляда, эта любовь боится всего, она боится саму себя. И потому она вынуждена рядиться в чужие грубые одежды. Мошкин, посланец тонких далеких миров, где звучит голос флейты, притворялся, преображался, играл не свою игру. Ах, ты хочешь быть рядом с ней? Ты ее любишь? Тебе никто не поверит. Но если ты в общей колонне, ты идешь к маячащим на горизонте деньгам, общественному положению, достатку — это понятно.

Итак, Мошкин ухаживал за мной, изощренно прикидываясь льстецом, подхалимом, комсомольским работником, чтобы быть со мной, и только. Разумеется, этот круг общения ему был вовсе не нужен, и, быть может, он с трудом его переносил. И это заманчивое будущее совершенно его не интересовало. Его целью была только я.

В тот день, покинув комнату Мошкина, я долго бродила по каким-то улицам, пока ноги сами не привели меня во двор моего детства. Мне во что бы то ни стало захотелось вновь побывать на этом крохотном пятчке земли, зажатом между двумя хрущевками, на территории, когда-то бывшей для ме-

ня целой Вселенной. Окно, в котором когда-то я видела юношу-флейтиста, было непроницаемо темно. Лишь невнятный старушечий платок возник в той темноте на мгновение и тут же исчез.

Временами мне снится все тот же юноша-флейтист. Он вновь поворачивается ко мне от окна, где цветет сирень. Но лицо его меняется. Он похож на тех, кого я когда-то потеряла.

Однажды я узнала в нем своего отца, который давно уже ушел и чей уход я осознала с большим опозданием. Иногда юноша кажется мне вовсе незнакомым, но странно близким, в нем есть отсвет нездешних миров. Я понимаю, что уже не помню его изначального лица. Кстати, — она вдруг обратилась к Ихсанову, — это не вы играли тогда на флейте во дворе моего детства? Ваше лицо мне показалось странно знакомым. Ах да, вы не подходите для этого по возрасту. Но мне кажется, я вас видела. Именно потому я согласилась на это интервью. А иначе, будьте уверены, ноги бы моей здесь не было.

Ихсанов и впрямь обладал особым даром, которым не обладал никто.

— С людьми надо работать целенаправленно, — рассуждал он, сидя за столом в нашем буфете во время одного из перерывов. — Есть обстоятельства, в русле которых люди показывают свою сердцевину, так же, как ветка бузины показывает свою мягкость, так же, как кость являет костный мозг, так же, как береза являет сок, так же, как глаз являет слезу.

Говоря эти слова, он пил компот, время от времени кивая проходящим студийным работникам. Он, как обычно, был увлечен своими идеями и несколько отчужден от происходящего. Но уже тогда я начал замечать в этой отчужденности новые оттенки. Мне становилась ясной одна истина — Ихсанов долго здесь не задержится, телевидение — это не его стихия. Это проявлялось во всем, и прежде всего в отношениях с коллегами.

— Ты не актер, — сказал он как-то здесь же, в буфете, сидящему за соседним столом Двухвостову. Этот телеведущий, о котором я уже упоминал, был известен также своими картинными, сценическими жестами, вынесенными им то ли из театрального училища, то ли из института культуры.

— Че это не актер-то? — отвечал Двухвостов неприветливо, аккуратно вытирая салфеткой рот.

— Представь следующую ситуацию: камера включена, и по ходу сценария надо упасть в грязную лужу. Ты упадешь?

Двухвостов замялся и начал в ответ мямлить нечто невразумительное, вроде того, мол, а о чем, собственно, идет речь?.. «И какое тебе дело, — распалялся он, уже смелея, — до меня и моих программ?» Но было совершенно очевидно, что Двухвостов — в своем ослепительно белом костюме, с прической волосок к волоску — никуда падать не собирается.

— Так слушай, — голос Ихсанова был настойчив. — Настоящий актер всегда готов упасть в грязную лужу. А гениальный актер, — тут он выждал небольшую паузу, — упадет и в яму с дерьмом. Но ты — никакой актер.

Их разговор закончился небольшой потасовкой, сопровождавшейся падающей на пол посудой, опрокидываемым столом и множеством рук, пытающихся остановить не на шутку разгоряченных оппонентов.

— А чего ему падать в какую-то яму, он и так там по уши, — продолжал горячиться Ихсанов, когда я выводил его подальше от этого места по длинному студийному коридору. — Козлы!

Мне думается, что он-то и был настоящим актером. Ихсанов обладал той универсальностью, что свойственна именно актерской братии. Он мог стать своим в любом окружении. С грузчиками и сантехниками он превращался в матерщинника и жлоба, причем его мат и жлобство были куда более ядреными и бесцеремонными, чем незатейливая толкотня и бормотание его случайных товарищей. В кругу университетской профессуры Ихсанов мог иметь вид ученый и самодостаточный, а в его разговоре вы сразу уловили бы ту насуспенную деловитость, что свойственна научному поиску. В рядах же творческой элиты он становился блистательно раскован, невозмутим, осанка его была безукоризненна, а в глазах его вы заметили бы присутствие художественного вдохновения, которое, вместе с небрежно запахнутым шарфом и дымящейся трубкой, сводит с ума юных поклонниц. А попади он, скажем, в Государственную Думу, то превзошел бы других депутатов своим серьезным видом и нудностью, и его видимая значимость сразу воссияла бы в думских залах и коридорах серым созвездием.

Я думаю, что этот его актерский дар сыграл не последнюю роль в успехе его знаменитых телепрограмм. Но замечу, этот дар не определял его жизнь и не увлекал его за собой, как увлекал он других отчаянных и талантливых людей. Ихсанов пользовался этим даром, когда это было необходимо. Я склонен считать, что его универсальность, ведущая начало от его таланта, распространялась не только на ак-

терское его дарование. Ихсанов был универсален по жизни. Он одинаково уверенно чувствовал себя в противоположных, противоречащих друг другу мирах.

«Люди по своей сути — очень разные, — рассуждал как-то участник одной из наших телепередач, известный психолог и художник, — удел одного — зал библиотеки, книги, архивная пыль. Вытащи его из этой библиотеки, надень на него красный пиджак, выпусти на сцену — он почувствует себя неловко, стучится и бочком-бочком с нелепой улыбкой покинет сцену и пойдет опять же к своим книгам. Другой же, напротив, чувствует себя комфортно именно в красном пиджаке, его стихия — восторженные взгляды, аплодисменты. Забери его со сцены и посади в библиотеку, скажем, на месяц, — он будет этим очень удручен и просто зачахнет в библиотечной пыли, если до этого не сбежит.

Ихсанов мог испытывать чувство комфорта как в библиотеке, так и в красном пиджаке. Его суть, повторяю, была универсальна. Он мог прибежать в библиотеку, запыхавшись, к своим долгожданным книгам, снять и скомкать этот самый красный пиджак, бросить его куда-нибудь с глаз долой, запихать, затоптать, засунуть, втиснуть в темный, пыльный библиотечный угол и тут же уткнуться в какой-нибудь древний манускрипт. Он мог с опозданием явиться на сцену в замшелом, тусклом джемпере, в каком обычно ходят аспиранты и тихие научные работники, небрежно накинуть опять же красный пиджак и тут же произнести захватывающий спич, от которого прослезится даже самая недоверчивая душа.

Но со временем он надевал красный пиджак все более неохотно. Ихсанов все больше предпочитал темные углы, где был невидим и неузнаваем.

Между тем я вспоминаю очередную передачу из той его знаменитой телесерии — встречу с одним влиятельным человеком из секретных органов. Это была одна из тех персон, что вовсе не соглашались на какие-либо контакты с прессой. Мне совершенно неизвестно, какие шаги предпринял Ихсанов, чтобы организовать это интервью. Он сам никогда не рассказывал, но я его и не спрашивал.

Итак, вы спрашиваете, с чего это все началось?

Мне вспоминается один вечер моей молодости. Со мной был один мой приятель по фамилии Курмышкин. Мы были пьяны и зашли в ресторан, чтобы продолжить наше бог весть где начавшееся веселье. Нам хотелось музыки, вкусной еды и женского тела, покачивающегося с тобой в медленном тан-

це, теплого и многообещающего. Представьте, что значит для юной души в таком возбужденном состоянии уйти домой, где ожидают мама и папа, черно-белый телевизор и бесконечные нравоучения. Но, войдя в ресторанные двери, мы наткнулись на неожиданное препятствие. Ваше поколение вряд ли представит себе следующую ситуацию: в темном предбаннике ресторана множество народа, пьяного и возбужденно-озабоченного, шумного. У парадной лестницы стоит швейцар, который никого не пускает — туда, наверх, к вкусной еде, веселой музыке, к женскому телу и многому другому, беспечному и желанному. «Мест нет» — висела табличка при входе, и лицо швейцара выражало ту же самую нехитрую мысль. Я полагаю, что спал он с тем же выражением на лице, возможно даже, что объяснялся в любви с этим же выражением, поскольку мимические мышцы имеют способность менять лицо к постоянству. А быть может, и женщину он любил с этим же несменяемым выражением. («Дорогой мой, ты меня любишь?» — «Мест нет, ой, то есть, конечно, люблю, дорогая».) Ему вторил другой тип, рангом повыше, очевидно, директор или заместитель. Он стоял за спиной швейцара в полумраке и «мест нет» на его лице носило куда более высокую степень неприступности, чем выражение на рядовой физиономии швейцара. Его набор выражений был побогаче.

— Мы закрываем, — коротко отсекал он жаждущих женского смеха и искрящегося шампанского. — Свободных столиков нет. Прощу вас покинуть помещение.

И тогда меня посетило особое вдохновение, которое вело за собой всю последующую жизнь. Не могу сказать, что тому было причиной — выпитое ли перед тем вино, гены бесстыдства, прятавшиеся доселе где-то на задворках души, а может быть, это была отчаянная бесшабашность молодости, которая с годами чаще всего сходит на нет.

Я пошел навстречу швейцару. Поступь моя была столь уверенна, что поначалу удивила меня самого.

— Мест нет, — произнес он ключевую фразу своего бытия, но по его отшатнувшейся назад фигуре стало ясно, что позиция сдана.

— Знаю, — веско ответил я, идя вглубь, в ресторанный полумрак, к музыке, женскому теплу. Курмышкин, поначалу опешив, тут же устремился вслед за мной.

Но тут на нашем пути вырос директор. Подобного типа трудно было смутить уверенной походкой.

— Вы куда? — строго спросил он.

— К вам, — ответил я и посмотрел на него. В этот взгляд я вложил нечто для меня доселе неизвестное, что-то интуитивно спонтанное и неожиданное. Я смотрел на него с понимающей и вместе с тем покровительственной улыбкой, и в этой улыбке был явственный намек на то, что я знаю об этом человеке нечто, что позволяет мне на него так смотреть.

— К вам, — в моем голосе была многозначительная недосказанность.

Он пропустил нас. Не знаю, за кого он нас принял: за молодых ли начальников, за ревизоров или тайных агентов. Быть может, он и сам не понял, зачем нас впустил, а потом спохватился. Но мы с Курмышкиным через несколько мгновений уже были в зале ресторана. Мы получили все то, чего так страстно желали, — вино, закуску, музыку, весь этот немолкающий праздник вечерней жизни, прежде столь далекий и недоступный.

Правда, нас ожидало одно небольшое разочарование. На весь зал — разношерстный, говорливый, чокающийся и хохочущий — приходилось всего лишь две персоны женского пола. Две молодые особы сидели за дальним столиком, две юные женщины, пронизываемые сотней пьяных, вожделенных глаз. Они были обсосаны взглядами, точно карамельки. Оркестр начинал играть быстрый танец, девушек приглашали со всех сторон, им не давали повернуться, столько потных мужских тел вертелось вокруг них в пьяном азарте и надежде. Но тогда я превзошел себя, это был мой вечер. Волна, порожденная еще там, внизу, при входе в ресторан, уже подхватила меня и несла вперед, не давая опомниться. В этом потном, липком и постыдном соревновании самцов я оказался первым. Я улыбался и острил, танцевал и говорил комплименты, отводил девушек в сторонку: а не хотите ли прогуляться и покурить? Где-то сзади маячил и вторил мне Курмышкин.

Одним словом, спустя некоторое время эти две женщины были наши. Мы продолжили наше знакомство у Курмышкина — он жил в частном деревянном доме возле железной дороги, в доме, который сотрясают проходящие мимо поезда, где комнат, кроме кухни, ровно две. А потом мы с Курмышкиным любили наших молодых спутниц в темноте его дома, разбредясь попарно по комнатам. Мимо проносились поезда, и теперь я знаю, что это и были мгновения того истинного счастья, которые никогда больше не повторяются.

Итак, в тот вечер кроме вина, закуски мы получили и случайную, мимолетную любовь, которая легка, безоблачна и

ни к чему не обязывает. Мы получили все, что желали. Тот вечер мог уйти в прошлое так же, как бесконечной вереницей ушли туда другие вечера нашей молодости. Но именно тогда, при входе в ресторан, я получил знание, которое стало главным знанием моей жизни. Это знание было тогда еще совсем не оформившимся, но я сформулировал его так: любой человек уязвим, и этим можно воспользоваться на пути к собственному счастью.

На следующий день я подошел к своему сокурснику Феклову, посмотрел ему в глаза, затем окинул его все тем же многозначительным, долгим взглядом и сказал:

— Да. Не ожидал от тебя такого. Не ожидал.

Феклов тут же стушевался, стал неловок и меньше ростом:

— Чего не ожидал-то?

— Сам знаешь.

Он судорожно перебирал все свои недавние проступки. Не уступил старшему место. Появился в какой-нибудь сомнительной компании. Ухаживал не за той девушкой. Валялся где-нибудь пьяным. Юношеский грех онанизм, с которым он никак не может расстаться...

И я понял, что Феклов сейчас полностью в моих руках. Всегда найдется, за что переживать и чего стыдиться. Надо только об этом человеку напомнить.

Я использовал этот прием всю жизнь. Мне открывались все двери. Начальники отводили от меня глаза и подписывали нужные мне бумаги. Налоговые инспектора, прячась от моего внимательного взора, спешили закончить свои дела. Рыночные продавцы же, забыв свои устоявшиеся правила, не обсчитывали меня, а на всякий случай, от греха подальше, судорожно добавляли мне лишние граммы.

А потом мой взгляд стал более жестким, и в нем появился оттенок профессионализма. И это было вполне естественно, потому что работал я уже в таком месте, где подобное выражение глаз нечто вроде униформы или табельного оружия.

И сейчас, когда взгляд этот стал частью моей сути и когда мне удалось получить от жизни все, что хотелось, и даже больше, я задался вопросом: а с чего это началось? С того далекого вечера моей молодости, с неприступных ресторанных дверей и швейцара, на лице которого была запечатлена ключевая фраза его жизни: «мест нет». Мне хочется спросить себя: а не похож ли я теперь на того швейцара? Мой взгляд, что ввергает вас в состояние неуютя, взгляд, что использовался только по необходимости — не это ли мое истинное «я»? Нет, и еще раз нет.

Завтра моя жизнь бесповоротно меняется. Я выхожу на пенсию. Я ничего никому не должен, в том числе и себе самому. Он мне больше не нужен, этот взгляд, скоро он слиняет, как старая кожа.

— Боюсь, что это не так, — сказал вдруг Ихсанов.

Я встрепнулся за камерой — какого черта надо влезать в чужой монолог? Но Ихсанов всегда знал, что делает.

Его собеседник, однако, довольно спокойно прореагировал на подобную реплику.

— Не так, вы говорите? Дело в том, что вы меряете жизнь по канонам русской классической литературы. Если бы некий писатель захотел преподнести публике мою жизнь, скажем, в увлекательной повести или рассказе, она так бы и выглядела. Взгляд моих бесцветных глаз, пронизывающий человека насквозь, вызывающий чувство вины и ввергающий его в состояние беспокойства, этот взгляд стал бы моей истинной и единственной сутью. Но жизнь — это далеко не литература. Я оставляю этот взгляд прошлому, как оставляют прошлому дни, исчерпанные до самого дна. Он мне больше не нужен.

Вы утверждаете, что так невозможно? Уверяю вас, я не стану дожидаться завтрашнего дня. Сейчас вы смотрите на меня в свете ваших прожекторов, вы смотрите на меня, и вам кажется, что в моих глазах отсвечивается моя жизнь, мое прошлое, мое будущее. Так вот, вы выключите прожекторы — а мне кажется, что в свете этих прожекторов есть нечто, меняющее судьбу, — и этот колючий взгляд оставит меня навсегда.

Дело в том, что человек никуда от себя не уходит, он только притворяется, что ушел. Он остается самим собой, и это сильнее судьбы. В детстве мне пришлось учиться в одной из самых обычных школ, что на окраине города. Там царили законы дворовой шпаны, дети обитателей трущоб и чернорабочих с химического комбината, впоследствии разбредшиеся по тюрьмам, задавали тон жизни. Мое отрочество прошло под знаком притворства. Мне приходилось материться, грубеть, опускаться себя ниже, чем есть на самом деле. Но я не стал тем, кем мог бы тогда стать. Бабочка, прячась в траве, притворяется цветком, но никогда им не станет. Морской еж сливается с камнями так, что не различишь, но никогда не станет камнем. Человек никуда от себя не уйдет, как бы ему ни пришлось притворяться. А теперь выключите ваш прожектор.

Щелкнул тумблер, и лицо рассказчика оказалось в тени.

Немного отдышавшись, он быстро встал и пошел прочь. Он уходил от нас по длинному съемочному павильону вдаль, в темноту, и фонари, расставленные вдоль, время от времени выхватывали его из этой темноты. Его фигура исчезала и вновь появлялась, и с каждым появлением становилась все дальше.

— Постоите! — крикнул ему вслед Ихсанов. — Вы забыли пиджак!

Он остановился, обернулся и посмотрел в нашу сторону. И тут мы увидели, что это совсем другой человек смотрит на нас из глубины павильона. Это был настолько другой человек, что тут же хотелось извиниться перед ним за то, что мы не за того его приняли. Его глаза отражали уже нездешние пространства. Несколько мгновений он еще смотрел на нас, а затем пошел дальше, пока темнота не поглотила его.

Я часто вспоминаю этого человека. Его, удаляющегося от нас, попадающего во вспышки света, меняющегося с каждым шагом, с каждой вспышкой. Он возвращался к себе истинному.

Уже тогда я подозревал, что тот же путь вскоре предстоит проделать Ихсанову.

— Вы знаете, где я видела на днях режиссера Порецкого? — восклицала, вздымая руки, наша телезвезда Фаина Кабанская. Этот псевдоним был выбран ею в связи с тем, что она жила в непосредственной близости от озера Кабан. В те годы, как вы помните, были популярны псевдонимы, переключаящиеся с названиями рек и водоемов по месту проживания.

— Он работает теперь в парке Горького, — продолжала взволнованная Кабанская. — И вы представляете кем? Уличным фотографом! Это было так неожиданно, понимаете ли. Мы решили сфотографироваться на фоне памятника, подзываем фотографа и вдруг узнаем в нем его, нашего бывшего коллегу. Нам было очень и очень неловко.

— А что Порецкий? — спросил осветитель Нугманов.

— А ему хоть бы что, — отвечала Кабанская. — Он сфотографировал нас и глазом не моргнул. А ведь таким хорошим режиссером был. Я помню, какие замечательные телеспектакли ставил.

— Потому-то теперь и работает уличным фотографом. Ваше телевидение не стоит этого режиссера, — сказал сердито осветитель Нугманов. В тот день, очевидно, у него было плохое настроение.

Их разговор на высоких нотах продолжался. Кабанская была настроена весьма враждебно, ибо обвиняли всю ее гвардию. Ихсанов, как ни странно, не вмешивался, слушал этот разговор задумчиво, и я подозреваю, он нашел в режиссере Порецком родственную душу. Наверняка он уже представлял себя с фотоаппаратом в парке. В парке, когда кругом весна, воздух столь свеж, что просто дух захватывает, пахнет оживающей землей. Ты заодно с весной, ты фотографируешь самые разные лица — лица младенцев, пухленькие и розовые, пышущие жизнью, лица молодых мам с выражением вечной и трогательной заботы, лица пап, осчастливленных прибавлением опыта, лица юных девушек, запыхавшихся, с роликовыми коньками через плечо, еще не познавших женского счастья, но предчувствующих его (ведь раз приходит весна, непременно приходит и счастье!), лица юношей, дурашливые, брызжущие такой любовью к жизни, что эта любовь даже не в силах осознать себя.

Ты фотографируешь их по одному и целыми семьями, когда они смотрят на тебя, так трогательно, так неартистично, по-дилетантски застыв перед объективом, и эта любовь, бьющая сразу из нескольких источников, соединясь, вдруг обдаст тебя такой упругой волной, что душа твоя качнется в сторону истины.

Запечатлевать людей с выражением вечности на челе. Не это ли то, что ты ищешь?

Ихсанов, уходя в работу, все меньше отзывался на звуки внешнего мира. Его присутствие становилось все менее заметным. Хотя иногда он по-прежнему не упускал случая покритиковать того же Двухвостова.

— Да оставь ты его в покое, — говорил я ему. — Чем он тебе так не угодил?

— Что больше всего мне не нравится в его так называемом творчестве — это то, что за него все пишут другие. Он красуется перед камерой, заучив текст и поражая всех эрудицией и энциклопедичностью знаний. Мне обидно за тех, кто за него это все делает. Мне жалко этих скромных анонимных авторов. Можно быть полностью безымянным, как дзэн-буддийский монах, который никогда не ставит свое имя под собственным произведением. Но когда твое произведение присваивает какое-нибудь ничтожество — это несправедливо.

— Чего ты за него все пишешь? — говорил он как-то Дитяткину. — Пусть сам думает.

Дитяткин мялся и мычал что-то неубедительное в ответ.
— Ты слишком скромный, Дитяткин, — не унимался Ихсанов. — Смотри не умри от скромности.

Ихсанов опять был в форме, и его уже было трудно остановить.

— Скажите, от чего он умер? — паясничал он. — От скромности, знаете ли. Да, да, представляете? Он был столь скромный, что не ходил на званые вечера, не ставил, где надо, свою фамилию и вообще сидел дома, чтобы не показаться выскочкой. Затем, все от той же скромности, он стал отказываться от еды, от врачебной помощи, пока не умер. Он лежал в гробу с кроткой, виноватой улыбкой: мол, что вы, не стоит беспокоиться, не стоило тут из-за меня собираться.

Дитяткин угрюмо слушал его.

— Дитяткин, — Ихсанов не торопился оставить его в покое. — Ты же яркая, выпуклая личность. Но ты все больше меняешься. Ты даже внешне становишься похож на Двухвостова. Посмотри на себя!

Дитяткин все больше нервничал.

— Когда два человека долго живут вместе, они становятся похожи, — продолжал Ихсанов свой спонтанный монолог. — При этом преобладают черты более сильного индивида. Я знал одного товарища, который по жизни был столь невыразителен и ничтожен, что стал похож на своего кота, который оказался гораздо более сильной личностью. Этот товарищ стал таким ласковым усатым существом, погладишь его — он так и замурлыкает. Так вот, Дитяткин, лучше бы ты стал похож на своего кота, чем на Двухвостова.

— У меня нет кота, — сказал Дитяткин и быстро пошел прочь.

— Зачем ты с ним так! — сказал я.

— Пусть знает правду, — ответил Ихсанов. — Потому что никто, кроме меня, ее не скажет.

Временами он хотел воевать за справедливость, но, повторяю, это было все реже и реже.

Мне представляется Ихсанов, уходящий от нас так же, как тот его собеседник из секретных ведомств. Фонари, что по бокам, время от времени выхватывают его из темноты. Но фигура его не уменьшается, как тогда, в павильоне, а, напротив, с каждой вспышкой света становится все значительней. Вот он останавливается и поворачивается к нам. Следующий сноп света, а это не иначе как следующее воспоминание, и человек ближе на одно воспоминание.

Мы видим его каждое утро. Старик сидит на складном стуле напротив пристани. Перед ним прямо на траве постелен кусок брезента, где разложены его нехитрые творения. Это черепки древней посуды, на которых его рукой нарисованы городские башни и минареты, что тысячу лет назад высились там, на высоком берегу, за спиной старика. Рядом катит свои воды великий Итиль, волна набегает за волной, вынося на берег наконечники копий, человеческие кости, обломки щитов и опять же черепки посуды, служащие материалом старику. Среди его безделушек не только черепки, но и плоские, истертые временем камни из развалин древнего города. На них старик рисует те же самые башни и минареты. Ты уверен, что они из развалин, ведь точно такие же камни в несметном количестве здесь, на берегу. Какая разница, из развалин или из реки. Река еще древней города.

На лице старика есть нечто сродни медленному течению реки и движению облаков. Мимо проходят туристы, их много здесь в летний сезон, вокруг слышна громкая разноязыкая речь. Некоторые подходят, вертят в руках безделушки, что-то берут и идут дальше, догоняя попутчиков.

Мы здесь уже несколько дней, поэтому знакомы со стариком, и каждое утро по дороге на съемку обмениваемся с ним приветствиями. Иногда мы бросаем на землю нашу поклажу и рассматриваем творения старика. Творения, где человеческая рука добавила нечто свое к неумолимому ходу времени, рассыпающему все сущее в прах.

Съемка продолжается целый день. Мы ходим среди развалин и древних камней, наша камера снимает почти непрерывно. Рядом работают археологи. Раскопки идут по всей территории древнего города.

Вечерами археологи собираются в туристическом лагере, в котором поселились и мы, и пьют водку. Мы тоже участвуем в их посиделках. Это шумные разговоры обо всем, что может прийти в голову захмелевшим мужикам, — о ходе мировой истории, о футболе, о несправедливости человеческой судьбы, о женщинах. Где-то там, в темноте, мерцают развалины древнего города, и наш разговор, что кажется вполне будничным и незначительным, здесь имеет особый смысл. Он находится в тайной связи с окружающим нас ландшафтом. Все сущее на Земле имеет взаимную связь, но здесь, на высоком берегу, это ощущается особо. Здесь же среди археологов англичанин по имени Пол, не знающий ни слова по-русски, но активно старающийся поддержать компанию.

Он смеется вместе со всеми и через силу пьет водку, хотя дома в таких дозах он ее не пробовал.

Пол приехал сюда, чтобы участвовать в раскопках. Там, у себя дома, в Лондоне, он — учитель математики в школе. Здесь же он целый день ходит под палящим солнцем с миноискателем (для не посвященных в археологическую науку сообщаю, что так обычно в толще земли ищут металлические предметы), вызывая тем самым наше уважение.

Мне вспоминается очередной день наших съемок. День клонится к закату, древние камни под нашими ногами горячи, они еще хранят полуденный жар солнца, но воздух уже прохладней. С Итиля налетает ветер, свежий и упругий. Ихсанов вдохновенно руководит съемкой.

— Встань сюда, — говорит он девушке в костюме древней татарки. — Вот сюда, возле гробницы. А теперь медленно иди в сторону минарета. Вот так.

На заднем плане закат и руины.

Ветер с Итиля налетает вновь, вздымая наши волосы и шелковую накидку девушки.

— Лови ветер, — кричит он мне. — Чтобы ветер попал в кадр!

Ветер хозяйничает как хочет, он сводит все линии мира к своему закону: наши волосы, накидка девушки, песчинки с древних надгробий — все становится производной ветра, и я пытаюсь это вместить в кадр.

Вскоре темнеет. Мы идем с Юлей — так зовут девушку, сначала по древней тропинке меж руин, потом через деревню в сторону нашей турбазы. Небо полно звезд, во Вселенной стоит благословенная тишина, нарушаемая лишь пением сверчков, нашими шагами да стуком падения спелых яблок там, за деревянными плетнями. Ихсанов расспрашивает девушку о ее жизни. Юля рассказывает, что работает в заповеднике, ждет своего возлюбленного, который сейчас служит в армии, и что она еще ни разу в жизни не была в городе.

— Ты побываешь во многих и многих городах, — говорит Ихсанов.

— Откуда вы знаете? — спрашивает девушка в костюме древней татарки.

— Знаю, — отвечает Ихсанов.

Затем мы идем вдоль Итиля, где волны выносят на берег черепки древних кувшинов, человеческие кости, останки ушедших цивилизаций. Девушка останавливается, наклоняется к воде и трогает ее ладонью:

— Какая теплая!

— Теплая, — соглашаемся мы и понимаем, что во всем этом есть высокая и непостижимая гармония: юная и гибкая девушка, берег, куда волны выносят остатки былых времен, падающие за плетнями спелые яблоки, непрерывное гудение сверчков.

Затем мы приходим в заповедник, где в самом разгаре застолье археологов. Увидев нас, они наперебой приглашают нас к столу. Юля торопится, ее ждут дома, и, кроме того, она не так воспитана, чтобы проводить вечер в компании пьяных мужиков. Увидев девушку в костюме древней татарки, Пол изъявляет желание с ней сфотографироваться. Мы выходим в ночь, я беру в руки фотоаппарат Пола и снимаю их. Загорается вспышка, они стоят рядом, глядя в объектив, учитель математики из Лондона и девушка, которая еще ни разу не была в городе, одетая в костюм древней татарки. За их спинами темнота вечности, руины древнего города, где-то в стороне шумят волны Итиля, за плетнями падают спелые яблоки, и совсем рядом ненавязчиво болтают пьяные археологи. Затем, переодевшись, девушка уходит, ее провожает молодой сторож турбазы, ее сосед. Они исчезают в теплой ночи, среди незримых тропинок, в летней, наполненной головокружительными запахами гулкости; еще несколько мгновений слышны их молодые голоса, которые вскоре исчезают вслед за ними.

А мы еще долго сидим с археологами и продолжаем наши бесконечные разговоры.

— Ай вонт ту сэй ю, — говорит Ахмеров, пожилой археолог. Его речь пьяна, медленна и неповоротлива, его английский ужасен. Но он во что бы то ни стало хочет выяснить отношения с Полом. — Ю вери гуд мэн.

— Now you know? — вежливо осведомляется Пол.

— Что? — не понимает археолог.

— Он спрашивает, откуда ты знаешь, что он хороший, — подсказывает ему кто-то.

— А я знаю, брат, — Ахмеров расплывается в улыбке. — Я знаю.

Потом археологи расходятся по домикам, в ночи слышны их голоса. Мне не хочется спать, и я долго сижу во дворе на лавочке, вдыхая речной воздух. Небо полно звезд, пение сверчков не ослабевает ни на секунду.

— Что сидишь, пошли спать, — говорит мне Ихсанов.

— Хочу послушать тишину, — отвечаю я.

— Что ж, слушай. А меня вполне устраивает тишина сна.

С этими словами он уходит. Но я слышу, что он не ложится. Ему тоже не спится.

А наутро мы покидаем это место, одно из бесчисленных мест, куда в очередной раз забросила нас жизнь. На пристани уже пришвартовался теплоход, который должен отвезти нас в город, на студию, к повседневности и работе. Мы останавливаемся возле старика, который продает безделушки, и по привычке рассматриваем изображения минаретов и башен на древних черепках — творения времени, на которых человеческая рука пытается вернуть время вспять.

— Пойдем быстрее, — кричу я ему уже с пристани. Ихсанов наконец покидает старика и бежит к теплоходу, который вот-вот отчалит. На его плече трясется тяжелый штатив, в его руках тяжелые дорожные сумки.

Мы долго глядим на удаляющийся берег, развалины древнего города и на старика, продающего безделушки.

«В чем смысл вашего произведения?» — спросили у Ихсанова после одной из его телепередач. «В чем смысл?» — переспросил он. И после некоторой паузы ответил: «Смысла нет. Но если он вам нужен, я его найду». А затем мы шли с ним по улице, вдоль высокой длинной ограды телевидения, он продолжал говорить. Уже стояла осень, пришло то самое время, когда обнажаются деревья и человеческие поступки. «Любое произведение — оно как жизнь, — слышался в осенней гулкости голос Ихсанова. — В ней ведь тоже нет смысла. Но если надо, его можно найти». Навстречу выплывали лица прохожих, дорогу перебегала собака, на ветвях чирикали воробьи.

Воспоминания о моем герое разрознены и, быть может, не выстроены по тем канонам, которые в сочетании и дают то, что критически настроенные умы называют смыслом. Поменяй их местами, сгладь, направь в одно послушное русло и не услышишь потом вопросов, недоуменных и каверзных. Но мне хочется делать это именно так, как я делаю это сейчас, и никак иначе. И если мне зададут вопрос о смысле моего произведения, я отвечу так же, как ответил когда-то Ихсанов: если вам нужен смысл, я его вам найду. Обращайтесь по средам и пятницам с двух до шести.

Между тем воспоминания уводят меня немного в сторону, хотя, кто его знает, быть может, туда-то и следовало идти без сомнений и оглядки, но я отвлекся, и пора продолжить рассказ о серии тех самых интервью со знаменитостями, которые так взбудоражили тогда общественное мнение.

Вы спрашиваете меня, какой матч запомнился мне в жизни больше всего?

Через меня прошло столько матчей, что все не упомнишь, порой действительность сливается в один бесконечный матч с гулом трибун, со свистками арбитра. Большой футбол, такая, понимаете ли, штука, что и не помнишь, какой матч уже отыграл, а какой будет в следующем туре; знаешь только, что однажды главный арбитр, тот самый главный арбитр, что на небесах, издаст свисток, и этот бесконечный матч, наконец, закончится.

Да, мадридский «Реал» выложил астрономическую сумму, чтобы выкупить меня у миланского «Интера», где я играл последние три сезона, а местные болельщики души во мне не чаяли, хотя я для них иностранец, а иностранцев, как известно, не любят.

Я вот что хочу сказать. Каждому смертному уготована его единственная дорога, и не надо спорить с небесами. Тебе не сделают одолжения, доверься своим ангелам и следуй куда предназначено. Не примеряй на себя чужую судьбу, она никогда не станет твоей. Если тебе не дано стать богатым, ты им не станешь. Ты думаешь: у меня пятьдесят рублей, а у Хорькова — тысяча. И я буду иметь тысячу, буду, вот увидите, вот у меня пятьдесят, потом еще пятьдесят, двадцать раз по пятьдесят, всего-то двадцать раз!». Но это обман. Тебе пятьдесят лет — и никогда не будет тысячи лет. Также тебе не дано иметь тысячу рублей, и при всем старании накопишь от силы восемьдесят. Повторяю, доверься себе и не примеряй чужую судьбу.

Уверяю вас, футбольный мяч, который однажды возник на моей дороге, был послан мне неспроста. Я поддел его ногой, другой, затем головой и, не давая ему упасть, удерживая в воздухе, набивая его в такт небесным ритмам, пошел вперед. И это был мой путь, и только мой. Я не останавливался, чтобы раскланяться, услышав одобрительные возгласы и рукоплескания. Нет, я двигался в сторону истины, которая была мне предназначена, и не косился в сторону, где своими путями шли мои сверстники. Так проходили годы, а меня вел вперед мяч, которому душа доверилась, как Полярной звезде. Вокруг мелькали лица, пейзажи, континенты, осенняя изморозь Казани сменялась средиземноморским пряным воздухом Барселоны, а величественный лондонский туман уступал место безумному зною Сан-Паулу. Мое сердце билось чаще, гул трибун становился громче и громче. Я не замедлял движения даже во сне, где мяч был подсвечен нез-

дешним светом, но увлекал за собой также заманчиво. А надо сказать, что во сне мы преодолеваем расстояния несравнимо большие, чем наяву. Эти расстояния просто немыслимые, и если отчет наших дневных дорог как-то еще возможен, то никто не сосчитает пути снов. Быть может, где-то они учитываются и суммируются, и, быть может, это где-то и есть та самая территория, куда последуешь после финального свистка арбитра, главного арбитра, что на небесах, но этого подтвердить никто не может, поскольку оттуда никто не возвращался.

Сегодня, взойдя на тот пик, выше которого уже не бывает, я могу перевести дух, оглядеться и обозреть пройденный путь, его начало и — нет, не конец, а ту самую точку, где мне удалось остановиться, жмурясь в свете ваших прожекторов, в которых, как мне кажется, есть что-то от самой судьбы. Итак, я отчетливо вижу начало — мой родной город, а точнее, провинциальная дыра, каких не счесть на российских просторах, где девяносто процентов населения работают на местном химическом комбинате, а на футбольное поле забредают коровы из соседних дворов, и поэтому мяч постоянно вымазан в свежем дерьме. Моя память подбрасывает мне матчи той поры, кажется, это чемпионат не то района, не то города: завод железобетонных изделий — макаронная фабрика, на шестьдесят первой минуте счет три-один. На трибунах — а это три ряда неструганых скамеек, пыльный ветер, спорящий с разрозненным свистом и вялыми выкриками солдатни, дошедшей сюда из недалеких казарм, — что делать, выходной, пойти в городе больше некуда. А еще мне вспоминается бродячий пес Борис, который во время наших тренировок обычно лежал у кромки поля и со всей своей собачьей внимательностью во взоре следил за перемещениями мяча. Этот пес когда-то работал в цирке и потому помнил и выполнял любые команды. «Борис, лежать!» — кричал я, и пес послушно падал брюхом на траву. «Борис, сидеть!.. Апорт!.. Голос!..» Пес подчинялся, внимая моему звонкому мальчишескому голосу. «Борис, пляши!» — он вставал на задние лапы, подпрыгивал и кружился, с преданностью в глазах изображая человечьи потехи.

Помню и сестер Ереминых, проходящих мимо, ничуть не увлеченных творящимся на поле священнодействием — ни жеста, ни взгляда в нашу сторону, быстрого взгляда из-под опущенных ресниц, но моя кровь бежит в десять раз быстрее, я изо всех своих мальчишеских сил рвусь к воротам противника — и забиваю гол. Мои товарищи удивлены,

поскольку таких отчаянных сольных проходов они еще не видели. Если бы рядом, у кромки поля, стоял некто постарше нас, он со взрослым пониманием в глазах тотчас связал бы эти два факта: влетающий в ворота мяч и две школьницы вдалеке, легкие, словно светящиеся в этом пыльном воздухе, идущие домой из кружка вязания, где они задержались после уроков.

Но повторяю, мы проходим то, что нам суждено, и если мне дано было пройти, а точнее, пробежать эти тысячи и тысячи километров по футбольным полям мира, — иногда падая от усталости, а иногда вскинув руки в победном жесте, — я прошел, пробежал, отпечатал своими бутсами на земле то, что положено, и эти расстояния зачтены мне на том и на этом свете. А что касается тех, кому не дают покоя мои гонорары, то, как сказал мудрец, их вдохновляет не сердце, а зависть, и участь их печальна, лучше бы они доверились своим ангелам и отсчитывали кровные километры, не разевая пасть на чужой каравай.

Итак, вы спрашиваете, какой матч оставил самый яркий след в моей жизни?

Вы сказали слово «жизнь», и я опять вспомнил о себе. Чаще всего о себе не помнишь, а такая забывчивость ведет к тому, что ты не поймешь, чего от тебя хотят на небесах, и, сойдя со своей дороги, займешь чужую. Но это последнее дело. Завтра утром меня вновь унесет в небо «Боинг», и мне не захочется даже краешком глаза взглянуть с заоблачной высоты на океан и величайшие столицы мира, где меня всегда ждут, поскольку я это уже тысячи раз видел. Я закрою глаза и вытянусь в кресле. Мне чудится приближение финального свистка, того самого, что в ведении главного арбитра, когда наконец исчезнет этот бесконечный гул, издаваемый трибунами. Вы были когда-нибудь на футболе? Вы слышали, как простейшие колебания воздуха, порожденные обычными человеческими глотками, быть может, самыми заурядными и неслышными в своей убогой единичности, вместе создают новую, неслыханную стихию, перекликающуюся с громовыми, неподвластными нам силами природы? Ах, этот гул, толкотня, рокот, темная стихия, чудовищный монстр, дышащий тебе в затылок! Монстр, ждущий от тебя чуда, замерший в ожидании, не сводящий с тебя глаз.

Однажды я понял, что приручил его. Он был полностью в моей власти. Как когда-то бродячему псу Борису, я говорил монстру: «Сидеть! Голос! Пляши!», и монстр выполнял мои команды, поспешно и четко. Да, это сладкое чувство —

чувство господина и бога. Нет, не того, что на небесах, прости меня господи, я просто языческий божок, идол, и не единственный, у нас в футболе, как известно, многобожие, нам приносят дары и молятся по-язычески шумно, отчаянно жестикулируя.

Пробьет час, когда монстр перестанет мне подчиняться. Я уступлю место молодым, легконогим богам. Так рано или поздно происходит, как и все, что должно произойти.

Вы все-таки спрашиваете, какой матч мне запомнился больше всего?

Мои поклонники наверняка бы назвали матч с мюнхенской «Баварией», когда я, опередив двух защитников, забил гол, который вывел мою команду в финал Кубка кубков. Или с амстердамским «Аяксом». Помните, там была серия послематчевых пенальти? Мне тогда посчастливилось забить решающий мяч — монстр неистовствовал и вставал на задние лапы, кружась в сумасшедшем танце. Но в моем сознании возникает другой матч, о котором не знает ни один спортивный журналист.

Конец апреля, пахнет оживающей землей и пространством, освободившимся от оков, возрожденным, юным, как мы сами. Сестры Еремины впереди нас, они идут, взявшись за руки, идут так беззаботно и трогательно, что мои глаза, когда я это вспоминаю, тотчас становятся влажными. Мы с моим однокашником Ниязовым идем следом. Сестры держатся за руки, так в шестнадцать и семнадцать лет в нашем городишке уже не ходят, но они любят жизнь и не знают правил, которые установил неизвестно кто. Между ними восхитительная разница в возрасте — один год, они породнены не только кровью, но и дружбой, по-девичьи наивной и безоблачной. Мы с Ниязовым начинаем передразнивать их и тоже беремся за руки, сестры оборачиваются и смеются, их смех так же невинен, как все здесь происходящее. Со мной мяч, что, как вы понимаете, вполне резонно, поскольку без мяча уже вряд ли кто может меня представить. Я поддеваю его ногой, другой, потом головой. Именно таким вы меня и знаете.

Мы идем в сторону небольшой поляны, рядом бежит пес Борис, он увязался за нами то ли со скуки, то ли из-за своей к нам расположенности. Кто разберет, что у него в голове? Но самое главное во всем этом вот что. На нашем пути и по сторонам цветут подснежники, стоит конец апреля, именно из-за подснежников я все это до сих пор и помню. Сестры время от времени останавливаются, чтобы сорвать очеред-

ной цветочек, да и мы с Ниязовым, несмотря на то, что юношам такие девичьи забавы не к лицу, нет-нет да и сорвем по цветку, и это простительно — ведь апрель. Борис и тот приносится восторгом. Будь у него руки, он тоже собрал бы букет — весна, сами понимаете.

А затем мы играем с сестрами в футбол на той самой поляне, двое на двое. Одна из сестер играет в одной команде со мной, другая — с Ниязовым, а под нашими ногами цветут подснежники. Сестры Еремины взволнованы игрой, они участвуют в матче так самозабвенно, волосы их развеваются на свежем весеннем ветру, лица по-детски розовы. Они доверчиво реагируют на обманные движения, и мне стыдно демонстрировать свое умение, я время от времени, как бы увлекшись, падаю. Падаю спиной на подснежники, вижу над собой голубое весеннее небо, а затем озабоченное лицо одной из сестер, лицо ангела надо мной: «Тебе больно? Я тебя задела?». Наша игра продолжается, тут же путается Борис, он взволнован происходящим ничуть не меньше. И тут я делаю для себя одно мелкое открытие: Борис — беременный, это видно по низко свисающему животу, а также по двум рядам набухших сосков. Боже мой, кто ж назвал тебя мужским именем, псина ты несчастная?

Дело в том, что клички собакам давали дети, что толкутся возле стадиона, а с них, как известно, спроса нет. Какой же может быть спрос с ангелов? С ангелов, которые не удосужились заглянуть псу под хвост, чтобы найти тот предмет принадлежности к мужскому полу, который в Америке называют balls (мячики). И это понятно, поскольку Америка — молодая и спортивная страна, а в России это называют, сами знаете как, — чем-то, имеющим отношение к курам, и это тоже понятно, поскольку Россия — страна немолодая и аграрная, и кудахтанье на ее бескрайних просторах можно услышать гораздо чаще, чем стук мяча.

Однако наш матч продолжается, и в наших головах нет и оттенка мысли в направлении свисающих где-то там, за далекими горизонтами, гениталий. Борис носится среди нас, отчаянно лая. Зрителей вокруг нет, разве что подснежники, которые под ногами и по сторонам, куда ни бросишь взор. Нет вокруг этого вездесущего гула трибун, лишь птицы поют в весеннем воздухе, их голосами наполнено все пространство. Их бы перечислить по именам, как делают писатели, но мне эти небесные птички неизвестны, а выдумывать не хочется, да и вряд ли получится. Чего вы хотите, я всю жизнь только и делал, что пинал мяч, и нечего требовать от

меня тонких описаний природы. Правда, думается мне, что ваш скромный слуга был наделен способностями, которые не удалось реализовать. Помнится, как-то два близнеца Абу-талиповы, что учились классом раньше и которых с трудом различала даже собственная мать, затеяли при мне спор, кому нести сумку. «Твоя очередь нести!» — утверждал один из близнецов. «Нет, твоя», — не соглашался другой. Споря, они бросали на меня красноречивые взоры, желая найти соучастие. «Какая разница, кому нести. Вы все равно одинаковые», — рассудил я. Говорю же, я был способным парнем.

Сестры Еремины тоже остались в моей памяти одинаковыми, мне трудно вспомнить даже их имена, сохранились лишь общая тональность облика и выражение восторженной доверчивости, два пронзительных светящихся пятна на фоне цветения подснежников. На следующий день после этого, как вы поняли, самого памятного в моей жизни матча я уехал. Меня влек за собой мяч, столицы мира волновали своими далекими, недостижимыми огнями, меня не удерживала любовь к родному дому, к этому городку, каких тысячи и которые злые на язык москвичи называют Зажопинск или еще как-нибудь в этом роде.

Что же станет с ними, моими ангелоподобными соучастницами того незабываемого матча? Одна из сестер окончит институт и вернется работать на местный химический комбинат, а точнее, то ли в НИИ, то ли в КБ при комбинате. Ее итээровская карьера закончится с перестройкой. Несколько лет назад мне довелось побывать в родном городе, и я зашел на рынок, чтобы купить чего-нибудь на стол родителям. Тут я ее и встретил. Пусть простится мне вновь упоминание этой сельскохозяйственной продукции, но что поделаешь, если Россия, как уже говорилось, страна аграрная. Она — тонкий персонаж моих воспоминаний — продавала яйца. Порой жизнь совершает нелепые круги, и непонятно, смеяться здесь или плакать, но это кому как угодно, мне же хочется делать это одновременно. Ее лицо было обветрено и закалено лютым провинциальным морозом, подбородок заклеен куском пластыря. «Мне десяток, пожалуйста», — сказал я. «Вам каких, первого сорта или отборных по 24 рубля за десяток, ах, это ты, я тебя сразу не узнала». Сколько раз я хотел обнять ее, юную, запыхавшуюся, подсвеченную розоватым светом моей памяти! «Мы тобой гордимся и не пропускаем твои матчи по телевизору», — говоря со мной, она обслуживала очередного покупателя. Я глядел на нее и понимал, что все равно хочу обнять ее, тяжелую, в толстом

ватнике, этого милого, обабившегося ангела с пластырем на подбородке. Обнять не таясь, не оглядываясь украдкой по сторонам, забыться, чтобы сквозь наши притихшие души пронеслись нам одним принадлежащие вселенные, где словно звезды мерцают подснежники, поют безымянные птицы и в теплом апрельском мареве, радостно взвизгивая, мечется беременный пес Борис. Я глядел на нее, она продавала товар, о чем-то мне рассказывая, пока не подъехал ее муж, он же ее грузчик и шофер, кандидат химических наук, огрубевший в борьбе за выживание. А точнее это был мой бывший одноклассник Ниязов, соучастник того, самого памятного в моей жизни, матча. Обменявшись со мной несколькими словами приветствия, он тут же начал сгружать с грузовика коробки, в глазах его читалась тоска, и она была не похожа на мою. В ней не было поля с подснежниками. Там безостановочным конвейером двигался все тот же сельскохозяйственный продукт, штуки превращались в десятки, десятки складывались в тысячи, и конец этого конвейера не угадывался за дымным, ничем не примечательным горизонтом. Тоска, в которой когда-то утонули помыслы молодого, подающего надежды ученого. Тоска, доверху наполненная яйцами, которые ты, Ниязов, порой уже не можешь видеть, ты ненавидишь их так, что проклинаешь даже свои собственные, которые созданы не для того, чтобы возносить тебя в божественном экстазе на небеса, нет, они служат лишь для процесса воспроизводства таких же, как ты, завязших в этой дыре неудачников. И ты втайне завидуешь мне, вдыхающему теплый воздух Средиземноморья, облаканному голубоглазыми скандинавками и шоколадными мулатками, попивающему победное шампанское в апартаментах самых дорогих отелей. Тебе и в голову не придет, что я ношу в себе тоску не слабее твоей, а на самом ее дне — то самое поле, главное поле моей жизни, по которому мы бегаем с двумя ангелоподобными сестрами и беременным псом Борисом, то самое поле, о котором ты и не помнишь, хотя проезжаешь мимо него каждый день на своем паршивом «уазике». Ты и представить себе не можешь, что мне нестерпимо хочется обнять твою грузную, усталую жену, прижаться к ее истертому переднику, чтобы подснежники замерцали в проносящихся сквозь нас пространствах.

Простите, меня занесло немного в сторону. Хотя кто знает, где лежат пути истины, в стороне ли, прямо ли перед тобой, а быть может, там, куда нам и вовсе не довелось еще заглядывать. Что касается второй из сестер, то я после того

памятного матча ее так больше и не видел. Она работает заместителем главного бухгалтера в какой-то страховой компании, и мне хочется обнять ее тоже, поспешно, неожиданно, уронив на пол груды скрепок и папки с отчетами, не обращая внимания на ее удивленных коллег и возмущенного до глубины души начальника, который, как водится в маленьких городках, наверняка является ее супругом. Я скажу: «Извините меня, но поле подснежников не дает мне покоя, понимаете ли». Но меня опять заносит не в ту сторону.

Я вот что хочу сказать. Прежде чем перенестись в темень, темнее которой уже нет, человеческая душа на какое-то время находит пристанище в одном только ей известном месте. Там неизбыточной силой бьет свет, там так светло, словно небеса оправдываются перед тобой за бесконечную тьму, которая тебя ожидает. А душа, она подозревает об этом месте и заранее готовится, строит декорации, подбирает горизонты и голоса. Каждый из нас побывает там, и каждый увидит последний дар своей души. Я знаю, что увижу. Это будет поле с подснежниками, бегущими навстречу мне сестрами, псом Борисом и еще всем тем, о чем вы уже слышали.

Мне вот что думается. Как все странно устроено. Я рассказываю вам историю про мой самый запомнившийся в жизни матч, здесь сходятся пути, которые вне моего рассказа уже никогда не сошлись бы. Здесь мы вместе — я, сестры Еремины, Ниязов, за которого я осмелился рассуждать вслух, вы, слушатели, которые наматываете на ус эту историю, хотя, быть может, в ней нет никакого поучения и морали. А потом мы разойдемся — кто продавать яйца, кто составлять отчеты, я пойду укрощать монстра, а кто-то пойдет еще куда-то. Мы разбредемся поодиночке, каждый унося свою тоску. И мы будем носить ее до тех пор, пока не прозвучит финальный свисток главного арбитра, того самого арбитра, что на небесах. Извините, но что-то я заговорился, мой самолет до Франкфурта взлетает через час, а еще регистрация, понимаете ли. Прощайте, господа, и не печальтесь по пустякам.

Вероятно, пытливый читатель может задать вопрос: достоверно ли переданы монологи героев наших интервью? Мой ответ прозвучит так: я постарался восстановить их как мог, доставая из глубин моей памяти самое важное. Но человеческая память, как известно, может исказить былое, тем более любой рассказчик что-то добавит от себя, а по большому счету, он создает нечто совсем новое, поскольку нельзя

поймать реальность, тем более прошедшую и почти забытую. Происходившие когда-то события — словно рисунки на камнях, которые сами по себе, быть может, и не привлекли бы нашего взора, но проходят годы, и эти рисунки от нас все дальше, и вот они уже мерцают со дна реки; под толщей проносящейся воды рисунки меняют черты, а временами и вовсе уходят в расфокус, они кажутся все необычнее, и этому много причин — движение воды, солнечные блики, вспыхивающие на поверхности, быстрое мелькание невнятных очертаний, такое быстрое, что непонятно, рыба это или тень пролетающей птицы. Потому-то многие происходившие когда-то события по прошествии лет могут измениться до неузнаваемости.

Предвижу еще один вопрос, а точнее претензию, которую следует ожидать от читателя, знающего толк в чтении и настроенного критически. Претензия может выглядеть так. Почему вы прячете главного героя за другими персонажами? Вашего Ихсанова не видно, он словно бесплотная тень, теряющаяся среди деревьев в рассветных сумерках. На это у меня есть серьезное возражение. Да, Ихсанов порой выпадает из поля нашего зрения, однако не забывайте, что он режиссер, которого нет на экране, но все, что там происходит, подчиняется его замыслу и воле. Его присутствие сказывается в поведении всех персонажей. И даже я, предавая бумаге свои воспоминания, чувствую над собой давление его личности и превращаюсь в одного из персонажей некоего действия, не мной задуманного.

В начале моего рассказа я упоминал о фотографии, которая висит на стене у осветителя Нугманова и которую он очень ценит и бережет. Если помните, на ней запечатлен осветитель собственной персоной. Но ценность этой фотографии — и потому она висит на видном месте — заключается в том, что ее сделал Ихсанов. Его, как вы понимаете, нет в кадре, но, будучи незримым, он придает особое значение происходящему. Следует отметить, что осветитель Нугманов принадлежит к той породе людей, кому сердцем дано знать больше, чем головой.

Это было на другой стороне Земли, когда я наблюдал закат в Нью-Мексико. Передо мной открывался головокружительный вид на каньон Чако, на дне которого в лучах заходящего солнца мерцали руины древних городов, построенных индейцами навахо. Я сидел на гладком, вытертом ветрами камне и смотрел, как невиданной, почти потусторонней красоты солнце медленно опускается за скалу на противо-

положной стороне каньона. Рядом со мной сидела Крисс Туми, художница из Нью-Йорка, с которой мы сюда и приехали, по правую сторону от нас — чета итальянцев, а по левую расположилось семейство англичан — двое степенных родителей и один шумный мальчик, который сейчас помалкивал — настолько значительное свершалось на наших глазах действо. Люди молчали, и скалы молчали тоже. Камни под ногами были теплы, мы наблюдали закат, мы внимали всемирной тишине, наши души получали у своей матери Земли сокровенное знание. Души древних индейцев присоединились к нам и смотрели на это величие природы, ничем себя не выдавая. В какой-то момент рядом зашуршал чей-то пакет, и мы тотчас повернули туда головы — уберите посторонний звук, ради Бога! Опять наступила тишина, которая прервалась далеким собачьим лаем. Собака лаяла откуда-то со дна каньона, уже погрузившегося в тень, и в гулкости этого лая не было ничего противоестественного, этот звук был сродни закату, он вписывался в это захватывающе медленное представление захода солнца, которое творилось на наших глазах.

И в этот момент я вспомнил об Ихсанове. Я вспомнил, как мы ехали с ним в холодном поезде в Питер, и он рассуждал вслух о том, что есть на свете связи, поначалу незаметные, но которые дадут о себе знать. Мне пришли на ум его слова — а реально ли бытие, существует ли на самом деле закат в Нью-Мексико? Он говорил тогда под гул стучащих колес и храп наших попутчиков, говорил самозабвенно, и его мысль сводилась к следующему: наши пути ведут нас туда, где мы должны убедиться в реальности происходящего, невысказанной, без устали восхищающей нас реальности. И вот я любуюсь закатом в самом центре штата Нью-Мексико, меня окружают высокие, чудовищно красивые горы, души индейцев дышат мне в затылок, и застывшая лава древних вулканов тепла под моими ногами, как человеческое тело. Вверху пролетел кондор, и его острый крик породил во мне волну некоего узнавания, узнавания чего-то знакомого, мне чудилось, что я породнен с этим местом уже давно, гораздо раньше того времени, когда индейцы строили здесь свои каменные города. Высокие чувства переполнили меня до краев, они поднялись выше скал, до самого сердца, и за ними опять маячил Ихсанов, незаметный, но участвующий во всем, как второй, после Всевышнего, режиссер.

А потом мы ехали по ночной дороге в сторону города Санта-Фе, мимо проносились силуэты скал и приземистых

диковинных растений, каменная пустыня принимала нас в свое темное, наполненное незнакомыми запахами, пространство. Моя попутчица Крисс Туми сверяла по карте дорогу. Я вел машину, смотрел на несущееся навстречу полотно шоссе и думал о том, как непредсказуемы земные пути, как угадал, а быть может, не угадал, а накликал Ихсанов этот закат в Нью-Мексико. И вновь вспоминались наши с ним творческие поиски, и меня уносило из знойного края цветущих на камнях кактусов в нашу холодную полосу, в коридоры телевидения, где однажды сошлись наши столь непохожие судьбы.

Моя память преподносит мне очередную сцену с участием моего героя. Начинается она с голоса писателя Синицына, пришедшего к нам со своей новой книгой «Ширь земли родной» и уверенного в том, что мы должны посвятить ему телепередачу.

— Все, что я пишу, а это, как вы знаете, десятки книг, — рассуждал он, уютно устроившись в кресле, — я пишу авторучкой. Она внушает мне доверие. Я не понимаю тех, кто пишет с помощью компьютера. Эта холодная, бездушная машина не в состоянии передать твои чувства. Авторучка же, старый, надежный инструмент, который чувствует дрожь твоей руки, и самые тонкие изгибы души. Поэтому я никогда не сяду за компьютер.

Ихсанов в этот самый момент сидел за компьютером и набирал какой-то текст. Услышав слова Синицына, он почему-то принял их близко к сердцу. А быть может, он обиделся за компьютер, без которого себя не мыслил. Его реакция была следующей, замечу, что это была последняя его бестактность в стенах телевидения, которую я запомнил:

— Синицын. Пишите вы хоть чернилами. Хоть гусиным пером. Вы ни хрена не напишете ничего стоящего. Выводите буквы на пергаменте. Вырезайте их на бересте. Выдавливайте на камне. Все равно это будет полная чушь.

Писатель, как ни странно, не обиделся. Он был привычен к критике, которая его не жаловала. А, вероятней всего, он считал себя выше всяких, понимаешь, пустобрехов и смотрел на них со снисходительной улыбкой. Ихсанову же подобные персонажи были вовсе не интересны. Его почему-то манил другой круг, пространство, недоступное простым смертным.

Дом, в котором я вырос, располагался недалеко от бани. Мне навстречу шли свежeweмытые женщины, пахнущие чис-

той кожей и молоком. Зимой головы их были повязаны платками, от которых поднимался тонкий парок, а летом головы женщин были непокрыты, и ветер, что прятался на соседней улице, прилетал сюда играть легкими женскими волосами, ведь эта забава гораздо тоньше, чем, например, потрошить солому или раскачивать деревья. Сейчас этой бани уже нет, а если бы она и была, то вряд ли кто сюда пошел бы, поскольку в каждой квартире есть ванна и душ. А ветер, игравший с женскими волосами, давно умер. Его внуки носятся в сегодняшних новостройках как сумасшедшие.

Мне навстречу шли свежeweымытые женщины, и потому моя суть чиста, сколько грязи бы ко мне ни прилипало. Простите меня, я перед нашей встречей немного выпил, но иначе нельзя, после вчерашнего светского раута болит голова, а это плохо, когда болит голова.

Вы утверждаете, что я имею огромное влияние на весь шоу-бизнес. Что через меня идут самые крупные денежные потоки. Что любая поп-звезда идет ко мне на поклон. Не стану отпираться. Мне часто задают вопросы — в чем секрет вашего успеха? Не скрою, что все мои ответы — чушь. Я бы даже мог написать книгу о том, как преуспеть в жизни. Таких книг тьма и содержание их примерно таково: сначала задайтесь вопросом — чего вы хотите? Составьте план. Выясните свои слабые и сильные стороны. И прочее в том же роде, рассчитанное на полных идиотов.

Позвольте мне порассуждать о нашей душе. Вижу в ваших глазах иронию, мол, что может этот новый русский сказать о том, чего у него нет. Но я продолжу. Дело в том, что в нас испокон веков уживаются Бог и деньги. Весь вопрос — как они уживаются. В том-то и дело, что чаще всего они неразделимы. Слово «богатый» — прилагательное от слова Бог. А вспомните старую русскую поговорку — «деньги не Бог, но полбога — есть». Я утверждаю, что именно потому нищета — испокон веков наш верный и надежный попутчик.

Мне стало везти, когда я навсегда разделил в себе то, что вместе существовать не может. Помню, еще во времена моей молодости руководивший мной начальник пытался призвать на помощь мораль и давил на мои человеческие чувства. Но все его уловки служили только лишь тому, чтобы убедить меня работать больше, сэкономив на зарплате.

— Побойся Бога, — сказал он, услышав названную мной сумму.

— Заплатите мне, сколько положено, а с Богом я разберусь сам, — ответил я ему.

К этой фразе — сегодня, когда я богат — добавилась другая:

— Говорите со мной о Боге сколько угодно, но не просите денег.

Поэтому там, где мои деньги порождают другие деньги — шоу-бизнес, бульварные газеты, канал телевидения, несколько радиостанций, сеть ресторанов, ночной клуб со стриптизом — Богом и не пахнет, там ему делать нечего.

Кстати, я вас помню. Вы приходили ко мне с проектом телепередачи. Удивительно, как вам удалось миновать моих замов и помощников. Хороший проект, но я отказал вам, и теперь вы знаете почему. Когда-то я вынужден был закрыть канал классической музыки, где Бога можно было слышать круглосуточно. Теперь на этой волне звучат попса и блатные песни. Звучат, согревая сердца радиослушателей и увеличивая мои доходы. Таковы правила.

Повторяю, не просите у меня денег. Но о Боге можете говорить со мной сколько угодно, как вы помните, в детстве мне навстречу всегда шли свежeweымытые женщины.

Знаете, какой сюжет мне вспомнился. Некто отправляется на поиски далеких сокровищ. Он идет, следуя древней карте, его путь долог и полон опасных приключений. В конце концов, происходит следующее. Герой не находит того, чего искал. Но обретает другое. Он понимает, что главное сокровище — тут могут быть разные варианты — например, знание, которое он вынес в пути. Любовь к родной земле. Или сама жизнь со всеми ее радостями и печальми. Его взор возвышенно благороден, улыбка понимания играет на вдохновенном лице. Но финал этой поучительной истории вдруг комкается, здесь появляюсь я с возгласом — какая чушь! Какое искусное вождение читателей за нос!

Если я отправляюсь за сокровищами — мне не надо их заменителей, мне нужны они сами — золотые дирхемы, бриллианты, отливающие всеми цветами радуги, жемчужные ожерелья, бросающие в трепет. Я хочу потрогать их руками и забрать. За тем же, что нашел вышеприведенный герой, я отправлюсь в другое место.

Запомните. Когда ищешь деньги, Бога не найдешь. Справедливо и обратное. Когда ищешь Бога, не найдешь денег.

У меня есть с собой немного коньяку. Не хотите выпить? Я, пожалуй, выпью. Надеюсь, этот фрагмент передачи будет вырезан? Нельзя давать похмелью победить себя. С ним надо, понимаете ли, бороться. Итак, на чем я остановился? Я, кажется, потерял нить. Ах да, деньги. Давайте забудем

про деньги, я же говорил вам, что мне навстречу всегда шли свежeweмытые женщины.

Вот что мне недавно приснилось. Вы знаете, в юности я, как многие, писал стихи. Бывало, я сочинял, растрогавшись, вглядываясь в даль окна, а ночью мне снились опять же стихи, и некоторые из них оставались в памяти, словно высеченные на камне. Прошли годы, и мое увлечение стихосложением забылось, как забываются многие увлечения юности. Правда, как вы знаете, одно время я писал тексты к популярным песням (кстати, с этих-то песен и началась моя дружба с шоу-бизнесом), но это к поэзии не относится. Я не писал больше стихов, но способность сна к слову почему-то осталась. И вот мне приснился следующий текст, а точнее диалог, так бывает, если днем долго рассуждаешь или разговариваешь сам с собой.

— Ты пришла раньше, чем обещала.

— Я пришла вовремя.

— Нет, ты явилась на полдня раньше!

— Не торгуйся со мной, — сказала смерть.

А потом, сменив тему, появилась девушка из моей прошлой жизни. Она пела какую-то забытую песню. Я долго размышлял, почему мне приснилось это вместе — диалог и девушка. Было что-то, идущее впереди этих двух несвязанных между собой явлений, поначалу едва слышимое, словно журчание ручья в глубине темного оврага, но постепенно все более настойчивое и узнаваемое. И вскоре меня настиг голос прошлого. Это были стихи поэта моей юности. В них говорилось о том, что все стихи, которые мы пишем, — о любви и о смерти. А все остальное с этим связано. А все остальное — каким бы великим, глубоким, единственным, непревзойденным оно ни было — с этим связано.

И тогда я понял, почему девушка явилась вместе с диалогом.

Мы собирались за темной, заброшенной дачей, там, где нас не было видно, если смотреть со стороны аллеи. Однако звон гитары, юные голоса были слышны издалека. Они были доступны любому прохожему, а если брать во внимание, что это была дачная местность, то прохожим мог оказаться только наш брат дачник, вернее было бы сказать наш отец дачник, если прикинуть в уме средний возраст человеческой жизни. Кроме того, наши отцы и впрямь слышали нас, когда, поблескивая в темноте интеллигентскими очками и ведя негромкие беседы, совершали прогулки перед сном.

Волнительный, трепетный воздух юности! Представишь его, и твои легкие тотчас проберет озноб, переходящий в легкое сумасшествие, присущее только юным, неокрепшим душам. И ты всматриваешься в былое. Ты словно ходишь по пустынному берегу и наблюдаешь берег противоположный, где в темноте, скрывающей огромные расстояния, дрожит пламя костра, и непонятно, чем эта дрожь вызвана, расстоянием ли, влагой ли в глазах.

Итак, мы сидели позади заброшенной дачи, ночь звучала на все лады, кое-кто из нас несмелой рукой обнимал плечо соседки, и голова кружилась от волнения, мы вдыхали жизнь своими юными легкими. Наши души были в полном согласии с августовскими небесами, полными звезд, с запахом смородины и цветов, ухоженных нашими усердными мамами. Гитара ходила по кругу, кто умел играть, перебирал струны, пытаюсь повторить Ричи Блэкмора.

— Когда я умру, похороните меня под музыку «Лед Зепелин», — говорит девушка, столь отчаянным сравнением пытаюсь передать свою преданность любимой группе.

Но через некоторое время в ее руках оказывается гитара, и она вдруг забывает о главной музыке своей жизни. И мы слышим трогательную песню — об алых парусах и принце, который должен явиться из-за горизонта. Голос девушки чист и высок. Он тепел, как августовская ночь, и душе уютно в его медленных волнах, уверяю вас, весь шоу-бизнес вместе со всеми нашими гундосыми поп-звездами не стоит и со-той части этого голоса.

Девушка замолкает. Кто-то рядом закуривает, и огонь от спички на миг освещает ее лицо. Темная августовская ночь отдает самое сокровенное — лицо девушки, далекий опознавательный знак моему сердцу, светящийся знак из прошлого. Она так и осталась в моей памяти — выхваченная на мгновение из августовской темноты, с лицом немного удивленным и даже заинтригованным, и это удивление относилось ко всей ожидающей ее жизни. Детская простота, не знающая вида крови, не видевшая утрат, денег, обмана, предательства. Святая доверчивость, мечтающая о принце, что непременно явится из далеких земель.

Она была старше меня на два года, а в юности это немислимая, непростительная разница в возрасте, разница, не дававшая мне никаких надежд. Пройдет время, и девушка уедет за океан, судьба словно учтет ее пожелание, устроив путешествие за далекие горизонты, преподнеся чужеземного принца, а точнее менеджера крупной международной ком-

паний, с которым она познакомится в Москве на какой-то выставке. Она уедет, провожаемая завистливыми подругами, она исчезнет из моей жизни, местная Ассоль, которой вдруг улыбнулось счастье.

Это было пару лет назад, если мне не изменяет память, в одном из отелей Лос-Анджелеса, после жаркого, наполненного бесконечными визитами и переговорами дня. Помнится мне, я плавал в бассейне, затем поднялся к себе в номер и позвонил, чтобы мне принесли порцию виски безо льда. Им всегда надо напоминать — безо льда — иначе американцы набьют тебе полный стакан ледяных кубиков, которые станут водой, а это же смешно — разбавлять спиртное водой. Затем, приняв дозу для расслабления, я валялся на кровати и смотрел телевизор. Шла передача о насилии в семье. Вот тут-то я и увидел ее, девушку из моей юности. Она была в списке жертв, убитых своими мужьями. Лицо девушки было изуродовано ее принцем. Я думаю, этот мерзавец старался особо, ему не давало покоя то выражение удивления, что так запомнилось мне, выхваченное из августовской темноты и не оставляющее меня до нынешнего мгновения.

Порой я слышу ее голос, песню об алых парусах, и моя память вновь относит меня к времени моей влюбленности, дощатым домам, влажным грядкам, благоухающим гладиолусам. Мне вспоминается раннее утро, тот самый момент, когда призраки живут бок о бок с птицами. Окно возле моей кровати было открыто настежь, и ветер шевелил марлеву занавеску у самого изголовья. Рассвет входил в мой сон, в мое существование бледным светом, запахом росы. Вместе с рассветом явилась девушка. Бытие наполнилось ее песней, ее легкой, ненавязчивой сутью. Моя душа взметнулась до самых небес и оставалась там некоторое время, пока я не проснулся. Произошло то, с чем я совершенно не был знаком, а именно с юношеской поллюцией, да простится мне упоминание этого медицинского термина, когда речь идет о высоком.

Что я хочу сказать. Это переживание, которое я перенес, осталось со мной навсегда. Мне пришлось узнать многих женщин, вы знаете, мой образ жизни совершенно не означает затворничества и воздержания, — но тот первый женский свет, свет из моей юности, он пронизывает самые темные и самые низкие дороги, по которым мне приходится ходить. Моя душа уносится, подхватываемая все тем же вездесущим потоком, берущим начало из рассвета с марлевой занавеской, что трепещет под теплым августовским ветром.

Знаете ли, жизнь, по большому счету, стихотворение. А

все на свете стихи, как вы уже слышали, — о любви и смерти. Это две противоположные, две отрицающие друг друга стихии. Однако есть такие мгновения, когда любовь и смерть сходятся воедино. Да будет вам известно, что во время оргазма с любимой женщиной вы видите свою смерть. Вы видите ее в тот самый момент, когда вас возносит так высоко, что выше уже не бывает, и вы успеваете краешком глаза заметить то, что уже не относится к жизни земной, а именно темноту, безмолвную безымянную темноту. Но эта темнота наполняется светом, и этот свет — приближение новой, не рожденной еще жизни, ведь Бог полагает, что непременно должно произойти зачатие, Он совершенно не принимает во внимание, что его могут провести, и живительное семя отправится в презерватив или еще куда — человеческая похоть на выдумки горазда.

Стало быть, оргазм — это тот инструмент, с помощью которого человека готовят к смерти, позволяя заглянуть туда, где потом пребывать целую вечность. Туда и идем, господа, оргазм за оргазмом, словно медленными, но верными шагами. Мы идем к своему концу, каждый шаг наш подсвечен будущими жизнями, за нами, словно светящаяся пунктирная линия, остается черед наших трепетных вознесений. Нас спросят — а любил ли ты? Да. Посмотрите, какая пунктирная линия тянется за ним, мерцает так, что аж глазам больно, он любил так, что дух захватывало, дрожь пробирала его с головы до ног, земля менялась местами с небом.

Но я заговорился, не знаю, почему все так повернулось, наверно, свет ваших ламп вынес меня на этот разговор, иначе чем объяснить такую концовку, которую я сам, по правде говоря, от себя не ожидал. Что у трезвого на уме ... Кстати, забыл о самом главном. Пока я тут перед вами распинался, бутылка кончилась. Сколько раз говорил себе: не бери с собой бутылку ноль тридцать три литра. Бери ноль пять. С другой стороны, если взять ноль пять, можно опьянеть и сболтнуть лишнего. Хотя я сейчас сболтнул даже больше, чем лишнего. И голова почему-то не проходит. Сейчас позвоню секретарю, чтоб на сегодня отменил все встречи. Молодой человек, будьте любезны, найдите моего шофера и скажите, чтобы подъезжал прямо к выходу.

— Таких, как ты, больше нет, — сказал как-то осветитель Нугманов после одной из передач. Он словно чувствовал некую вину перед Ихсановым и постоянно старался напомнить тому о его избранности.

В ответ на это Ихсанов разразился длинной тирадой. Он любил поговорить с осветителем, тем более что тот умел слушать.

— Понимаешь, талант — это такая вещь, что от него нисколько не легче. Если ты и в самом деле обладаешь Божьим даром, то тебе, собственно говоря, нечем гордиться. Потому как ты все берешь наполовину готовым, тебе уже нашептали с небес, как сделать правильно. Поэтому все эти не стихающие овации ты не заслужил. Они тебе противны. Ты-то тут при чем?

— Да ладно, хватит скромничать, — успокаивал его осветитель. В его лице было нечто располагающее к поиску истины. Ихсанов продолжал свою речь, словно нащупывая истину через слово, а это часто бывает, что истина приходит через слово. Тем более что мой герой принадлежал к той редкой когорте людей, которые словом чувствуют тоньше, чем другими органами чувств.

— С другой стороны, если ты обделен талантом и творишь, преодолевая страшное сопротивление, участь твоя еще более печальна. Посредственность в сочетании с величайшей работоспособностью — это горько. Посмотри на толпы бездарностей, старательно взбирающихся на Олимп. А вдруг — ты в их числе? Даже одно это подозрение не даст тебе покоя. Потому, как ни крути — покоя тебе не видать. Ты съедаешь себя заживо.

Но здесь есть одна деталь. Для чего ты это все делаешь? Посмотри на себя со стороны, посмотри внимательно. Вот ты стоишь один на перекрестье бесчисленных взглядов. Твой слух обострен до предела. Чего ты ждешь? Ты ждешь аплодисментов. Ты зависишь от них, как собака зависит от куска ветчины. Но убери из своей жизни аплодисменты — и ты свободен. Тебе плевать — талантлив ты или бездарен. Плевать. Понял?

— Ты чо это на меня так взъелся? — удивился осветитель.

— Да я это так.

Они рассмеялись.

Ихсанов покинул стены телевидения в мае. Это было именно в мае, потому что через пару недель его видели в парке Горького с фотоаппаратом. Там, где пахнет оживающей землей и где можно ненароком запечатлеть мгновение вечности, например, лицо девушки, запыхавшейся в предчувствии счастья, — как вы знаете, если приходит весна, значит, обязательно придет и счастье.

Затем, уже в конце лета, я встретил его на берегу возле древнего города, куда прежде нас приводили общие с ним дороги. Он сидел на складном стуле возле пристани и продавал свои нехитрые творения — черепки древней посуды с изображением городских башен и минаретов. Ихсанов объяснил мне, что его предшественник умер еще прошлым летом, поэтому он занял место старика без зазрения совести. Он не расспрашивал меня ни о каких новостях. За спиной его мерцали руины мечети, а река выносила к его ногам наконечники копий, человеческие кости, обломки сабель. Я пытался завести разговор о студийных делах, но наша беседа не клеилась, мой герой не понимал меня, как не понимает нас человек, перешедший в другую веру.

Позже, когда воду затягивает льдом, и январский ветер свистит в ставнях как сумасшедший, кое-кто из наших встретил Ихсанова в библиотеке, сосредоточенно приникшего к какой-то старой книге. Красный пиджак был заброшен в пыльный угол и, по-видимому, навсегда.

Сейчас, по прошествии времени, я понимаю его гораздо тоньше, я сблизился с ним тогдашним, что ж поделать, с трепетными тенями наших воспоминаний мы уживаемся куда успешнее, чем с живыми людьми. Он очень по душе мне — бредущий по коридору телевидения, немного отстраненный, едкий на слово, бесцеремонный с коллегами. Я думаю, что по большому счету он любил жизнь, он знал цену каждого мгновения и смаковал его, чувствуя все оттенки вкуса. И даже в тех скандалах, которые он порой провоцировал, мне видится сейчас режиссура высшего толка: Ихсанов творит действие, живет в нем, как живут, срастась с болью или счастьем. Он любит окружающих его действующих лиц — наивных, трогательных, завистливых, с вечным желанием быть на виду, таких по-детски милых и бездарных.

И вновь я вижу его уходящим вдаль, фонари по бокам вспыхивают, выхватывая фигуру моего героя из темноты, он то появляется, то исчезает, задний план вовсе в полном расфокусе, и потому не ясно, куда герой направляется — впереди нечто нам недоступное. Его чуть бледное лицо озарено вдохновением, он смотрит прямо перед собой. Тут внимательный читатель вправе воскликнуть — вы что, видите героя одновременно с двух сторон? Да, отвечу я. Это пространство, где действуют мои законы. Мне видно героя с нескольких сторон, мне не терпится показать его. Еще в детстве я хотел рассказывать обо всем сразу, моя речь была сбивчива и спонтанна, я перескакивал с одного на другое, слов-

но шел по скользким камням, балансируя, боясь упасть в несущуюся подо мной воду. Эта способность — не скажу, что она является достоинством, быть может, как раз наоборот, — от меня никуда не делась. Мне хочется рассказывать обо всем одновременно, я бегу по скользким камням, совершенно не озабоченный собственной осанкой, чувством ритма, мое дыхание неровно, местами я и вовсе останавливаюсь, словно заблудившись, и гляжу на проносящуюся внизу темную воду, готовую подхватить и унести тебя, куда ей одной ведомо. Поэтому читатель должен простить меня за обилие персонажей, столь многочисленных и непохожих. Он должен простить меня и за то, что я показываю моего героя одновременно с нескольких точек, тем более что здесь действуют правила, которые не применимы на съемочной площадке. Но мне дано право устанавливать свет и декорации. Поэтому-то я вижу Ихсанова именно так. Он идет в свете вспыхивающих ламп. По сторонам же, в студийной темноте, наблюдая за ним, стоят герои его интервью, те самые, доверившиеся ему как на духу. Их лица молчаливы и бесстрастны. За ними, вторым, третьим рядом, видны персонажи их спонтанных монологов. Некоторые из них давно не принадлежат этому миру, но лица мертвых и живых имеют сходные выражения. Лампы вспыхивают все чаще и чаще, пока мерцание не превращается в ровный, льющийся ниоткуда свет, и мне вновь становится ясно, что не я один здесь хозяйничаю.

Декорации меняются, а точнее, меняется ландшафт, откуда-то налетает теплый ветер, тот самый, что теребил марлевую занавеску над юношеским изголовьем, а прежде самозабвенно играл легкими свежевывмытыми женскими волосами. В воздухе слышится пение безымянных птиц, далекий стук мяча, затем ветер доносит еле слышный голос флейты и гул далеких поездов. Наши персонажи гуляют среди декораций, словно по бескрайнему полю, каждый из них нашел свой дом, они молчаливы и счастливы.

Режиссер уходит, оставив на съемочной площадке все как есть.

Аве Цезарь!

Мне опять надоела моя личность, и я не могу выносить ее в одиночестве, надо терпеть ее с кем-то вместе.

У соседей громко играет симфоническая музыка. На мгновение музыка затихает, и в эту паузу врывается крик дворового кота, который тоже хочет участвовать в симфонии бытия, но он прокричал на один тон ниже и чуть раньше, чем было задумано. Но музыка тут же возобновилась, как бы исправляя оплошность, и полилась дальше.

Я выхожу на остановку, на пересечение двух улиц, где каждое мгновение сносятся ветер имени Карла Маркса и ветер имени Гоголя. Меня ничто не раздражает, потому что суть моя беспцельна, как ветер. Рядом стоят две юные студентки. Они, по-видимому, торопятся на занятия. Вдали показался автобус и девушки нетерпеливо дернулись ему навстречу. Так неопытный рыбак, увидев плеснувшую невдалеке рыбу, замирает, считая, что она имеет отношение к нему. Автобус оказался пустым и проскочил мимо. Одна из девушек заматерилась.

Со временем ее нежный ротик приспособится к ругани и примет более резкие очертания. Голосу добавится отрывистость, подчеркивающая значимость сказанного. Подбородок, влекомый центробежной силой мата, чуть выдвинется вперед и обретет углы. Я уверен, что сочетание «б... е... т... мать» от частого произношения придает внешности характерный оттенок, а выражение «б... на х...» — свои непривлекательные черты. В этой эволюции участвуют и глаза — они приобретают бесцветность от тысячекратных повторений тех же слов.

Все это я попытался объяснить девушкам, они со мной согласились (я сразу распознал в них студенток филфака). Одна из них высказала предположение, что так обстоит дело и с другими словами. Например постоянное повторение слов «тара», «накладная», «погрузка-разгрузка» придает внешности отпечаток, по которому всегда узнают продавщиц, а пожизненное использование фразы «приготовьте би-

леты для проверки» формирует суровый и нелюбимый народом облик контролера.

Мы уже совсем было сдружились, когда невеста откуда появился автобус и мои подружки поспешно запрыгнули в него.

— А телефон? — закричал я им вслед.

— Семьдесят шесть тридцать восемь ... — донеслось до меня, но тут как раз подоспел ветер имени Карла Маркса, подхватил последние две цифры, тут же передал их ветру имени Гоголя, и я так и не узнал номер телефона этих душечек. Ну и ладно, подумал я.

Мне понравилась моя мысль о том, что слова формируют внешность, и пытался развить ее дальше. Тем временем ветер имени Карла Маркса и ветер имени Гоголя, схватившись, образовали ненавязчивый симпатичный смерч, который ходил по остановке, заглядывая во все углы. Затем смерч подошел ко мне и, обнюхав мои ботинки, умчался дальше. Я тоже пошел вдоль по улице, читая надписи на заборах и вглядываясь в лица прохожих. Как я уже говорил, мне во что бы то ни стало надо было разделить с кем-то свою личность. У витрины книжного магазина стоял низенький тщедушный старичок и что-то разглядывал. Он стоял спиной ко мне, и когда я поравнялся с ним, он — прошу извинить за эти подробности — издал звук, которого стыдятся. После чего старичок тут же испуганно обернулся, ища свидетелей преступления.

— Не смейте со мной *так* разговаривать! — с возмущением сказал я.

— Простите, — залепетал он смущенно. — Возраст, сами понимаете...

— У хамства нет возраста, — не унимался я. Конечно, это было жестоко, но мне надо было с кем-то разделить свою личность. — Вы что, считаете, что вам все позволено?!

— Я забылся, — продолжал лепетать он. — Вот книжку увидел и забылся.

— Какую книжку? — грозно спросил я.

— «Миграции пингвинов», — виновато ответил старичок.

— Но это же совсем меняет дело! — сменил я тон. — Что ж вы сразу-то не сказали!

Мы расстались друзьями. Я пошел дальше по улице. Надо было поворачивать домой, пока мир не надоел. Я сел в трамвай и тут же об этом пожалел. Трамвайный народ, грузный и дурно пахнущий, вошел в мою отзывчивую душу с тем шумом, с каким из мешка сыпется картошка. Мир летел к чертям.

Порой, когда я непочтительно отзываюсь о народе, мне говорят: «А ты что, не народ?» «Нет! — говорю я, — я не народ (так же, как и ты, дорогой читатель). Народ — вон он, там, на базаре, в ЖЭУ и возле телевизоров. А я — вот он — видите? То-то».

Мне надо было проехать три остановки, три ада, три безумных мира с движущимися распаренными лицами. Еще чуть-чуть... Под конец моей поездки трамвай был наполовину пуст.

— ... А я ему говорю, возьми свои слова обратно, иначе ты у меня допрыгаешься. А он только ухмыляется. Хайван, б...ь! — разговор приблизительно такого содержания доносился с хвоста вагона.

— Ты что, как я могу с ним справиться, у него все схвачено. Хайван, б...ь! — продолжал все тот же высокий раздраженный голос. Голос собеседника не различался в трамвайном шуме.

— А я ему так и сказал, попробуй только ко мне еще с каким-нибудь делом подойти! Хайван, б...ь! — опять закончил фразу неизвестный.

Мое любопытство все росло и, наконец, я не выдержал и обернулся. К моему удивлению, разговаривавших оказалось не двое. Это был невысокий взлохмаченный человек, который при этом еще усиленно жестикулировал. Его возбужденный взгляд метался в пространстве и наконец остановился на окне.

— Что, еще только площадь Свободы? Даже привезти не могут нормально. Хайван, б...ь.

Он посмотрел на меня, пытаясь призвать в свидетели творящейся несправедливости.

Мое настроение поднялось. Народ никогда не перестанет удивлять меня своим разнообразием. Пожалуй, я поспешил, слегка его принизив.

— Я всей душой со своим народом и сросся с ним корнями! — сказал я, выходя, взлохмаченному человеку. — И никто не сможет меня с ним разделить. Понял? Хайван, б...ь.

Я переходил улицу, когда опять его услышал. Он что-то мне доказывал, высунув голову из трамвайного окна, но ничего расслышать было нельзя, кроме характерного словосочетания.

Помнится, в нашем НИИ на две тысячи человек приходилось около десятка ненормальных. Моя память зачем-то бережно хранит образ инженера Бикбулатова, с которым бы-

ло опасно вести споры об искусстве, так как, исчерпав аргументы, он бросался душить своего оппонента. Никогда не забуду я женщину из отдела стандартизации, которая во всем черном ходила по этажам и искала справедливости. Ее жертвой однажды стал наш председатель профкома, которому она однажды, подкараулив, дала пинка под зад, видя в нем источник всех своих бед. Не забуду я и бедную девушку из соседнего отдела, считавшую себя обладательницей богатейшего наследства; неслыханные сокровища должны были достаться ей от прабабушки, но мешали чары зловещей троицы, в которую входили директор института, его помощник по кадрам и почему-то румяный и безобидный сотрудник нашей лаборатории Витька Пушкин.

Как объяснил мне один знающий человек, подобных особей распределяют по НИИ пропорционально количеству работающих, чтобы, скажем, на 150 нормальных приходился один не совсем удавшийся тип. Я во всем этом вижу попытку во что бы то ни стало поддержать вечные установки Всевышнего. Известно, что в любом обществе, каким бы высокоорганизованным оно ни было, всегда будет определенный процент склонных к бродяжничеству, проституток и ненормальных (мы не берем во внимание мир в его минуты роковые, когда этот процент меняется). В мироздании поддерживается некоторое, одному Творцу понятное, равновесие, и мудрый понимает, насколько бессмысленно бороться с некоторыми антисоциальными типами.

Наша фамилия стала поразительным средоточием этого вселенского равновесия. Если встретите у нас, скажем, известного философа, то ищите рядом персонажа со знаком минус, — его племянником окажется отпетый уголовник. Если Бог нам дает гения, то тут же, спохватившись, подкидывает какого-нибудь ублюдка. Один из моих предков, купец-миллионер, разбогател на обмане. Говорят, он целенаправленно пустил по миру одну благородную дворянскую семью, подкупил судей и незаконно присвоил чужие земли. И, словно в насмешку над силами тьмы, у этого прохвоста появился внук, писатель, который, всю жизнь мучаясь совестью за свой народ, умер в нищете далеко от Родины.

Во всем этом есть одна закономерность. Сей богоданный разброс «плохой-хороший» с течением лет становится все более тесным, норовя уместиться в одной семье, одном поколении. Передающие мне эстафету этого небесного замысла мой отец и его брат являют собой пример разительного несходства единоутробных существ. В противополож-

ность моему добропорядочному и уважаемому отцу, дядька мой погряз в пьянстве и попрошайничестве. И вот божественный закон сходится на мне, не имеющем братьев и сестер, и здесь создатель, вероятно, не имея возможности разделить достоинства и пороки Земли, создал нечто издевательски среднее по отношению к человечеству. Эта моя усредненность проявляется везде, куда бы я ни сунулся. Мой социальный статус уместается как раз посередине между помойным бомжем и президентом США. Умственные способности мои находятся на полпути от юного олигофрена к Гегелю. А что касается судьбы, то ее трепетная кривая колеблется возле некой усредненной линии, временами выгибаясь, чтобы тут же упасть. Ах, ему мало страдания? Пусть получит. Он вроде слегка перемучился? Пусть отдохнет. У него не было еще первой любви? Пошлите ему кого-нибудь, кто поблизости. Как, его еще ни разу не предавали? Прикрепите побыстрее к нему мерзавца, только проследите, чтобы жизнь ему не разрушил.

Свет прожектора осветил в толпе танцующих ее лицо, так выхватывает молния мгновение вечности из тьмы, а точнее саму вечность. Во мне тогда не было Бога, и образовавшуюся пустоту молниеносно занял ее образ, подсвеченный прожектором. Невообразимо красивый блуз раскачивал мою душу между небом и землей, а я смотрел на нее, без остатка занявшую всю территорию моей веры.

Если надо описать любовь, то это вот что. Ты вдруг осознаешь себя с непокрытой головой, прислонившись к какой-то стене, ты вдыхаешь зимний воздух и чувствуешь в его составе такую будоражащую остроту, что ног уже не чувствуешь, идешь в светящемся от инея пространстве, идешь туда, где тебя пока ждут. В мироздании есть намек на весну. Конечно, это сочетание — твое чувство и весна — так банально, но ты же не виноват, что это происходит именно сейчас. Вот то самое мгновение, когда захватывает дух. Это мгновение у тебя не заканчивается разом, оно божественно растянуто и имеет продолжительность, отмеренную тебе небесами.

Почему-то объект любви в моих воспоминаниях всегда маячит где-то на заднем плане, на переднем же, трогая беззащитно оголившиеся участки души, появляются фонарные столбы, запахи, воздух, еще не наполненный синевой, свежий, мутный по утрам. Я вспоминаю себя в этой одухотворенной мутности, юного и жутко причастного к высшим ис-

тинам. Моя память не может восстановить образ той женщины, я помню лишь ее руку в своей, когда мы стоим на мосту и смотрим, как плывут внизу льдины — медленные, отражающие апрельские лучи.

Наш с ней разговор — ни о чем, но это небесное «ни о чем» пронизывает наше земное существование вместе с теплым уличным ветром. Куда это народ спешит? Кто куда. А ты их любишь? Под настроение. Я порой их очень жалею. Особенно в гололед, когда они больно падают. Жалею за то, что им надо по утрам вставать, обрывая сны. Но особенно мне жалко их из-за того, что розовощекий ангел со временем превращается в лысеющего, грубого борова.

Люди нас не раздражали, и мы снисходительно позволяли им быть в параллельных мирах, шумы которых нас не достигали.

«Не три кита, а двое держат мир». Сначала мир перестал держать я, а потом она — в недоумении опустила ставший ненужным груз и, обессиленная, ушла в чужие улицы.

Нам было отмерено столько времени, сколько — теперь не имеет значения.

Говоря о своей усредненности, я, наверно, себя принял, но чувство самоистязания порой поэтично, а все то, что пахнет поэзией, затягивает доверчивую душу без остатка. Читателю, быть может, гораздо интереснее было бы услышать рассказ о моем неравном поединке с многочисленной бандой преступников или повествование о путешествии в джунгли Венесуэлы, где вечное лето и сохранились еще неиспорченные индейцы. Но моя поэтичная усредненность охватывает лишь эти улицы с фонарями, где времен года — ровно четыре, и смену их замечаешь каждый раз с удивлением. Еще в ботинках скрипит июльский песок, а с небес тихая сходит листва, и мысли чисты, как в храме.

Мой следующий роман был еще поэтичней.

Мы познакомились осенью, в одном из старых дворов на улице Фейербаха. Она печально сидела на скамейке, и ее печаль была сродни невесомому полету сентябрьских облаков. Я спросил у нее, чем она так расстроена.

— У меня протекает бачок в туалете, — грустно сказала она.

— Кошмар, — сочувственно сказал я.

— Но это еще полбеды, — добавила она. — Я вызвала сантехника, а он не пришел.

— Не надо так расстраиваться, — начал я ее успокаивать. — Откровенно говоря, я думал, что у вас убило любимого на войне.

— У меня нет любимого, — сказала она.

Я починил ей бачок и остался у нее.

Меня поражала ее бесхитрость. Ее можно было обманывать, не вдаваясь в подробности и не утруждая себя честным выражением лица. И вообще она было просто Душечка, я буду ее далее так и называть, несмотря на эту невольную перекличку с Чеховым. По отношению ко мне у нее, скорее всего, срабатывал комплекс матери. Она принадлежала к тем женщинам, которые отдают себя без остатка — не обязательно первому встречному, но чаще всего недостойному. Я в то время бросил свой НИИ, пил, считал себя потерянным и упрямо поддерживал в себе это чувство так называемого лишнего человека.

Человек уходит в монахи, чтобы отдаться аскезе. Но вот пройдут недели три, а, может быть, месяц, энтузиазм самоистязания иссякнет. И что потом? Опостылевшие стены кельи и безысходность? Нет, уходить в монахи нельзя, нужно болтаться между небом и землей, между верой и безверием. Я прекрасно сознавал свою изменчивость и не раз убеждался, что надо все это переждать.

Душечке же нужен был хомячок или песик, тут-то я и подвернулся.

Она не всегда понимала шутки. Как-то мы сидели на кухне накануне праздника 1 мая и пили водку с ее дядькой — лифтером из соседнего дома. Я болтал без умолку, рассказывал анекдоты, прерываясь, чтобы стукнуть стаканом о встречный стакан. Вот содержание одного из тех анекдотов. Медведь, волк и лось попадают в яму, из которой не выбраться. Через несколько дней медведь и волк решают съесть лося. Лось просит исполнить его последнее желание. В детстве мне сделали татуировку на заднице, — говорит он. Прошло столько лет, а я так и не знаю, что там написано. И вот настает мой последний час, и я прошу вас, прочитайте эту надпись и откройте мне тайну моей жизни. Заинтригованные медведь и волк подошли к своей жертве и всмотрелись в место предполагаемой надписи. Но лось лягнул их обоими копытами и убил. Последние слова медведя были такие (он наверняка говорил их, едва шевеля слабыми губами): «Я-то куда полез, я и читать-то не умею!»

Дядька засмеялся, но Душечка, прежде молчавшая и хлопотавшая у плиты, вдруг взорвалась:

— Как можно так издеваться над животными!

В ее возгласе было столько переживания и возмущения, что я осекся на полуслове. Надо сказать, что персонажи предыдущих анекдотов были, как принято, Чапаев, мальчик Вова и другие. Душечка, поджав губы, сносила эти издевательства над людьми, но чашу ее терпения переполнило бесчеловечное отношение к животным. Она не разговаривала со мной после этого, наверно, час — долго обижаться она не умела.

Я обещал ей, что буду пить в два раза меньше (меня поймают люди, знающие толк в выпивке, что значит половина от бесконечности). Но то пламя в груди, которое надо было поддерживать спиртным, уже начало во мне угасать. Порой я рассуждаю о тяге к спиртному и русской душе. Один мой приятель, татарин, утверждает, что по сути он русский. Пить так пить, — говорит он, — а из-за одной рюмки и не стоит связываться. Все или ничего. Гулять так гулять, страдать так страдать. Еврей в России хоть и пьет, но у него в крови высокомерие древнего народа, и пьянство его не будет столь безобразным. Я вспоминаю другого моего приятеля — артиста Лифшица, который всегда пил вместе со всеми, но вместе со всеми не падал. Мне запомнилось его подтрунивание над Россией и то, как он изображал русские народные пляски — взвизгивая и кружась, перебирая проворными ногами.

Одним словом, Душечка меня успокоила. Я отъелся и обходился теперь без брючного ремня. Мне нравилось тискать ее на кухне, между делом, по праву хозяина, хозяина тела, которое принадлежит только тебе.

Я рассказываю о событиях, не связанных между собой. Эти события объединяет одно — они происходили со мной. Кто-то скажет: все события имеют некую глубинную связь. Но мне это недоступно. В сон врывается посторонний звук и тут же становится частью сюжета. Так же в твою жизнь входит человек, преображаясь в персонаж некой драмы, правила которой пока тебе неясны. Действующие лица возникают в поле моего зрения по одному, а иногда их несколько, они покидают сцену порой так быстро, что удивляешься — вот его голос еще колеблет воздух, а человека нет.

Тем летом стояла страшная жара. Ночью мы не торопились домой, там невозможно было спать, кирпичи стен нагревались за день, точно в адских кузницах. Нас устраивало

любое времяпровождение вне этих хрущевских душегубок, где атмосферу ада дополняли еще и комары. На этот раз мы сидели за столиком одного из уличных кафе. Душечка заказала себе коктейль со льдом, а я потягивал пиво. Вот тут-то за наш стол и подсел Че.

— Привет, — сказал он Душечке.

— Привет, — ответила она, как мне показалось, несколько смущенно.

— Кавалер у тебя — ничего, приличный, — он оценивающе окинул меня взглядом и отошел к стойке.

— Ты знаешь этого хама? — спросил я.

— Да я видела-то его всего два раза, — начала оправдываться Душечка.

— А я видел его, наверно, десять тысяч раз. Или, вернее, будет... — я начал прикидывать. — В году — 365 дней, помножить на пять лет учебы в университете, там я его видел примерно пять раз в день, потом восемь лет в одном НИИ — опять пять раз в день. 365 умножить на 13, умножить на 5 ...

Че вернулся с рюмкой водки и опять сел за наш стол.

— Ваше здоровье, — он подержал рюмку и одним махом выпил. Затем притянул к себе Душечку и занюхал ее волосами. Она удивленно и потерянно посмотрела на меня.

— Нет ничего лучше, чем запах красивой женщины, — сказал Че.

Душечка после этих слов тут же успокоилась.

— В следующий раз для занюхивания ищи другую, — сказал я.

— Для этого годится только женщина друга, — ответил он. — Другая не поймет.

Мы взяли еще пива. Душечка попросила кофе. По небесам прокатился громовой звук природы, по-видимому, собирався дождь.

— Хорошее здесь кофе, — сказала Душечка, прихлебывая из чашки.

— Хороший, — поправил я ее.

— Она правильно говорит, — сказал Че. — Кофе — среднего рода, по всем правилам русского языка. Я смотрел в новом словаре.

— Что же, мы всю жизнь говорили неправильно? — спросил я.

— Конечно, — ответил он. — И все из-за недоразумения. При царском дворе служил главным распорядителем один татарин. Он говорил: один корова, один девушка, один кофе... С тех пор так и пошло.

- Как забавно! — Душечка заворуженно смотрела на Че.
- Не слушай его, он врет, — сказал я.
- Ну и что, — сказал Че, — зато интересно.
- А может, так все и было, — сказала Душечка.
- Может, и было, — согласился я.

Мы взяли коньяка. Торопиться было некуда, и за разговором коньяк шел легко. Опять пророкотал гром, в природе затевалось нечто небывалое. Под ногами у меня промелькнул испуганный кот.

Мы вышли на улицу, где нам навстречу уже несли плотный, словно толпа, ветер. Сбоку упал рекламный щит, и в то же мгновение с небес сошел сильнейший ливень, который тут же наполнил своей сутью все мироздание. Уличный фонтан смешался с небесным потоком, вода была всюду, она металась от земли к небу и обратно, она колотилась в два дна, верхнее и нижнее, и рыбы плавали до Луны. Вещество наших тел смешалось с веществом ливня, мы жили в ливне, мы бежали наперегонки, угадывая друг друга в небесной воде.

Затем все стихло. Мы шли домой по струящемуся под ногами миру. Че забегал вперед и ложился в лужу, широко раскинув руки. Может быть, он, дурачась, изображал пьяного, а может быть, он изображал Счастье.

В своих воспоминаниях я пытаюсь придерживаться хронологической последовательности. Мне не по душе литературные опыты, когда повествование ведется вспять времени, или когда время нарезается, словно батон, а затем читателю бросаются его куски, дабы навязать какую-то надуманную сложность. На самом деле все безумно просто. Время идет только в одну сторону и не останавливается. На месте залысин были когда-то шелковистые юношеские волосы. Вот дыры от зубов, тех самых, ослепительно белых, которыми ломали орехи. А вот стройный девичий стан, который неизбежно изогнется под тяжестью лет и сумок.

Кто-то говорит: живи сейчас. Ничего не было и ничего не будет. Есть только происходящее мгновение. Но хоть убей, я помню, что у нас во дворе жил добрейший человек Виктор Степаныч, он мне постоянно рассказывал о своей беспутной дочке, а сейчас его нет, но я знаю, что он был, у меня его шахматная доска.

Человеческий разум не в силах совладать с временем, перед ним бессилён даже разум божественный, поскольку не может отменить собственный закон. Опыты со временем — наивные игры взрослых. Я веду свой рассказ, не пытаюсь иг-

рать, но пусть простит меня читатель, если в своих воспоминаниях я порой возвращаюсь назад или забегаю вперед, это делается не умышленно. Любая искусственность меня раздражает, с годами начинаешь понимать, что в творчестве надо подражать Богу. Вчера весь день мела метель, а сегодня воскресенье, во дворах стоит небесная тишина, снег округлил все в мире углы и выступы. Соседский спаниель возится в сугробе, в молчаливом восторге вздымая снежную пыль. Ты глядишь на это как из потустороннего мира, и видишь, как дивно снег повторяет очертания веток. Вот каким путем следует идти.

Все что-нибудь на свете стоящее создается в подражание Творцу, и счастлив тот, кому это подражание удастся.

Че учился со мной в параллельной группе, и мы не сразу с ним сошлись. Впервые он привлек мое внимание на дне рождения нашей сокурсницы. Его юная соседка по столу спросила, сможет ли он съесть кусок лимона не поморщившись. Че тут же схватил с тарелки лимонный кружок и торопливо начал жевать, остервенело глядя прямо перед собой. Я сидел напротив него и наблюдал его лицо. Выражение жизнерадостности на нем покрывало кислоту фрукта с таким преобладанием, что, пожалуй, с этой энергетикой можно было съесть грузовик. Я рассмеялся, и это было началом наших, так сказать, дружеских отношений. Затем Че попросил одного из присутствующих спеть под гитару. Я понял, почему он это сделал. Певец, или правильней, бард потрясающим образом не обладал музыкальным слухом. Бывает, что человек, лишенный этого дара, может быть, даже случайным образом и возьмет правильную ноту. Но пение *этого* бедняги исключало такую случайность, я подозреваю, что его слух был настроен вразрез любой гармонии. Тем более забавно было его слушать. Он старательно исполнял известные песни, самозабвенно бил по струнам, и азартный голос его несуразно дополнял слух. Сначала в паузах между слов песни проскакивал смешок Че, а затем уже и все присутствующие смеялись во весь голос. Но певца, как ни странно, это нисколько не обижало. Он так и пропел на бис все пять лет нашей учебы. Конечно, он понимал комичность ситуации, но, возможно, желание владеть вниманием аудитории заставляет кое-кого забыть все.

— Я с недоверием отношусь к человеку с гитарой, — говорил Че. — Я прощу ему, если он заиграет фламенко. Но

если он запоем что-нибудь из фольклора городской интеллигенции, а точнее городских ИТР, я затыкаю уши.

— Чем же они тебе так не нравятся? — спросил я. В те годы я еще ходил в походы и подвывал другим у костра, мечтательно глядя в огонь.

— Их сюсюканье меня раздражает. Кришнаиты входят в экстаз, выкрикивая свои мантры. Проходим непонятна причина этого воодушевления. Так же эти певцы, что-то гундосят под одну и ту же мелодию, и их умиление понятно только им самим.

Мы любили рок. Его раскаты пронизывали нашу молодость, словно весенние громы, он сопровождал нас, как снег и дождь. В те годы не всегда удавалось купить водки, но поставить кассету с «Лед Зеппелин» можно было в любое время суток, а для юной души, не отравленной молчанием, это было куда как достаточно.

Я сказал, что мы с ним сошлись, но, пожалуй, друзьями нас назвать было нельзя. Мы, скорее, походили на двух картежников, которые едва терпят друг друга, но жуткое желание играть заставляет их быть вместе.

При некоторой общности нас разделяли пропасти и пропасти. Если я в глазах окружающих считался хорошим человеком с примесью дурного, то Че — плохим человеком с затками хорошего.

«А пошел бы ты с ним в разведку?» — так спрашивали нас в детстве. Я отвечаю: я бы пошел с ним в разведку в публичный дом.

Че любил женщин. Он был рабом своего члена, и вообще его суть напоминала член: он вдруг становился напористым и твердым, но это ненадолго, так как он лишен костной основы, и скоро размякнет и погрузнеет.

Я сказал ему о замеченном мной сходстве. Он не рассердился и согласился с моим наблюдением. Но при этом заметил, что я опять пытаюсь острить. Непонятно — когда ты шутишь, а когда говоришь всерьез, — говорят мне мои близкие. «А это потому, — как-то сказал Че, — что шутки твои не смешны, а то, что говорится значительно — курям на смех».

Довольно часто разговор наш состоял из обмена оскорблениями. Повторяю, мы терпели друг друга, и при этом, стараясь уязвить, издевательски задевали сокровенное. Эта жестокая прямота переходила и в душевные наши беседы (это еще раз подтверждает то, что мы не были друзьями).

— Да, я люблю женщин, — говорил Че, расчувствовавшись после выпитого. — Я многолюб. Мне надо их как можно больше, я хочу быть среди них, среди их нежного мяса и души. Мужики, вообще, потные, противные существа. А женщины!.. Понимаешь, мне их ужасно жалко. Они такие мягкие, трогательные, любят кошек. Мне всегда хочется их обнять и успокоить.

— В постели, — добавил я.

— Да, — ответил он, — ничто их так не успокоит. Что с того, что я часто меняю баб? Женщину, с которой мне быть всего ночь, я люблю всем сердцем, всей неизбывной силой жизни.

— А тебе не жалко их потом бросать? — спросил я.

— Ужасно жалко. Но ничего не поделаешь. Я однажды был женат. Жена, сидящая дома, висела надо мной, когда я смотрел на других женщин и желал их. Чувство того, что я даже мысленно не могу их взять, ставило «нет» на моем существовании.

Я припоминаю случай, когда обещал познакомить его с одной девушкой — милым, очаровательным существом двадцати лет. Увидев ее, идущую нам навстречу, Че по-детски разочарованно протянул:

— Ай. У меня уже такая была.

— Какая такая? — спросил я.

— Такая беленькая и высокая.

Несмотря на первое разочарование, к вечеру он ее все-таки полюбил, поскольку не любить он не мог.

Вероятно, у читателя возник вопрос, почему я называю его Че. По старой привычке оскорблять я утверждаю, что произвел это имя от слова член — Ч. На самом деле Че — первый слог его фамилии, я ее не называю, пусть читатель, если пожелает, сам для себя ее выберет — Челноков, Чемоданов, Черемисов (только пусть это будет не Чехов). В нашем кругу эти сокращения были популярны: Кри — Кривокуров, Бо — Бочкин, Ги — Гизатуллин.

А если найдется читатель, заметивший в нем глубокие духовные качества (я подозреваю, что это будет женщина), пусть считает, что имя его происходит от Человека.

Период вялости сменялся подъемом, и Че поражал своей стойкостью. Как-то он попросил подождать его после работы, а то ему скучно возвращаться одному. Я сказал, что же-

ление быть всегда в компании — это удел посредственности. На следующий день Че ушел в поход. Стоял январь, и ветры в тот год дули особенно колючие. Он ушел один, на несколько дней, в далекие леса, в те места, где на заснеженной просеке встретишь разве что такого же сумасшедшего, как Че. Но главный эффект этого похода заключался в том, что мой приятель не взял с собой палатку.

— Ночлег готовится так, — рассказывал он потом, — сооружаешь стенку из ветвей, ложишься под нее с подветренной стороны, хорошенько укрываешься, тебя как следует заносит снегом, ты лежишь и видишь сны, предназначенные бурым медведям. Если тебе, конечно, удастся уснуть, поскольку зимой в лесу все-таки холодно. А утром встанешь во весь рост, взметнув ночной снег и сны, скажешь — привет, самолет в небе, привет, дятел на сосне, привет, лось, бегущий на север. Запалишь костер, в котле закипит вода, ты глотнешь крепчайшего чая и поймешь, что тебе никто не нужен...

— Дурак, — сказал я, — ты же мог просто не проснуться. Или проснуться на том свете и там расточать свои приветы.

— Ты не волнуйся, — сказал он. — Я пошел не из-за тебя. Я хотел видеть сны медведей и след лося среди сосен...

Он еще что-то болтал, пока речь его не стала совсем бессвязной, — мы к тому времени уже порядком выпили.

Член рано или поздно опадает. В период упадка Че представлял собой страшное зрелище. Какое-то человекоподобное, желеобразное существо, растекаясь, существовало на диване, не в силах встать.

— Мамаша, — вяло кричал он на кухню. — Принесите мне поесть.

Бедная мама летела из кухни с тарелкой борща. Она поддвигала к изголовью безжизненного сына табурет и ставила на него тарелку. Сынок поворачивал голову к еде и протягивал бессильную руку к торчавшей из супа ложке.

— Что такое! — вскрикивал он. — Мамаша, вы хотите меня убить. Сколько раз я вам говорил — вы не с той стороны ставите ложку. Кошмар.

Он отворачивался лицом к стене.

— Сейчас, сыночек, сейчас, — бедная женщина спешила поправить ложку.

Существо поворачивалось и, приблизившись к тарелке, вяло хлебало суп.

— Ты идешь на хоккей или нет? — говорил я, устав ждать.

— Какой хоккей, когда все кончено! — обреченно отвечал он из постели.

— А что кончено-то?

— Все... — шептали слабые губы и рука его опадала, как шея подстреленного лебедя.

Аве Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!

Это была его любимая фраза. Ее повторял он в минуты подъема, выбрасывая вперед кулак. Я никогда не забуду этот его сильный жест. Что он имел в виду? Что ему все нипочем? Он, не моргнув глазом, железной поступью, отправится в неизбежное, посылая приветствие неведомому, небесному Цезарю?

Ожившая душа воина находила красоту в неизбежности.

Его кумирами были Чингиз-хан, Тамерлан, Наполеон.

Он обладал удивительной способностью верховодить в некоторых мужских сборищах. Однажды, сидя на скамейке в его дворе, я видел такую картину. Передо мной прошествовала процессия мужичков. Во главе ее был Че, он шел немного враскачку, засунув руки в карманы, сохраняя горделивую независимость в осанке. Свиту императора составляли семенящие позади местные пьянчужки, отставные сантехники и прочий дворовый народец. Я подумал, что, пожалуй, подобное построение массовки — забавная случайность. Но, к моему удивлению, эта же процессия прошла вскоре в обратном направлении. Позже выяснилось, что они решили поставить во дворе турник. В этом дворе, старом и уютном (а точнее сказать, среди трущоб), Че жил с самого рождения. Я не удивился, услышав однажды здесь знакомую фразу. «Аве Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!» — неслось из чьих-то пьяных, нечистых уст.

Меня всегда забавляла его склонность к лидерству. Недавно я наблюдал, как в одной из трущоб (каких сегодня осталось мало) дети играют в полицейских. Они перепрыгивали через бревна, обстреливали из пластмассовых пистолетов заброшенный дом, где засели бандиты, и по игрушечной рации вызывали подкрепление. Явным лидером здесь был один мальчик — розовощекий, хорошо причесанный и явно не местный. В минуты торжества над противником он внезапно останавливался и, скидывая руки, запевал тему из «Полета Валькирий» Вагнера. Остальные сорванцы тут же присоединялись к нему, как ни странно, с ходу подхватывая интонацию победы. Они не знают, кто такой Вагнер и, вероят-

но, никогда не узнают. Классическая музыка вряд ли войдет в их жизнь, где, главным образом, будет звенеть лом и водка будет литься в граненый стакан, заглушая все другие звуки. И, может быть, на их дороге ненадолго возникнет Че, которому они с готовностью подпоют, следуя какому-то почти умершему инстинкту.

Я думаю, что Че был из породы народных предводителей, из когорты дубровских, мининых и пожарских, но его склонность к депрессиям, разумеется, вычеркивает его из этой пристойной последовательности, которая сложилась в моем воображении.

Отношения с женщинами, как я уже упоминал, складывались у него по-особому. Здесь он мог быть подстилкой, вещью, игрушкой, но никак не лидером. В нашем НИИ женщины значительно преобладали в численности, и, как все шутили по поводу Че, козла запустили в огород. Когда я говорю о НИИ тех лет, в моем голосе проскальзывают ностальгические нотки. Это были удивительные сообщества, созданные, мне кажется, с единственной целью — чем-то занять интеллигенцию, которая обычно думает не о том, о чем надо. Сегодня среди бесконечной вереницы рыночных продавщиц или разносчиц газет я безошибочно определяю своих — тех милых женщин, так трудно грубеющих сейчас, безжалостно брошенных в самое нутро бездушной машины, которая зовется выживанием.

Я беру наугад любой эпизод той жизни, тыкаю пальцем в огромную территорию забвения.

Едва я зашел в машинный зал, на меня набросилась пухлая своеобразная особа — программистка из соседнего отдела. По ее облику сразу стало ясно, что случилось нечто непоправимое.

— Где?! — спросила она у меня. Состояние ее приближалось к истерике.

— Что где? — отшатнулся от нее я.

— Где стрелка?

Я не знал, что ей ответить и выжидал, давая ей успокоиться. Она протянула к самому моему лицу руку с часами:

— Где маленькая стрелка? Ее нет!

Я внимательно посмотрел на ее часы. На них было ровно 14.12.

— У вас большая стрелка закрыла маленькую. Подождите, скоро будут видны обе стрелки.

— Да? — она недоверчиво посмотрела на меня и отошла.

В зал вошел Че. Он кивнул мне, сел за монитор и защелкал клавишами. Вслед за ним ворвалась заведующая его лабораторией. Она потребовала у Че технический проект. Почему он все еще не готов? Уже прошли все сроки! Это была довольно интересная женщина. У нее не складывалась личная жизнь, она развелась с несколькими мужьями. Несмотря на свою привлекательность, она ушла душой в производство, как я подозреваю, чтобы полностью изжить в себе женственность и связанные с ней несчастья.

— И вообще, вы всегда опаздываете! А вчера вас не было полдня!

Она заседала на него, как кошка, поймавшая мышь. Че позорно пререкался, отнекивался, пытаясь сохранить достоинство и, наконец, сказал фразу, которую, наверно, не ожидал услышать сам:

— Не смейте мне являться в снах!

Женщина осеклась и, не найдя, что ответить, покинула поле битвы в полной прострации. Позднее у них завязался роман, который долго обсуждался в институте: нашла себе молодого, может, для нее это шанс и прочее, прочее. Разумеется, Че не дал ей долгого счастья, он мог дать счастье только короткое, почти мгновенное, а может быть, счастье и бывает только таким?

— Вот ведь как все устроено, — очередной раз открывал он мне душу, — нам нужны всякие приспособления для счастья, — руль приличного автомобиля, самолет, уносящий тебя в незнакомые страны, дверь в новый дом. Везде твои руки натыкаются на неживые предметы. А женщина — вот оно, счастье без приспособлений, теплая, дышащая, за которой миры без названий.

Женщина — начало рая, обещанного Богом, — сказал философ.

Я начал свое повествование с лета, а затем времена года сменяли друг друга, местами растворяя в себе главного героя. Есть в кино такой прием: на экране возникает летний пейзаж, за ним следом появляется тот же пейзаж, но отснятый зимой. Эти две картинки микшируются, то есть один кадр медленно и плавно замещается другим, создавая ощущение непрерывности времени. Я давно заметил, что подобным образом воспринимаю смену времен года, трудно уловить момент перехода, да обычно его и не пытаешься уловить. Взрослое сознание не в состоянии пережить отдельный кадр, как переживают его дети, взбудораженные пер-

вым снегом. Но отзвуки той реальности — идущей из детства — порой настигают меня сквозь гул всех часовых механизмов, выстроенных на моем пути.

Я выхожу во двор, где творится зима. Мне навстречу падается мистер Баскервиль. Мы обмениваемся приветствиями. На самом деле его зовут Василий Игнатьич, а этим новым именем он обязан своей собаке, огромному черному догу, которого детвора во дворе называет собакой Баскервилей. Не скрою, что обе клички — и собаке, и хозяину — подсказал пацанам я, поскольку с детства любил давать прозвища.

— Осторожно, — предупреждает меня мистер Баскервиль, — сегодня гололед, не упадите.

Он уходит, ступая на ледяной тротуар с опаской, точно альпинист.

Гололед! В мире творится нечто невообразимое. Лед отражает солнце, и в этом дивном отсвете люди поскальзываются и в каком-то замедленно-магическом действии падают. При этом они успевают совершить телодвижения, напоминающие какие-то заклинания или жесты торжества жизни. Мне скажут: «Но при этом возможны увечья!» А я отвечу: «Не надо во всем видеть только плохое!»

Царство льда рассекается надвое черной водой асфальта, здесь как будто недавно прошел ледокол и прохожие перебегают дорогу, словно чуждую территорию.

На тротуаре, который покато уходит вниз, бабушка-дворничиха пытается соскоблить скребком ледяную дорожку, раскатанную детворой.

— Не надо! — наперебой просят дети.

— Как не надо, люди падают, — говорит бабушка.

— Здесь и солдаты катаются! — убедительно говорит мальчик. Солдат — такой же представитель мира взрослых, как и министр машиностроения. А если здесь катаются такие, понимаешь, люди, кто посмеет соскрести этот прекрасный, несущий тебя вниз, ледок?!

Наконец, добрая бабушка соглашается оставить узенькую полоску льда для детей и министров и принимается скрести по сторонам.

Я иду по улице, люди кругом продолжают падать, и каждое падение — произведение искусства. Это может быть высокий подскок после затяжного балансирования на одной ноге, замысловатое балетное па и тройной тулуп из фигурного катания. Один мой приятель рассказывал, как один человек уронил небольшую толпу, стоящую в ожидании автобуса. Этот товарищ, падая, непроизвольно сделал подсечку

другому, тот, падая, уронил третьего, и так далее, по принципу домино, пока не упал весь народ. При этом, упав, весь народ долго не вставал и, лежа, смеялся собственной паду-чести.

Если в обычную погоду падать не дозволено, да и не принято, то в гололед падение — притягательное для тебя состояние, и можно, упав где-нибудь на центральной улице, передохнуть и посмотреть на небо. А когда ты последний раз смотрел на небо?

В гололед происходят самые невероятные вещи. Я однажды, несуразно падая, ударил девушку портфелем по голове. Она меня, конечно, простила. Я уверен, что эту девушку уже никогда не ударят портфелем по голове. А вот случай, который рассказал мне один бомж, бывший инженер-электронщик, который собирает бутылки на нашей помойке. Ему навстречу шла женщина в длинной роскошной шубе. Она была настолько красива, что он посчитал себя недостойным даже смотреть на нее. Когда мы поравнялись, — рассказывал бомж, — женщина вдруг поскользнулась и, ловя изящными руками воздух, схватилась за меня. Я упал, стукнулся головой и на мгновение потерял сознание. Очнувшись, я увидел над собой ее озабоченное лицо, оно было так близко от моего, что все поплыло перед моими глазами, и сознание вновь едва не покинуло меня. Бомж вскочил, поспешно, не оглядываясь, убежал и навечно сохранил в памяти эту невообразимую близость.

Чего только не случается в гололед!

Опять главный герой растворяется в пейзаже, давая действительности течь самой по себе и менять планы, как ей заблагорассудится. Линия сюжета уже неосвязаема, но действительность сама по себе полна содержания, и если ты переводишь взгляд с высоких январских дымов на сугробы, а затем на ряды покрытых снегом елей, то сердце твое угадывает ритм некой недостигаемой, пронизывающей этот воздух, прозы. А затем ты идешь по улице, все дальше углубляешься в явь, которая захватывает тебя, словно сюжет увлекательного романа.

Северный полюс будет наш. И никакие меркеты и тангуты не достигнут его, сучьи дети.

Чингиз-хан плюнул. Плевков замерз на лету, и проворная ледышка упала в сугроб. Повелитель Вселенной окинул долгим взором горизонт. Льды Арктики вставали перед ним во всей своей красоте, достойной его, Чингиз-хана, величия и

сравнимой разве что с молниеносным отблеском солнца на мечах монгольских воинов.

Я превзошел в хитрости китайцев, я оказался сильнее рыцарей Тевтонского ордена, я разбил в пух и прах кипчаков и урусов. Копыта монгольских коней стучали и в Зальцбурге, и на улицах великой столицы мира Багдада. И неужели какой-нибудь собачий сын посмеет сомневаться в том, что мне не подвластен Север?

Мои воины перенесли жару Египта, и неужели они не переживут холода? Мусульмане Хорезма пугали нас ледяным царством Иблиса, но мы не испугались, а если я повелю, мои всадники поскачут и в преисподнюю к Иблису, не то что на Северный полюс.

Ветер, колющий и твердый, ударил ему в лицо, но Чингиз-хан не дрогнул. Скорее ледяная скала рассыплется, чем я поведу бровью.

Прав ли я, когда принимаю решения один, ни с кем не советуясь? Говорят: истина рождается в споре. Нет, истина рождается в рассуждении, скажет мудрец. Смотри кто рассуждает, — добавлю я. Весь мир внимает моей воле и никто никогда не прекословил мне. И тысячи раз все убеждались в моей правоте. И вот я говорю: флаг Великой Монголии будет развеваться на Северном полюсе!

Восемь недель, как Субэдэй-багатур с отрядом в 40 человек на собачьих упряжках скрылись в снегах. И они вернутся победителями к своему хану, иначе быть не может, ибо так говорю я, повелитель Вселенной.

Чингиз-хан вернулся в свой шатер и повелел приготовить чаю.

Зазвонил телефон, и Душечка в соседней комнате подняла трубку. Слышно было, как она что-то односложно ответила, и я опять углубился в чтение.

Князь Курбский прошел сквозь густой чапараль и вышел на дорогу. Впереди, среди гигантских кактусов, мелькнула тень койота. Уже стемнело, ветер принес из-за гор дыхание океана, и князь вздохнул с облегчением...

Я отложил книгу и прислушался. Душечка по-прежнему с кем-то разговаривала. Потом она позвала меня к телефону — иди, это тебя. Черт возьми, подумал я, откладывая книгу, в кои веки в руки попало что-то стоящее и то не дают дочитать. Это был Че.

— Привет, Чингиз-хан, — сказал он.

Я не нашелся, что ему ответить.

— Как книга? Ничо ведь, а? — он надо мной издевался.

— Откуда ты знаешь, что именно я читаю? — спросил я.

— Эту книгу Душечке дал я.

— Спасибо тебе, — я рассыпался в благодарностях, — за твое просветительство и заботу о нас.

Мы поболтали о какой-то ерунде и распрощались.

— Почему ты мне не сказала, что с ним виделась? — спросил я ее.

— Я посчитала, что это не заслуживает внимания, — ответила она, — он приходил к нам в офис. У него были там какие-то дела.

— Он приходил из-за тебя, — сказал я.

— Да нет же! — она взволновалась. — Он приходил к шефу по делу.

Я чувствовал в своей вере некий сдвиг. Все, что связано с Че, мне казалось теперь глубоко порочным. Я не притронулся больше к его книге и не хотел в тот вечер притрагиваться к Душечке.

Но Душечка меня опять успокоила, она это умела. Я понял, что она не та женщина, которая попадетсЯ на уловки Че.

Наша жизнь с Душечкой проходила без событий, мы пили чай по вечерам и смотрели телевизор. Я работал в фирме по продаже холодильников и даже начал там расти. В моей внешности появился оттенок самодовольства.

Что делает с человеком уверенность в завтрашнем дне? Нет, не та уверенность, только что добытая кровью, а уверенность устоявшаяся, сложившаяся годами. Человек приспособляется к действительности, к себе, и, как правило, у него нет проблем с душой. А если эта уверенность осела в костях поколений, люди становятся вдобавок и некрасивы. Из толпы американцев не выделишь сколько-нибудь интересного лица. Насколько нация продвигается в современных технологиях, настолько теряет она во внешности. Мы не берем во внимание американских актеров — их собирают со всего мира. И даже при этом раскладе мы найдем в каком-нибудь далеком сибирском городке с дюжину красавиц, не уступающих Синди Кроуфорд. В облике наших женщин есть красота вечного страдания и русской неуспокоенности. Поэтому-то во все времена у нас плохо движутся реформы — мы хотим быть красивы. Мы хотим быть духовны и с презрением поглядываем на бесцветных, погрязших в достатке соседей.

Я подозреваю, что в то самое время в моей внешности появился намек на некрасивость, ту самую, передающуюся поколениям. А Душечка любила красоту.

Че вошел в нашу жизнь и теперь мы часто оказывались втроем. Мы с Душечкой давно уже не искали уединения и нас это устраивало. Мы мотались по барам и ночным улицам. Я помню, как мы втроем тащились пьяными по бульвару. Мы с Че вели с двух сторон Душечку.

Однажды я уехал в трехдневную командировку и, вернувшись, обнаружил у нас дома Че. Он отвел взгляд. Душечка была сдержанна. Что-то происходило в мое отсутствие.

— Может быть, я лишний? — спросил я.

— Ну почему же сразу так, — начала Душечка.

Я взбесился.

— Что ты вообще здесь делаешь? — я пошел на него.

— Я ее люблю, — ответил он.

Сказать было нечего. Мы молчали, и создавшаяся тишина подчеркивала нелепость ситуации. Один из мужчин должен был уйти.

— Давай спросим у женщины, ей решать, — сказал я. Че смотрел себе под ноги и не поднимал глаз.

Я взял за локоть Душечку и развернул в нашу сторону:

— Последнее слово за тобой.

Она выбрала его.

Я люблю овраги, в нашем городе их несколько. В одном из них я лазил еще в школьные годы и поджигал прошлогоднюю траву. Порой сюда прилетали чайки с Волги, наверно, здесь когда-то протекала река, и они следовали своей генной памяти. Вид этих птиц вместе с запахом дыма будил в детской душе мечты о неизведанном. Другой овраг долго держал в себе зиму, он останавливал время в своих узких стенах. Тот, кто был посвящен в эту тайну, спускался сюда в майскую жару на лыжах и плавно несясь вперед сквозь воздух остановившегося времени. А третий овраг был примечателен тем, что по дну его была проложена железная дорога. Здесь в гулких, травянистых недрах земли проскакивали крыши поездов, обдавая тебя запахом путешествий.

В тот день, когда меня выставила Душечка, я допоздна сидел на склоне этого оврага и смотрел, как поезда проносятся в Сибирь. Я думал, что мог бы сейчас быть в этом пролетающем мимо окне, откуда вылетела пустая пивная бутылка.

Меня предали. Обвели вокруг пальца, как пацана. Уходя я слышал, как Че праздновал победу. Мне показалось тогда, что я слышу его голос с далекого, оставшегося позади балкона:

«Аве Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!»

Темнота на дне оврага осветилась фарами тепловоза. Я посмотрел на сверкнувшие рельсы и пошел вниз под нарастающий гул поезда.

А потом я стоял совсем рядом с пролетающими вагонами, они неслись мне навстречу с чудовищным грохотом, и, казалось, они никогда не кончатся. В лоб хлестко ударила кожура банана. И тут же бесконечный поезд оборвался в тишину. Я повернулся и потащился вверх, прочь из этой бездны.

По прошествии лет я оцениваю эту ситуацию несколько иначе. Че обладал какой-то особенной способностью менять реальность в свою сторону, вводить в нее элемент нелепости и абсурда. За несколько секунд существования он умудрялся навести вокруг себя такой беспорядок, на какой другому понадобятся месяцы. Вещи и события вокруг него приходили в неизвестные ранее соприкосновения. Поэтому в тот раз он, я думаю, упивался нелепостью создавшегося положения и тянул его как мог.

Душечка выбрала его. Его — мимолетного, однодневного, порочного. Но сегодня мне ясно, почему это произошло. Она это сделала не от того, что он был для нее притягательнее. Я обрел в то время равновесие, и трогательная Душечкина жертвенность становилась невостребованной. Она не следовала своему предназначению — приходить на помощь, а тихо погружалась в омут быта. Тут появляется Че. Он находится в состоянии депрессии, и вид имеет бесстыдно беспомощный. Она, взволнованная, разумеется, его жалеет. А, может быть, он и не был в депрессии, а просто ее изображал, угадав характер Душечки.

Они прожили вместе удивительно долго — один год, что явилось рекордом для Че. Он всегда превозносил женщин. Но это потому, что долго с каждой из них не жил. Иначе бы понял, что значит — терпеть их штучки. Я думаю, что это вообще геройство с его стороны — прожить целый год с Душечкой.

Я часто пытаюсь представить непредставимое — как они живут. Мое воображение рисует картины семейного уюта. Че сидит в кресле и смотрит хоккей. Он отчаянно вскрикивает и переживает — ох, опять не забили, это конец, я этого

не вынесу... Она подходит и тихо садится рядом с ним, утешая и держа его за руку — надо быть всегда вместе: и в беде, и в переживании, и в радости. Или. Они возвращаются с вечеринки. Она достает из сумочки ключ и пытается открыть дверь. Он ужасно хочет в туалет, он переминается с ноги на ногу и подпрыгивает, выделяет невообразимые коленца и балетные па — ну давай же, быстрее открывай, я не выдержу! Она ему — нельзя так распускаться, будь мужчиной, в конце концов! Наконец, дверь открывается, и он, едва не уронив Душечку, устремляется в туалет. Она ему вослед: ведь я тебе говорила, не пей так много пива, это все оттого, что ты не слушаешься мамочку!

Я опять выхожу на улицу бесцельно — вы, наверно, уже обратили внимание на мою привычку. «У него полно времени, чтобы тратить его бесцельно!» — слышу я чей-то ехидный голос. Я отвечаю на это, что время, потраченное бесцельно — самое наполненное и содержательное, именно оно дает осознание божественного предназначения (которое тут же уходит, если тратить время с целью).

Улица полна хорошей прозы, нужно только ее услышать и вторить ей сердцем. Мимо проезжает нескончаемая вереница машин, вдруг — мгновенный отблеск солнца на одной из них и надпись на пыльной дверце: «Папа, я сейчас приду». Эти слова, выведенные на дорожной пыли детским пальчиком, почему-то становятся апофеозом той прозы, которую кидает мне сегодня улица. Я еще не понимаю, в чем заключается этот апофеоз, но крайне взволнован.

Мгновение жизни — я сейчас приду! — запечатлено и раскатывает по городу, доступное понимающим.

Кто-то вспомнит об ушедшем отце и обратится к нему: папа, я сейчас приду.

А кто-то просто вспомнит детство, сердце его размякнет, и он тихо заплачет, пряча глаза от прохожих. А потом он целиком уйдет в воспоминания и прошляется неизвестно где до вечера.

Мы встретились с Душечкой в подземном переходе, я как раз шел домой из пивной. Наш разговор продолжался около получаса. Она уловила во мне начало распада. И поэтому позволила себя проводить. Я не заметил, как оказался возле ее подъезда, а дальше ноги сами повели меня за ней — к знакомой, привычной, словно собственное сердце, двери. А Душечка? А Душечка себе уже не принадлежала, она сле-

довала своему предназначению с вечной покорностью страдания.

Он стоял в конце коридора, и его горящий взор был направлен на нас. Он выжал из этой ситуации все возможное, придав ей особую многозначительность. Правда, на этот раз зачинателем этого абсурда был я. Далее события разворачивались еще нелепей. Между нами завязалась потасовка. Душечка что-то кричала, но ее уже никто не слушал. Он бросился меня душить, и мы свалились на пол в неразрывных объятиях ненависти. Моя рука нашарила стоящий рядом табурет. Я знал, что одна из ножек этого табурета отваливается и схватил эту ножку с твердым намерением... Да, в тот момент я хотел его убить. Но, как ни странно, ножка не отделилась от своего основания, мой соперник починил табурет, вероятно, в очередном приступе любви к домашнему очагу. И тут я понял, как все это смешно, и прекратил ему подыгрывать. Мы поднялись с пола, не глядя друг на друга...

Я выскочил за дверь и побежал вниз по лестнице подъезда. Я бежал отчаянно, как в детстве, через несколько ступенек, не выбирая точки редких приземлений. Если бы Душечке сейчас задали тот вопрос — выбирай, последнее слово за тобой — подозреваю, она бы выбрала меня.

Сегодня я решил на улицу не выходить, а спустился только за почтой. Сверху послышался топот нежных детских ног, и вскоре мимо меня проскочили две девочки с роликовыми коньками через плечо. Внизу хлопнула подъездная дверь, топот затих. Я пошел вверх по лестнице, а потом развернулся и побежал вниз, прыгая через несколько ступенек, меня влекла сила тяжести детства, я летел в родную область, область сердца, я спешил к себе.

В те времена, когда основная часть населения жила в хрущевках, подъезд почему-то являлся для детей таким же местом обитания, как, например, детская или спальня. Мы бегали толпой по этажам, создавая особый, галдящий, лестничный мегаполис. Звонко скакал мяч, и, как ни странно, в этих ограниченных, косых пространствах забивались голы, сопровождаемые безумными воплями торжества. Наша разновозрастная армия забегала во все двери (пожалуй, не во все, а лишь туда, где жили понимающие родители), чтобы увлеченно затихнуть за шашками на окраине мегаполиса, а затем с утроенной энергией выбегала в эту захватывающую подъездную действительность.

— Давайте пойдем к нам! — вспоминаю я голос малень-

кого мальчика с пятого этажа. Мы никогда не добежали до его двери, может быть, потому, что это было высоко, а, может быть, родители его не приветствовали нас должным образом.

— Ну когда же мы пойдем к нам?! — в голосе мальчика слышится отчаянье неудовлетворенной гостеприимности. На глазах его выступают беззащитные слезы. В руках его почему-то мамина скалка для теста.

— Успеет еще, — отвечает наш предводитель Фарид. Ему девять лет в отличие от остальных, чей возраст чудесно разбросан от трех до семи.

Моя память нежно хранит образ Фариды и особенно тот момент, когда на его стриженую под ноль голову звонко опускается скалка для теста. Не дождавшийся гостей мальчик, чье маленькое сердце разрывается от обиды, пытается хоть как-то изменить ситуацию и пускается на последнее средство — рукоприкладство. Мальчик, разумеется, получает в ответ подзатыльник, пинок и заверения в том, что никто никогда к нему не пойдет.

Вспоминая тот шум, которым все это сопровождалось, я задаю себе вопрос: можно ли было существовать в таких условиях жильцам? Как ни странно, мой отец, живя возле самого сердца мегаполиса, на третьем этаже, дописывал в те годы диссертацию. А на четвертом этаже жил поэт, который работал только дома и даже на улицу выходил редко. Я проверял хронологию его произведений и был удивлен тем, что именно в эти годы была написана поэма, которую все считают вершиной его творчества. По вечерам поэт спускался к отцу пропустить рюмку-другую, пробираясь через наш расположившийся на ступенях табор.

Я подозреваю, что детская душа доверчиво подпитывает действительность, из старческого тела которой энергия стремится уйти.

Сегодня мне хочется подпитывать дряхлеющий, глухой, заторможенный мир, который усиленно хочет казаться значимым. Я воображаю кадры такого фильма. Диалог двух почтенных, строго одетых, седовласых мужей.

— Ты пойдешь на сегодняшнее заседание Государственной думы? — спрашивает один (пусть это будет, например Михаил Ульянов, он превосходно справится с этой ролью). При этом он делает подскок, беззаботно бежит, чтобы тут же, остановившись, нагнуться за мелькнувшей в траве бутылочной пробкой.

— Нет, — отвечает другой из песочницы (Сергей Юрс-

кий). — Он увлеченно что-то строит из песка. — Ты за меня там проголосуй, а?

— А как проголосовать, за или против? — говорит Михаил Ульянов уже с крыши беседки. Галстук его задрался набок, а ботинок расшнурован.

— Да хоть как.

Следующий кадр. Председательствующий — пухлый мальчик с озорными искорками в глазах — ставит вопрос:

— Как же мы будем делить наши пряники? Вот в чем вопрос.

Перед нами зал заседаний, в котором сидят дети. Они морщат свои лобики, старательно изображая серьезность. Как нам разделить пряники?

Почему-то в мои воспоминания, где главным образом присутствует мой приятель Че, опять и опять вторгаются дети. Это происходит помимо моей воли, и я начинаю догадываться, почему. Так же, как нелепые ситуации создавал вокруг себя Че, так же без оглядки на установленные правила живут дети. Че подпитывал мир, но я это поздно понял.

Мне приходит в голову неприличная мысль: а ведь мы могли бы жить втроем. Мы с Че по очереди уходили бы в мрачную опустошенность, а Душечке доставался бы один из нас — жизнерадостный и чуткий. Но длительности этих изменений души, как правило, непредсказуемы.

После разрыва с Душечкой Че исчез из нашего города, а затем вдруг вынырнул на одном из столичных телеканалов. Временами он появлялся на экране — уверенный и словоохотливый репортер.

Я вернулся к Душечке, и она с готовностью приняла меня, поскольку меня вполне можно было спасти. Я опять попивал и не имел постоянного места работы.

Теперь, живя с Душечкой, я вел себя хитрей. Мне надо было всегда поддерживать себя в состоянии неуравновешенности. Я давал ей реализоваться и устраивал сцены самоистязания (я себя убью, точно тебе говорю, я себя убью!).

Она всматривалась в экран, где иногда мелькал Че. Я спрашивал: «Ты его любишь?» «Да», — отвечала она, поскольку не могла врать. «А меня?» «Да». «А кого больше?» Здесь она не могла ответить. Если у матери спросить, которого из сыновей она любит больше, она не ответит.

А потом пошли репортажи Че из области, которые сегодня называют — одна из горячих точек. Вот он среди

десантников. Вот он на крыше БТР. «Его же могут там убить!» — волновалась Душечка. «А как же», — отвечал я. Она переживала, если Че долго не появлялся на экране. Мне кажется, Че отправился туда кому-то в отместку, как когда-то назло мне ушел в зимний поход.

Однажды я затащил Душечку в какой-то бар, поскольку домой идти не хотелось. За наш стол подсел наглый пьяный офицер. Он утверждал, что воевал, имеет ранение. При этом приставал к Душечке и провоцировал меня на драку.

— Люди там голову кладут, — говорил он, — а вы тут...

Мне были знакомы такие рассуждения. Вы — *там* — на воле, а мы *тут*, — злобно говорит каторжанин, глядя на нас из-за решетки. А выйдя из-за нее, он начинает мстить первому встречному за эту причастность к воле, восстанавливая какую-то свою ущербную справедливость. Я помню попутчика в поезде, который, изрядно выпив, кинулся на меня с кулаками за то, что у меня есть родители. «А я без отца, без матери рос, понял?!» — кричал он, стараясь отомстить мне за свою нелегкую судьбу.

— Я потерял друга, — бормотал офицер, глядя на фужер, — он умирал у меня на руках... Сейчас дали отпуск, а на кой он мне... Ребят-то не вернешь...

Он поднял на нас пьяные глаза.

— А нас было двенадцать, как апостолов... Всех за один раз... Я один остался... А зачем?..

Внезапно взгляд его ожесточился.

— За что ребята полегли, я спрашиваю? Чтоб вы тут трахались? — он глядел на Душечку.

Я встал и с размаху ударил его в лицо. Офицер упал со стула и уткнулся лицом в пол.

— Ты что?! — крикнула мне Душечка, — как ты можешь? Животное!

Она бросилась к офицеру и помогла ему встать. Как ни странно, офицер успокоился. Может быть, Душечка, как святой источник, придала ему сил, а, может быть, он немного протрезвел.

— А ты — настоящий мужик, — сказал он. — Давай выпьем.

Мы разлили по стаканам водки и выпили. Он начинал мне нравиться. Ему хотелось выговориться, и мы его не перебивали.

— А ведь никто не думал, что в последний бой идет... — опять бормотал он, — а эти двое с камерой, я им говорю, вы-то куда, у нас приказ, а вы штатские, куда лезете... и

вообще, они отличные были ребята, таких нет... я ему говорю, а они...

Он налил себе водки и выпил. Затем выкинул вперед кулак и крикнул:

— Аве Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!

Душечка побледнела и сползла на пол.

Я подскочил к офицеру:

— От кого ты это услышал?!

Но мог и не спрашивать.

Мы идем вдоль ряда вагонов. Старший брат Че, офицер из бара и я. Позади нас еще несколько человек — друзей, родственников. Мы идем молча, вслед за человеком в железнодорожной форме. Он ведет нас к Че. Мы подходим к очередному вагону, и сердце мое летит в пропасть. Здесь? Нет. Железнодорожник, не останавливаясь, проходит дальше. Следующий вагон. Здесь? Дальше. Эта ночь, по-видимому, холодная, но этого я не чувствую, меня пробирает внутренний озноб, который покрывает любой холод мира. Еще вагон. Нет. Кажется, что этим вагонам не будет конца. Я вспоминаю, что видел когда-то ряд вагонов, они летели мне навстречу. Да, это было тогда в овраге, я пошел под поезд, меня выставила Душечка. Еще один вагон. Наверно, здесь. Опять нет, и сердце который раз висит в бездне. Бесконечный ряд вагонов, словно знак проносящейся рядом смерти. Мы проходим поезд до конца. Багажный поезд. Он не везет пассажиров, а везет... В последнем вагоне отворена дверь. «Давайте быстрее, — говорит проводник, — поезд скоро тронется». Мы опускаем на перрон длинный дощатый ящик. Офицер из бара объясняет нам, что внутри цинковый гроб, таковы правила перевозки. Мы переносим ящик в кузов грузовика, который ожидает нас в конце перрона.

Несколько человек, вооружившись гвоздодерами и плоскогубцами, вскрывают ящик. Там на крышке гроба должно быть стеклянное окошко, — говорит офицер. — Посмотрите, *его* должно быть видно.

Темно, плохо видно. Пусть машина подъедет ближе к прожектору.

— Видно?

— Да.

— Он?

— Он.

Больше мне рассказать не о чем. За окном идет снег, я опять выйду на улицу, которая полна прозы. Вчера прозы не было, а сегодня она есть, мое сердце вторит ей так же, как снег повторяет очертания веток.

Сегодня я буду бродить долго и бесцельно, поскольку, как я уже говорил, только время, проведенное бесцельно, дает жизни привкус истины. В прошлый раз ноги сами привели меня на кладбище. На могиле Че лежал замерзший букетик цветов, и я знаю, что его принесла Душечка. Она оставила следы на снегу. Следы глубокие, как память. Я долго стоял у могилы Че. Моего друга. А потом я ушел, оставив следы, по которым, если их не занесет снегом, кто-то узнает меня.

Если мне зададут вопрос: что бы ты сказал людям такое, что было бы откровением твоей жизни, назиданием и мудростью? Я бы, наверно, замялся, а потом бы сказал что-то вроде:

— Экономьте сны, побольше бодрствуйте. Нет, не то. Экономьте явь, побольше спите. Нет, не так. Ничего не экономьте. Пусть жизнь проходит, словно песок сквозь пальцы. Вы бьетесь, как карпы на сковородке, но нет ни сковородки, ни карпов. Опять не то.

Я бы ничего им не сказал. Я бы повернулся к ним спиной и, чувствуя позади дыхание легионов, выкинул вперед руку и прокричал в чудовищно красивый горизонт:

— Аве Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!

Те самые деньги

Итак, вы хотели услышать о том, как мне удалось отхватить эту круглую сумму у фирмы «Мэджик интернейшнл компани»? Да, эти деньги стали основой моего бизнеса. Сколько я получил? Такие числа не называют вслух, поскольку, произнесенные, они могут быть услышаны не тем, кем надо; эти цифры поспешно доверяют клочку бумаги и тотчас предъявляют заинтересованному лицу, и только Всевышний может быть свидетелем этого тайного акта. Но сколько бы ни была велика эта сумма, теперь это не имеет ровно никакого значения.

Начну с того, что я был молод и работал в одной из фирм, занимающихся недвижимостью.

— В этом доме есть привидения, — сказал мне старший риэлтер Махмутов, и глаза его, и без того черные, стали еще черней.

— Откуда вы знаете? — спросил я.

— Знаю, — его глаза подсветились потусторонним светом. — Еще ребенком я бегал возле его темных окон, напоминавших пустые глазницы, и моя детская душа замирала от ужаса. Знаю. Так же, как яблоко содержит семена, так же, как река имеет дно, так же этот дом населен привидениями. Но запомни, настоящий риэлтер не должен обращать на такие мелочи внимания. Если тебе поручено продать дом, ты должен его продать, пусть даже это будет обиталище самого дьявола.

Дом этот когда-то принадлежал богатой купеческой семье Афандиных, которая сгинула в пекле Октябрьской революции и не оставила после себя никаких следов. В советские времена здесь размещался военный комиссариат, затем здание было отдано санаторию для туберкулезников, потом еще какие-то недолговечные хозяева ютились в этих некогда роскошных стенах, пока Государственный комитет по имуществу не занес его в список объектов, подлежащих продаже.

И вот я стоял и смотрел на дом, который мне предстояло продать, и думал, что в нем такого особенного, в этом шершавом, трехэтажном строении, обтертом грубыми ветрами городских окраин. Есть местности, которые встречаешь порою во снах. Ты узнаешь их, поскольку когда-то видел, быть может, в прошлых твоих снах, и даже не твоих снах. Но этот дом лежал в стороне от дорог, протоптанных снами. Он был чужд моим прошлым жизням, он не знал меня и не хотел знать.

Я начал замеры площади, начиная с правого крыла здания, что-то подсказывало мне, что дом надо постигать справа налево, так же, как читают листы Корана, ведь именно по этой книге два века подряд сверяли свое земное существование купцы Афандины. На этажах царили тлен и запустение, и поскольку любое запустение имеет свой возраст, этому запустению было лет, наверно, тридцать. Как ни странно, здесь не обнаруживались постыдные следы человеческого присутствия, как бывает в заброшенных домах. Я вспомнил утверждение старшего риэлтера Махмутова о том, что здесь живут привидения, и подумал, что так же считают бомжи, ребята и прочий не обремененный заботами народ, который всегда легко напугать ввиду его излишней доверчивости. Впрочем, эти сумрачные залы, не рождающие эха, тесные, темные коридоры могли напугать и вовсе не робкого посетителя. Но не меня.

В те годы я не имел постоянного жилища и часто ночевал в домах, которые готовил к продаже. У меня был надувной матрац, который умирал каждым утром, но ночью возрождался вновь благодаря силе моих молодых легких. Мои сны были крепче снов других людей, поскольку я еще не искал оправданий жизни, а, как известно, именно желание оправдать свое существование нагружает нас бесконечным чувством вины, которое со временем способно известить любую чуткую душу. Сейчас, по прошествии стольких лет, я склонен думать, что не только отсутствие ночлега оставило меня тогда в доме. А что же? Тайная страсть к приключению? Но я не верил в привидения. Скорее, желание еще раз убедиться в отсутствии потусторонних сил и отчаянная беспешащность молодости заставили меня это сделать. Но вернее было бы сказать, что я почувствовал в этом доме некую тайну, некий скрытый призыв, на который необходимо было откликнуться.

Я расположился в одной из больших комнат в правом крыле здания, опять же мною руководило желание познавать дом справа налево, как пожелтевшую от времени страницу Ко-

рана, строчку за строчкой, комнату за комнатой, ночь за ночью. Как ни странно, мне удалось уснуть сразу же: молодость и привычка менять ночлег сделали свое дело. Но, проспав часа, наверно, два, я внезапно проснулся, словно в предчувствии. В доме стояла тишина, которая была гораздо острее, чем присутствие привидений. Тишина нарастала, проникая во все закоулки сознания, и ничего не было, кроме этой тишины, готовой разразиться чем-то неведомым. Так прошло столько времени, сколько в реальности соответствовало нескольким часам. И когда моя душа была полна этой тишиной, словно темной водой, я слышал шаги.

Шаги доносились из левого крыла здания, и звучали все отчетливей. Я вскочил со своего лежбища и сделал шаг в сторону двери. Сердце, дернувшись, повисло в бездне. Мой взгляд метнулся к окну, где в неправдоподобно красивом изломе застыли ветви акации. Это мгновение было наполнено жизнью как никогда, оно содержало в себе столько жизни, что еще немного, и можно было сойти с ума. Я вышел в коридор и включил свет на этаже. Этаж был пуст.

Я пошел в сторону парадной лестницы, вслушиваясь в каждый звук. Вдруг шаги раздались вновь, но доносились они откуда-то из другого пространства, лежащего под ногами. По темным, вытертым веками ступеням я спустился на нижний этаж, где темнота поглотила меня, словно щепку. Здесь начинался длинный коридор, завершающийся высоким, в человеческий рост окном, пронизанным слабыми лучами лунного света.

Вновь послышались шаги, и я заметил тень, движущуюся ко мне с того конца коридора. Моя рука наугад заметалась по стене и нащупала рычаг рубильника. В следующее мгновение вспыхнул свет, и тень обрела плоть. Это был невысокий человек с седыми кудрями. Он по-прежнему направлялся ко мне, как будто что-то хотел сообщить. Подойдя ко мне, старик остановился.

— Как вы сюда вошли? — спросил я. Это были первые слова, произнесенные мной в этой наполненной бесконечным молчанием ночи.

Он достал из кармана ключ и показал мне.

— Это не тот ключ, — сказал я.

— Это ключ от двери заднего хода, — ответил он. — Обычно я захожу оттуда.

Внешность его была узнаваема по тем признакам, по каким узнаются люди пьющие и не обремененные долгом. Это подчеркивалось еще и тем, что в окне уже угадывался рас-

свет, а, как известно, большинство алкоголиков по натуре соловьи и просыпаются рано, неся в душе непомерную жажду действия.

Я оказался прав в своем предположении. Но не только привычка к ранним прогулкам привела сюда старика. Он был потомком тех самых Афандиных, которым когда-то принадлежал этот дом. По мере разговора выяснилось, что он бывший инженер-электронщик и навещает родовое имение, то ли следуя генной памяти, то ли просто по привычке.

— Наш купеческий род ведет свое начало от купца Абдулкарима Афандина, который и построил этот дом, — рассказывал старик, ведя меня вглубь бесконечных комнат и коридоров. — Он разбогател на производстве азиатской обуви. Его ичиги получали призы на выставках в Париже.

Он достал из внутреннего кармана куртки початую бутылку водки и поставил на подоконник.

— Кроме того, сам русский император брал несколько пар ичиг в дальние поездки, чтобы использовать в качестве подарка, — говоря это, старик достал из другого кармана пластиковый стакан. — Отметим знакомство?

Я отрицательно помотал головой. Во-первых, было очень рано, а во-вторых, моя душа еще не понимала спиртного. Объяснял я это тем, что во мне уже и так достаточно тех бушующих сил, которые отвечают за состояние отчаянной эйфории, вызываемой потреблением алкоголя. Если же мне еще чего-нибудь выпить, то силы алкоголя смешаются с моими бушующими силами, и тогда получится ерш, а любой взрослый знает, что такое ерш.

Старик налил в стакан:

— До неба далеко. До мертвых глубоко. Да пребудем в здравии.

С этими словами он выпил. Его жесты сразу выдавали одинокого человека. Он был насквозь пропитан одиночеством и алкоголем.

Воодушевившись утренней дозой, старик продолжил рассказ о своих предках:

— Сын Абдулкарима Афандина Юсуф унаследовал дом и фамильное дело. Но сын был не похож на отца, кроме товара и денег ничего знать не желавшего. Бывало, что приказчики заставляли его в светлых слезах, поспешно прячущего в ящик стола книгу Виктора Гюго, в то время как была пора составлять финансовые отчеты. К чести Юсуфа, он не разорил состояния отца и даже увеличил годовой оборот. «Так же, как рука сгибается в локте, а нога сгибается в коле-

не, так же до поры до времени должна сгибаться душа», — повторял он, листая страницы с дебетом и кредитом. Однажды, будучи уже в почтенном возрасте, он собрал в конторе своих сыновей и объявил: «Моя душа устала сгибаться, а теперь она желает быть, как есть». После этого Юсуф Афандин никогда больше в конторе не появился. Он с головой ушел в книги. А как-то и вовсе удивил своих домочадцев, начав посещать уроки живописи в русской части города. Его увлечению не суждено было продолжаться долго. Юсуф Афандин внезапно умер. Это произошло в его кабинете, где он пытался рисовать первую в своей жизни картину.

Старик привел меня на верхний этаж, к уходящей вверх лестнице.

— Кстати, эту картину я вам сейчас покажу, — сказал он, поднимаясь по лестнице, — идите за мной.

Мы поднялись на чердак, где навечно обжилась темнота. Старик включил карманный фонарик, и луч, пробежав по щербатой, разохшейся стене, выхватил из темноты картину. При внимательном рассмотрении это оказалось белым полотном, в углу которого угадывались телега, часть ворот и еще что-то из деревенского пейзажа.

— Его неожиданная смерть породила в городе множество слухов. И хотя врач зафиксировал сердечный приступ, поговаривали, что Юсуфа Афандина отравили. А кое-кто утверждал, что покойник мог увидеть у себя в кабинете что-то, повергшее его в ужас. Но был один человек, мулла из соседнего прихода по имени Ахметзян, который предложил свою версию. Подержите, пожалуйста, фонарик.

Я взял у него фонарь. Он принял очередную дозу алкоголя, забрал фонарь и продолжил:

— Как известно, ислам не допускает изображений человека и вообще живых существ. Даже глиняные фигурки барашков, которые продавались в то время на Сенном базаре, имели надрез в области горла, — таким образом подчеркивалось, что у животного душа уже ушла. Мусульманская культура породила множество искусств, где нет изображений дышащих созданий — каллиграфия, орнамент, шамаили.

Что же остается творцу, спросите вы? Скучные движения кисти, бесконечные, однообразные узоры? Но это на первый взгляд.

Рассказывая, старик усиленно жестикулировал обеими руками. Луч фонаря метался по стенам, выхватывая из темноты то кусок стены, то фрагмент незаконченной картины, то лицо старика, искаженное неровной подсветкой и вдохновением:

— Узоры — это движение в тебе небесных сил. Душу Бога можно передать только линиями узоров, а еще музыкой, ведь линии сродни музыке. Но передать душу Бога можно по-разному. Творец творцу рознь. Я вспоминаю одну женщину, с которой постоянно спорил. Она писала плохие стихи. Ничего не могу сделать, как-то сказала она. Мне словно кто-то нашептывает стихи, и я их просто записываю. Вот ведь как несправедливо получается, ответил я. Кому-то Бог нашептывает хорошие стихи, а кому-то плохие. Присутствовавший при нашем разговоре поэт Акмалов сказал вот что. Все мы — дети, пишущие диктант по диктовку учителя. Но одни пишут диктант на два, а другие на пять.

Старик перевел дух.

— Но я совершенно отвлекся. Простите меня за мои рассуждения, но судьба уже давно не посылала мне слушателей. Итак, мы остановились на смерти Юсуфа Афандина.

— Посмотрите внимательно, — он направил луч фонаря на картину. — На заднем плане ворота. Но здесь, возле колеса телеги, косая тень. Это тень человека, которого художник собирался рисовать. А чуть левее вы увидите темный мазок, это, по-видимому, краешек сапога. Что же мы имеем? Художник делает взмах кисти, переходит черту, которую переходить нельзя и тут же падает на пол, сжимая в руке злополучную кисть. Такова версия муллы Ахметзяна.

Тут зазвонил мой мобильник. Старший риэлтер Махмутов вызывал меня в офис.

— Кстати, эту версию поддержали многие жители прихода, — продолжал старик, уже пытаясь догнать меня на парадной лестнице.

Последние слова старик произносил уже на пути к выходу. Он бежал за мной, продолжая свой рассказ, но мне было некогда слушать, поскольку мир денег звал меня к себедыханием холодного сентябрьского утра, наполненного автомобильными гудками, гулом распахиваемых дверей, шелканьем компьютерных клавиш. В этом проносящемся мимо денежном потоке должна быть струйка, которая принадлежит мне и только мне, думал я и мчался навстречу утру, застегивая на ходу портфель и поправляя непослушный галстук.

Старший риэлтер Махмутов сообщил мне о том, что домом заинтересовалась фирма «Мэджик интернейшнл компани».

— Не упусти клиента, — сказал он, опять сверкнув своими черными глазами. — И смотри, не сболтни, что там есть привидения.

Я не собирался упускать клиента и в тот же день вернул-

ся в дом, чтобы продолжить работу. Требовалось ввести множество исправлений в план здания, поскольку он изменился так же, как изменяется человек по сравнению со своей фотографией тридцатилетней давности. Я переходил в очередную комнату, производил замер площади, и легким щелчком по клавишам калькулятора свершал неслыханное превращение: таинственный, сквозящий тенями бывших хозяев мир преображался в метры, которые, в свою очередь, превращались в рубли. Вы хотите знать, почему небеса простили мне это святотатство? Я был молод, а с молодых, как известно, спрос за содеянное невелик.

Около полуночи я накачал свой надувной матрас и лег спать в комнате, где производил последние замеры. Усталость дала о себе знать, и мой сон был крепок. Ближе к рассвету мне приснился сон, будто бы старик трясет меня за плечо, пытаясь разбудить. Я проснулся. Передо мной и впрямь сидел тот, которого я видел только что во сне.

— Это кабинет Юсуфа Афандина, — сказал он. — Ты спишь на том месте, где купец, раскатывая свой коврик, свершал намаз. Ты знал это?

— Нет, — сказал я.

— Значит, дом принимает тебя, и что-то хочет сказать.

— Что именно?

— Не знаю.

В тот рассвет старик опять повел меня по комнатам, продолжая свой рассказ и время от времени прикладываясь к бутылке.

— Это особое место, — сказал он, вводя меня в просторный, с очень высоким потолком зал. — Над нашей головой был когда-то потолок, который обрушился, раздавив под собой человека. Посмотри, видишь два ряда окон, — два этажа однажды сошлись в один. Чтобы рассказать о том, что здесь произошло, надо начать издалека.

Юсуф Афандин имел шестерых детей, пятеро из них пошли по купеческой линии и нам совершенно не интересны. Нам интересен шестой — Хади Афандин, который стал муллой. Он принадлежал к той части священнослужителей, которых называли джадидами. Надо сказать, что таких мулл татарская часть города еще не знала. Подойди сюда.

Старик указал на невнятную надпись в углу. Приглядевшись, я узнал три буквы постыдного слова, которые проступали сквозь слой краски.

— Надписи более ста лет и автор ее известен, — старик провел рукой по драгоценной фреске. — Хади Афандин на-

царапал это перочинным ножом в девятилетнем возрасте, стоя в углу, куда его поставил гувернер-немец.

— Но это похабно, — сказал я.

— Это считалось бы похабным в мещанской среде. Но Хади Афандин принадлежал к высшим кругам татарской знати, где подобный поступок считался неслыханным и скорее являлся даже вызовом обществу. По своей сути он был бунтарь и романтик. И эта неукротимая, мятущаяся душа однажды была укрощена чалмой и зеленым чапаном муллы. Но, даже будучи благонравным священнослужителем, он мог всех удивить неожиданным поступком. В одной из газет тех лет рассказывается о происшествии, которое потрясло мусульман города. Сегодняшним утром, сообщил автор газетной заметки, почтенный Хади-хазрет появился на улице Тихвинской в странной компании. Он прошествовал из конца в конец улицы в сопровождении свиньи, которую держал на поводке, подобно псу. Это шествие сопровождалось возмущенными возгласами жителей улицы, ведь всем известно, что мусульманская религия весьма неодобрительно относится к этому животному. Несмотря на всеобщее недовольство, Хади-хазрет был преисполнен решимости и вид имел гордый и независимый. Что мог означать данный поступок?

Старик вопросительно уставился на меня.

— Очередное хулиганство, — ответил я.

— Так тогда посчитали многие и порвали с ним отношения. Но чтобы понять поступок Хади-хазрета, надо знать, в какое время происходили эти события. Дело в том, что накануне на Тихвинской улице были открыты сразу несколько питейных заведений. Татары дорвались до водки и пьянствовали от души. Кроме того, теперь не считалось зазорным посещать дома терпимости на улице Мокрой, там видели даже почтенных отцов семейств. Хулиганская выходка Хади-хазрета имел весьма определенный смысл. Что мы имеем? Пьянство, разврат, ложь. При этом и речи нет о том, что подрываются основы веры. Но вот на улице появляется человек с безобидным животным на поводке, и все уверены, что мир катится в преисподнюю. А кто громче всех возмущается и плюет вслед нарушителю спокойствия? Потребители водки и тайные посетители борделей. Может сложиться впечатление, что в характере Хади присутствовала известная доля презрения. Это не так. Я представляю, как он выходит на улицу Тихвинскую, держа на поводке недозволенное животное. Он щурится на солнце, знает свою правоту и вцепляется в это мгновение всей неизбывной силой своей жизни. Он знает цену

мгновения, он еще молод. Свиныя пытается утащить его в соседний двор, но он одергивает ее и идет дальше по Тихвинской. Вот возле забора стоят благоверные мусульмане, их повадки внушают уважение, их лица изъедены временем и мудростью, они вбирают время как приевшуюся еду. Они заглотят десяток, два десятка лет, пожуют и сплюнут за ненужностью. Но Хади на них не похож. Он поперхнется часом, минутой, секундой, у него перехватывает дыхание от мгновения, происходящего сейчас, в его руке горячий, дергающийся поводок. Он любит это небо над головой, любит этих по-детски наивных людей, а так любить нельзя, поскольку подобная любовь в итоге становится односторонней.

Старик запыхался и замолчал, словно заблудившись. Затем налил в стакан и тут же залпом выпил.

— Я опять увлекся, вернемся в наш дом, — продолжил он после некоторой паузы.

Во время Гражданской войны в доме хозяйничали большевики. Эту комнату, где мы сейчас находимся, отдали комиссару Магди Гафарову. Магди Гафаров, сын профессора, был детским другом Хади Афандина, и это неудивительно, поскольку они были чем-то похожи. Порой мальчики сходились в рукопашных схватках, и победителем выходил тот, кому в тот день везло больше.

Говорят, под кожаным комиссарским плащом Магди Гафаров носил саблю, которая досталась ему от его отчаянных предков, кипчакских князей из рода Ашина. Об этой сабле рассказывали многое. «В полнолуние поймай на сабле отражение луны, — гласило поверье, — взмахни саблей так, чтобы луна скользнула по лезвию от рукояти до самого острия и громко назови имя своего врага. Когда в следующее полнолуние ты опять поймаешь на сабле отражение луны, будь уверен — твой враг мертв».

Был самый разгар Гражданской войны, и город несколько раз переходил от красных к белым и обратно. В один из зимних дней девятнадцатого года несколько вооруженных красных матросов ворвались в мечеть, где шла служба, и под неодобрительные возгласы прихожан забрали с собой муллу в качестве заложника. Им оказался Хади Афандин. Подобная тактика большевиков была отчаянна и нелепа: белые продолжали наступление и, разумеется, жизнь рядового муллы не бралась в расчет. Что же делать с заложником? — встал вопрос перед отступающими красными.

Известно, что расстрелял заложника сам Магди Гафаров. Говорят, приведя приговор в исполнение, он явился в штаб

армии, выпил два стакана водки и тут же уснул. Проснувшись ночью, он плакал, а затем несколько раз выходил на двор, ловил отражение луны на своей сабле и громко произносил чьи-то имена. Кое-кто утверждал, что среди них проскользнуло несколько имен известных красных командиров. Следующим же утром произошло событие, о котором долго не мог забыть весь город. Магди Гафаров был погребен заживо под внезапно обрушившимся потолком в одной из комнат дома Афандиных, где как я уже говорил, располагался штаб армии. Это произошло на глазах его бойцов, которые находились в соседней комнате и получали указания от своего комиссара через открытую настежь дверь.

Посмотри внимательно, мы находимся в комнате, где погиб Магди Гафаров, — старик сделал пространный жест рукой. — Над нами когда-то был потолок.

Это событие опять же породило множество споров. Одни говорили, что этажом выше была заложена бомба, которая разорвалась в нужный момент. Но проверить это уже не было возможности, поскольку красные поспешно отступали. Другие говорили, что потолок провалился под тяжестью привидения Хади Афандина, ведь известно, что любое привидение обладает наибольшей тяжестью на следующее утро после собственного рождения, лишь со временем оно легчает, и вес его сходит на нет.

Большинство верующих узрело в гибели красного комиссара высшую волю. Однако нашелся один горожанин, а точнее дворник с улицы Овражной, который утверждал, что видел, как был убит Хади-хазрет. Он рассказал, что Магди Гафаров не смог стрелять в друга детства, а предложил ему сыграть в русскую рулетку. И небеса выбрали, кому умереть сейчас, а кому позже. Следует сказать, что мало кто поверил этому дворнику с улицы Овражной.

Старик помолчал. Очевидно, его утомил столь длинный монолог. Он завершил речь после паузы, сопровождавшейся очередной процедурой принятия алкоголя.

— Через несколько поколений уже никто не знал ни Хади-хазрета, ни Магди Гафарова. Люди вообще мало что помнят, тем более в наши дни. Воспоминания вредны, они могут отнять у тебя ту часть души, которая отвечает за деньги, а это грозит сам знаешь чем. Не зря еще во времена Абдулкарима Афандина говорили: «Деньги не Бог, но полбога есть».

Пройдет еще несколько недель, прежде чем моя душа обрушится, словно потолок на голову красного комиссара, и я по-

лучу крупную сумму от «Мэджик Интернейшнл Компани». Но пока события развивались так, как это обычно происходит в нашем бизнесе. Я хорошо помню день, когда мы обходили комнаты здания вместе с представителем «Мэджик Интернейшнл Компани», который совался во все углы и сверял каждый сантиметр площади. Его служебное рвение меня ничуть не раздражало, поскольку вопрос о покупке здания был уже решен.

В комнате, которая, по словам старика, служила кабинетом Юсуфу Афандину, представитель фирмы был особенно старателен. «А включили ли вы в площадь комнаты площадь подоконника?», — спросил он меня, стоя на фоне окна, точно в старинном обрамлении. «Разумеется», — ответил я, пометая в своем блокноте еще одну комнату. Он по-прежнему стоял на фоне окна и что-то говорил, когда мне в голову пришла одна странная мысль, которая тут же побудила меня к действию. Я принялся рисовать его в своем блокноте, шариковой ручкой, стараясь передать общий очерк его фигуры в сквозящем из окна свете. Сердце мое билось быстрее обычного, я рисовал человека там, где человека рисовать нельзя, ведь именно за это поплатился жизнью Юсуф Афандин.

Я завершил свой набросок, и ничего не произошло.

И вот мы перешли в комнату, где однажды два этажа сошлись в один. Здесь представитель был вовсе неистов. Он потребовал план здания и долго пересчитывал на своем калькуляторе бесконечные цифры. Я смотрел на него, склонившегося над развернутыми листами, и думал: а что будет, если убить его здесь, в этой комнате? Обрушится ли на меня после этого потолок так же, как когда-то обрушился он на Магди Гафарова? Какая только чушь не придет в голову, сказал я тогда себе, но какой-то пробудившейся частью сознания подозревал, что случись оно так, потолок остался бы на месте.

Вспоминая это сейчас, я склонен думать, что ум мой был полон игры, и не понимал еще дом в полной мере. Настоящему пониманию, тому пониманию, где бездны сменяют друг друга, точно дни и ночи, предстояло прийти. Но предчувствие этого понимания уже присутствовало во мне, словно учащающееся сердцебиение.

На этот раз я не спал и ждал прихода старика. Я лежал на своем надувном матрасе и глядел в потолок, куда уже проникли первые рассветные лучи. Наконец, раздались его шаги в коридоре, и он вошел, внося запах алкоголя и одиночества.

— Это было еще в древности, — так старик начал речь на этот раз. — Во времена кровавых сражений...

Старик закашлялся, затем сел на пол и прислонился к стене:
— Жители города по ночам разжигали большие костры. Это действие имело определенную цель — привлечь сбившихся с пути своих воинов. Если же воины не возвращались, то пепел от костров использовался для того, чтобы обильно посыпать им голову, а затем сдаться на милость врага. Жители города были патриотами и прагматиками.

В двадцатые же годы уставшие от войны горожане, обильно посыпав голову пеплом, смирились с Советами, чьей милости доверять было опасно. Однако сын Хади Афандина — Хаммат — пользовался благосклонностью новой власти, несмотря на чуждое происхождение. Он слыл перспективным ученым-физиком и прославился тем, что изготовил весы, которые отличались очень высокой точностью измерений. Говорят, на этих весах Хаммат Афандин однажды взвесил ангела. Вес ангела, утверждал он, составляет 0,00000286 грамма. Все это говорит в его пользу, поскольку не во всякую лабораторию забредают ангелы и тем более дают себя взвесить. (Кстати, тот ангел, который дал себя взвесить, еще появится в моем рассказе.)

Ко всему прочему молодой ученый утверждал, что ведет работы над тем, чтобы взвесить человеческую душу. Ко всем этим опытам неодобрительно относились в татарской части города, где религиозные предрассудки были весьма еще сильны. Тем более что Хаммат Афандин происходил из семьи священнослужителя. Но чашу терпения мусульман переполнил брак Хаммата с русской девушкой Полиной Вересовой. «Предатель! Позоришь память отца!» — неслоь вслед молодому человеку, когда тот проходил по набережной под ручку с юной женой.

Что касается Полины Вересовой, о ней ничего не известно, кроме того, что кожа ее была столь нежна, что чувствовала дуновение потустороннего ветра. Очевидно, страсть Хаммата к сверхчувствительным приборам и привела его к этой девушке, но тогда он вряд ли это осознавал, а слепо шел на поводу неизведанных чувств. Любил ли он ее? Будучи по натуре скрытным, прямо на этот вопрос он никогда бы не ответил. В дневниках Хаммата Афандина среди записей того периода можно прочесть следующее:

«Природа заботится о выживании человека. Ему дан страх смерти, чтобы он себя не уничтожил. Ему дана плотская радость, чтобы он размножался. Но этого мало для того, чтобы он выжил. Главное, что ему дано, — это ощущение в мире красоты, которое поддерживается женщиной. Женщина каждое мгновение спасает умирающий мир».

Из этих строк мы можем сделать вывод, что Полина Вересова была красива. На это указывает еще одна запись.

«Нам приедаются один и тот же пейзаж, среда, люди. Приедаются так, что мы уже не обращаем на это внимания, и жизнь течет сквозь нас, как вода сквозь решето. Но вот нам встречается новое лицо, новая эстетика, и мы преобразуемся, и любое мгновение теперь на вес тяжелее всей предыдущей жизни».

Я подозреваю, что именно красота девушки и раздражала мусульман-ортодоксов, которые в глубине души были жестоко обижены тем, что им эта красота не досталась. И даже будучи уже беременной, проходя через Сенной базар, она ловила на себе недоброжелательные взгляды торговцев. Однажды в рядах, где продают кожи, к ней обратился нищий. Как назло, у Полины не оказалось мелочи. Нищего это оскорбило. Он посмотрел на нее глазами, которые могут видеть через годы, и сказал: «Камень никогда не станет водой, вода никогда не станет камнем, а тебе никогда не видеть своих детей».

«На меня наслали проклятие!» — восклицала она в слезах, рассказывая об этом случае мужу. «Не верь им, — успокаивал ее Хаммат, — их глаза только кажутся мудрыми. На самом деле за этими глазами только годы, а за годами только опыт, который никому не нужен, а им самим некуда его девать».

Между тем опыты Хаммата Афандина с высокоточными приборами продолжались, и однажды он заявил, что может взвесить человеческую душу. «Хотя пока я не могу назвать ее точного веса, — добавлял он. — Чтобы вывести среднее значение, мне надо взвесить, по крайней мере, тысячу душ». В его лаборатории постоянно толпились люди, большинство которых были студенты, увлеченные этими смелыми опытами, и потому позволявшие взвесить собственную душу.

Как-то поздним вечером в его лабораторию зашла Полина. «Пойдем домой, нельзя так истязать себя работой», — уговаривала его она. «Подожди, — сказал Хаммат, — я взвешу твою душу. Встань здесь и не двигайся». «Долго еще? Я устала». Хаммат смотрел на стрелку весов: «Удивительно. Весы показывают наличие трех душ». Это означало, что, кроме души Полины Вересовой, весы уловили души двух ее будущих детей.

Так они узнали, что у них будут близнецы.

Я забыл сказать, что им пока еще разрешалось жить в родовом гнезде Афандиных, до передачи здания государству оставалось пару лет. Никто не может сказать, в какой из

комнат происходили роды. Точно известно лишь одно: роды были очень тяжелыми, и мать не удалось спасти. Не удалось спасти и одного из близнецов. Говорят, на дворе стояла суровая зима. Мела ужасная метель. Ждали врача, сани которого, как выяснилось, завязли в высоком сугробе, и ему пришлось добираться пешком. Хади Афандин выбегал во двор и выглядывал во вьюге очертания помощи. Он не чувствовал холода, напротив, он был столь разгорячен, что плавил тротуарный лед, а вблизи него собирались бездомные собаки, как собираются они у теплотрасс.

Когда все кончилось и Полина Вересова, так никогда и не увидевшая своих детей, лежала, накрытая белой простыней, в одной из комнат (а за окном мела все та же ужасная метель), Хаммат Афандин взял на руки спасенного ребенка. На какое-то мгновение ему стало жутко от огромности окружающего его мира. Но, ощутив на руках теплую тяжесть новорожденного, он сказал себе:

«Принимаю все как есть, приму, сколько положено, и еще больше».

И тут он заметил, что вокруг него летает ангел. Тот самый ангел, который дал себя взвесить.

— Больше мне не о чем тебе рассказать, — этими словами старик закончил свое повествование.

— Что стало с Хамматом Афандином? — спросил я.

— Судьба отвела ему на земле ровно столько времени, сколько надо для того, чтобы вырастить и поставить на ноги сына. Хаммата Афандина расстреляли в тридцать седьмом, у таких, как он, в те годы шансов выжить не было.

— А что стало с сыном?

— Он перед тобой.

Мы долго слушали, как за окном бродит неприкаянный холодный ветер.

— Близнецы очень чувствительны друг к другу, — продолжил старик через некоторое время. — Они повторяют друг друга не только внешне. Бывает так, что один ест яблоко, другой же, находясь на другом краю Земли и не видавший брата много лет, внезапно испытывает желание съесть яблоко и не понимает, отчего это. Они — две половины одного целого. Мне кажется, что моя судьба не сложилась оттого, что у меня отняли половину.

— Почему вы считаете, что ваша судьба не сложилась? — я надеялся, что старик продолжит свой рассказ.

— Это уже неинтересно. История рода прерывается на

том моменте, когда я был рожден. А рассказывать о своей жизни — это ужасно скучное занятие. Прощай.

Старик вышел из комнаты и заковылял по коридору. Затем я увидел его в окне, удаляющегося по улице, пьяного и одинокого, обдуваемого жуткими ветрами Вселенной.

Впоследствии я тысячу раз клял себя за то, что не взял его адреса, поскольку все рассказанное стариком не оставляло меня и будоражило все больше. Я чувствовал, что во всей этой череде историй есть некая глубинная связь, и события здесь нанизаны на единую основу, словно мясо на вертел.

Почему старик, поначалу такой словоохотливый, не захотел говорить о своей жизни? Тогда я не мог ответить на этот вопрос, но сейчас, по прошествии лет, я склонен думать, что старик, по всей видимости, вел литературные записи. Он обладал тем писательским даром, который заставляет с воодушевлением окунаться в чужую жизнь, недоступную и таинственную, и совершенно немеет перед жизнью собственной, постылой, знакомой вдоль и поперек.

Но уже тогда я понял, что всему рассказанному стариком верить нельзя, почувствовав здесь плохо скрываемую игру воображения. Следовало отделить реальность от вымысла, и от этой реальности уже вести отчет. Итак, что мы имеем? Есть три события, которые произошли в разные периоды времени в одном доме и привели к смерти одного из участников.

Событие 1. Художник, рисуя картину, падает, сраженный сердечным приступом.

Событие 2. Красный комиссар, убивший священнослужителя, погибает под обрушившимся потолком.

Событие 3. Женщина умирает при родах, и спасти удастся лишь одного из близнецов.

Что общего между этими событиями? Мне не хотелось верить в религиозную подоплеку этих странных смертей.

В доме я уже больше не ночевал, но каждый день приходил сюда и ходил из комнаты в комнату, пытаюсь разгоряченным умом зацепиться хоть за какой-то выступ или угол, на который можно опереться и построить знание, которое бы меня успокоило. Наверно, это было сродни небольшому умопомешательству. Мои путешествия по зданию продолжались в снах, я брел в знакомых и незнакомых пространствах и, наконец, приходил в самую главную комнату, которая и являлась конечной точкой исканий, разгадкой ребуса. Но,

проснувшись, я опять впадал в отчаяние, поскольку образы снов мне ни о чем не говорили.

Между тем в здании начался ремонт, фирма «Мэджик Интернейшнл Компани» готовилась к переезду. На этажах, распугав последние привидения, круглосуточно стучали молотки и завывали электродрели. Старик здесь больше не появился, и я опять клял себя за то, что, имея к нему тысячу вопросов, не знаю, где его искать.

Прошло несколько недель, прежде чем мой взволнованный разум успокоился, и мне удалось выбросить этот треклятый дом из головы. Я получил процент от сделки, купил дорогой костюм и мечтал о собственном бизнесе. Новые сделки сыпались со всех сторон, и уже было некогда вспоминать о прошлых переживаниях. Но дом не хотел отпускать меня и однажды напомнил о себе самым неожиданным образом.

Сейчас я не могу сказать, в каком из зданий это произошло, тем более, что это не имеет значения. Я вел переговоры с очередным покупателем, когда по инерции подошел к окну. Была поздняя осень, и, несмотря на то, что час был непоздний, уже сгустились сумерки. В соседнем здании загорелись окна. Я разглядел ряд картин, висящих на стене. По всей видимости, это была художественная галерея. И хотя дальность расстояния не позволяла увидеть изображение отчетливо, одна из картин привлекла мое внимание. Я смотрел на нее и чувствовал, как во мне оживает мое умопомешательство.

— Куда же вы? — крикнул мне покупатель. — Вы не ска-
зали, сколько стоит один квадратный метр!

Но я его уже не слышал, поскольку сбегал вниз по лестнице, перепрыгивая через несколько ступенек. Затем я переходил через улицу, покупал входной билет, и сердцебиение нарастало одновременно с предчувствием.

И вот я стою перед картиной, которая называется «Деревенский пейзаж». Телега, ворота, забор, чуть поодаль — колодец, на дальнем плане — поле, скирды соломы. Ничего особенного. Но почему меня бросает то в жар, то в холод, а душа готова выскочить? Потому что часть этого полотна я видел прежде, а именно на чердаке дома Афандиных. И если тогда я видел нечто художником не законченное, то сейчас передо мной было завершенное произведение.

И еще: на картине никаким образом не присутствовал человек. Что же касается тени, которую старик принял за человеческую, то эта была тень от столба для сушки белья.

Автором полотна был известный русский художник середины девятнадцатого века. Я обратился к работникам галереи и узнал, что картина была конфискована у семьи Афандиных во время национализации их собственности. После недолгих размышлений я пришел к единственно верному выводу: *Юсуф Афандин перед своей смертью делал копию с картины, которая висела в его кабинете.* Очевидно, старик, рассказывая о смерти своего прадеда, этих подробностей не знал, и привел версии, которые были удобны его творческому воображению.

Описанное происшествие и сдвинуло дело с мертвой точки. Меня уже нельзя было остановить, и я чувствовал, что разгадка близка.

Итак, обнаружилась очевидная связь между событием 1 и событием 3: в первом случае художник делает копию картины, во втором случае женщина пытается произвести на свет близнецов.

Я понял, что событие 3 было ниспослано мне в явном виде, оно являлось ключом к разгадке, правилом, по которому играют. Суть же события 1 изначально была сокрыта, но, обнаруженная, она тут же подтвердила правило, заданное событием 3.

Но это были пока только предположения. Что могло подтвердить их? Только событие 2, а точнее, скрытая суть происшествия с красным комиссаром.

Далее я рассуждал так. Если смерть комиссара имела место, вполне уместны подозрения, что это убийство. Следовательно, должно быть заведено дело, красные, как бы они ни презирали старый мир, вели делопроизводство. Поэтому в итоге я оказался в Национальном архиве. Чтобы найти документы, связанные со смертью Магди Гафарова, мне понадобилось несколько дней. Наконец, я держал в руках протоколы опроса свидетелей происшествия. Как выяснилось, красноармейцы Гиниятов и Лозовой стояли в соседней комнате и разговаривали с комиссаром через открытую настежь дверь. Диалог приводился довольно подробно, но мне надо было знать, что сказал Магди Гафаров, прежде чем был погребен под тоннами камня.

— Никто не может нарушать революционную законность, будь то боец или командир! — отчеканил комиссар. — Ясно? Повторяю. Никто не может нарушать...

Свидетели утверждали, что *потолок обрушился именно на повторе фразы.*

Я выскочил на улицу, чтобы глотнуть свежего воздуха. Мне впервые в жизни было по-настоящему страшно. Бездны неслись сквозь меня, сменяя друг друга, словно спицы чудовищного колеса.

Через некоторое время я осознал себя идущим в сторону дома Афандиных. Но вряд ли это было слепое повиновение странному позыву, по всей видимости, я уже предчувствовал финал моей внутренней драмы, и где же ему быть, как не там, где все это началось? Круг должен был замкнуться, камень, брошенный в небо, должен был упасть обратно на землю.

Полагаю, что, кроме всего прочего, в этом порыве присутствовала моя природная склонность к риску. Если вы помните, я уже совершал в доме некое подобие эксперимента, рисуя человека там, где, как предполагалось, его рисовать нельзя. Быть может, на этот раз мне опять хотелось испытать судьбу, переступая недозволенную черту?

Войдя в здание, я попал на праздник. Фирма «Мэджик Интернейшнл Компани» отмечала новоселье и открытие нового филиала. Дом после евроремонта изменился до неузнаваемости, здесь не было и следа того старого дома, где воздух сквозил тенями прошлого, и это разительное несходство дополнялось множеством вездесущих людей в галстуках, дежурно улыбающихся и листающих красочные проспекты.

Я бродил с этажа на этаж, задавая себе вопрос: а что я здесь делаю, на чужом празднике, бледный, словно привидение одного из бывших хозяев? Наверно, и впрямь мое лицо имело потусторонний отсвет, так как девушка, разносящая напитки, вдруг отшатнувшись от меня, уронила поднос.

Наконец я очутился в зале, где происходило основное действие.

— Так же, как в новый дом пускают кота, — говорил ведущий, — так же мы сегодня запускаем в производство аппарат нашей фирмы. Пожалуйста, распакуйте аппарат. Право первого включения предоставляется нашему гостю, вице-президенту компании мистеру Линчу!

Высокий гость прошествовал к аппарату и сказал речь, которая завершилась словами:

— ...самая надежная в мире машина.

Он занес палец над кнопкой. И тут пришла моя очередь.

— Ваши аппараты — дерьмо, — сказал я.

Наступила тишина. От меня отшатнулись те, кто стоял рядом.

— Аппарат не сработает. Ставлю пятьсот долларов, — я глядел вице-президенту прямо в глаза.

Он холодно усмехнулся, поставил на кон сумму, при произнесении которой перехватило дыхание у всех присутствующих, и нажал на кнопку.

Его не хватил сердечный приступ. На него не обрушился потолок. И вообще, он остался на ногах, ничуть не изменяясь в лице.

Но копировальный аппарат не выдал копии.

Так я и получил эти шальные деньги, ведь вы хотели услышать рассказ именно о деньгах, не так ли?

Вспоминая эту историю, я опять шаг за шагом переживаю случившееся. Меня долго мучил вопрос: правильно ли я оценил тогда события, верна ли была логическая цепь, приведшая меня к выводу, да и верен ли был сам вывод?

Сегодня я уверен, что однозначно ответить на этот вопрос нельзя.

После того случая копировальные аппараты в здании работали исправно. Возможно, отказ аппарата произошел вследствие соприкосновения двух противоположных миров: нового — шумного, щелкающего, мерцающего экранами мониторов, и старого — тихого, наполненного шорохом шагов ушедших хозяев.

Но, повторяю, мое тогдашнее (да и нынешнее) толкование реальности может быть вовсе неверным. Однако деньги, полученные мной, были реальны, и мне казалось неважным, где здесь истина, поскольку деньги в кармане — вот истина, с которой не спорят.

Что же касается старика, я его больше никогда не видел. Порой он приходит в мои сны и о чем-то рассказывает мне, но о чем этот разговор, я, проснувшись, не могу вспомнить. Это и ни к чему, иногда суть разговора не имеет значения.

Как и в разговоре, который зовется Жизнь. Мы не задумываемся о том, что ведем постоянный разговор с Всевышним. На каком же языке? — спросите вы. На языке событий. Он говорит с нами посредством событий, в которые нас вовлекает и которые мы принимаем за судьбу. А мы отвечаем Ему ни чем иным, как нашими поступками — правильными и безрассудными, мы отвечаем музыкой, линиями на бумаге, следами на снегу, движениями нашего тела, желающего жить.

Но если есть разговор, — спросите вы, — о чем же он?

Ни о чем.

Но в нем, этом разговоре, столько небесных оттенков, что порой просто дух захватывает.

Опыт предательства

Его разбудили шаги птицы. Сквозь уходящий сон он отчетливо слышал, как птица ходит по подоконнику, затем где-то над головой, по крыше, и совсем близко, у самого стола, заваленного отчетами.

Но это была не птица. Некто человеческого рода сидел за его столом и щелкал по клавишам компьютера. Клавиши под его быстрыми пальцами издавали звук, напоминающий шаги убегающей вдаль птицы.

Роберт потянулся к телефонной трубке, чтобы вызвать полицию.

— Не надо этого делать, — сказал незнакомец. — Давай-те познакомимся. Полковник Гресси.

Роберт лежал в своей постели и молча смотрел на полковника, который вышел из-за стола и начал прохаживаться из угла в угол по гостиничному номеру.

— Кто вам позволил проверять мою электронную почту? — резко спросил Роберт и тут же почувствовал, как пары вчерашнего алкоголя восходят в нем вместе с раздражением.

— Я не смотрел вашу почту, — голос полковника был невозмутим. — Я выходил на нужный мне сайт. Мне не хотелось проводить время бесцельно, дожидаясь вашего пробуждения. Всякое время надо проводить с пользой. Как вы считаете?

— Никак.

— Люди порой безжалостны по отношению ко времени, — продолжал полковник. — Они тратят его впустую, всю жизнь занимаются не своим делом, изматывают себя бесстыдными развлечениями. Но время гораздо безжалостней по отношению к людям. Румяных, розовощеких юношей оно превращает в жалких, кряхтящих старцев. Вы согласны со мной?

Роберт пошарил рукой в кровати возле себя и вспомнил прошедшую ночь.

— Со мной была женщина. Где она?

— Я выгнал ее пинком под зад, — полковник Гресси по-

прежнему прохаживался из угла в угол. В его голосе появились правоучительные интонации. — Вы слишком неразборчивы в связях. Я знаю эту девку, вы подобрали ее на улице. Хотите я дам вам адрес борделя, где вы переплатите десять долларов, но получите проститутку гораздо более приличную, чем эта.

— Что вам угодно?

— Хорошо, — полковник Гресси сел за стол. — Начнем с того, что я знаю о вас очень много.

— Что вы знаете? Вы думаете, можно что-то знать?

Полковник вдруг посмотрел ему прямо в глаза, и Роберт ощутил весь неуют земного существования.

— Знаю, — взгляд полковника был бесстрастен. — Знаю, например, про тоску, которую вы возите с собой, словно багаж, из одного аэропорта в другой. Вы хотите оставить ее, словно ненужную поклажу, но это невозможно. Куда бы вы ни приехали, будь то одна из столиц мира или гнилое захолустье, ваша тоска прибывает туда раньше вас. Эта тоска более подвижна, чем привидения, которые привязаны к одной территории. Вы думаете, она исчезла, и вздыхаете с облегчением, но глядишь — она затаилась под ближайшей пальмой, и вы опять понимаете, что вам от нее никуда не деться. Вы стараетесь забыться в объятиях уличной проститутки, но это не дает вам облегчения.

Роберт вскочил и оделся:

— Так можно говорить бесконечно и каждому.

— Просто я пожил немного больше вас, и это дает мне право рассуждать, — полковнику нравилось, что его собеседник занервничал.

— Короче. Говорите, что вам угодно или убирайтесь вон, — Роберт стоял перед полковником, сжав кулаки.

— Молчать! — голос полковника стал жестким, давая понять, кто здесь хозяин. — Сядьте.

Роберт сел, повинувшись этой повелительной интонации. Но тут же ощутил неловкость перед самим собой. Почему он подчиняется этому казарменному деятелю, точно солдат-новобранец?

— У меня к вам конкретное предложение, — полковник сменил тон на доверительный.

— Мне не нужно от вас никаких предложений.

— Слушайте. Нам известно, что с вами хотят связаться представители общества Длинного Меча. Возможно, это произойдет в ближайшие дни. От вас требуется одно. Когда вам сообщат место встречи, вы позвоните мне по этому телефону.

Полковник положил на стол визитную карточку. Роберт усмехнулся:

— Это исключено. Вы что, считаете, что я могу быть стукачом? И почему я должен помогать в том, чтобы упечь за решетку горстку молодых людей, которые жаждут свободы? Более того, я знаю, что попади они вам в лапы, их ждет только одно — смерть.

— Да. Но мы охраняем порядок в нашей стране.

— Порядок? Этот античеловеческий, диктаторский режим вы называете порядком? Да ваш народ стонет от всего этого.

— Спокойней. Откуда вы знаете, что нужно народу? Быть может, народу свобода-то и не нужна? Предположим, вдруг наступит день, когда не будет нашего режима. Уверяю вас, большинство затоскует о сильной руке. Народ — он устроен просто. Его надо вести. Если он разбредается, тут-то и начинаются все беды. Поэтому лучше уничтожить несколько возмутителей спокойствия сейчас, чем допустить гражданскую войну, когда погибнут тысячи и тысячи.

— Я не собираюсь с вами философствовать. Тем более что у меня нет времени. Через десять минут у меня телефонный разговор с главным офисом нашей фирмы. Прошу вас, покиньте мою комнату.

— Стоп, — полковник сделал властный жест рукой. — Сядьте. Вы что, думаете, мы позволим вашей фирме работать в нашей стране за просто так?

— Но мы уже заплатили кому следует.

— Этого мало. Вы еще не договорились с нашим ведомством. Надеюсь, вы поняли? Вы помогаете нам и будьте спокойны за свой бизнес на многие годы вперед. Я думаю, вы будете благоразумны. Вы — представитель всемирно известной корпорации в нашей стране, и у вас прекрасные перспективы. Кроме того, у меня есть еще один аргумент. Вы — человек дела и знаете, что любое действие имеет денежное выражение. Я предлагаю вам за вашу помощь...

Полковник начеркал на листке бумаге несколько цифр.

— Идет?

Роберт молчал.

— Подумайте. У вас есть на это время.

После ухода полковника Роберт вышел на балкон. Отель находился на вершине холма, и отсюда город был виден как на ладони. Над улицами стоял утренний смог, и в этом было нечто жуткое — темная пелена выхлопных газов, подсве-

ченная утренними лучами — точно ответ потустороннего мира.

— Надо же, — сказал он вдруг, словно стараясь собрать воедино разбредшиеся мысли. — Моему жизненному опыту не хватало только опыта предательства...

Он вытер пот со лба. Уже подступала невыносимая жара, к которой он никак не мог привыкнуть.

Представители общества Длинного Меча связались с ним через пару дней, прислав в его номер разносчика цветов.

— С вами хотят встретиться, мистер, — сказал темнокожий мальчишка. — Ресторан отеля «Виктория», сегодня в пять.

Сказав это, он исчез, как исчезает птица в облаках городского смога.

Роберт лег на кровать и долго лежал, уставившись в потолок. Прямо над ним висел вентилятор, лопасти его рождали ветер. Ветер стоял в комнате и никуда не уходил, закрытый в четырех стенах.

Роберт снял телефонную трубку и набрал номер полковника.

— Сегодня в пять, ресторан отеля «Виктория».

— Очень хорошо, — голос полковника был бесстрастен, как в прошлую их встречу.

— Надеюсь, теперь я вам больше не понадоблюсь?

— Вы должны пойти на эту встречу.

— Нет.

— Иначе как мы их узнаем? Они должны подойти именно к вам.

— Я же сказал нет.

— Будьте благоразумны. Иначе считайте, что мы не договорились.

Роберт молчал. Он чувствовал, что весь взмок. Каждая пора его тела рождала пот, вентилятор под потолком рождал ветер, который сушил этот пот, тело словно соревновалось с вентилятором, кто кого.

— Хорошо, — наконец сказал он. — Я пойду туда. Но обещанную мне сумму умножьте на три.

— Вы создаете нам некоторые неудобства, но считайте, что дело улажено. Смотрите не опоздайте.

Роберт шел по направлению к отелю «Виктория». Это была улица для туристов. Уличные музыканты, бродячие живописцы, продавцы сувениров. Воздух наполнен жаром, му-

зыкой, выкриками, смехом и бесконечным стуком шагов. Старик, держащий под уздцы лошадь, спросил его:

— Не желаете ли прокатиться, сэр? Два доллара.

Роберт не ответил и прошел мимо. «А ведь я никогда не катался верхом на лошади», — подумал он.

Он сел за столик у окна. Без трех минут пять.

— Двойной виски без льда, пожалуйста.

Роберт огляделся. Кроме него, в ресторане в этот час было всего лишь трое-четверо посетителей, которые негромко говорили о чем-то своем. Те, кого я жду, подойдут ровно в пять. Или опоздают. Наверно, сейчас они проверяют, не привел ли я с собой хвоста. А если они откроют стрельбу, узнав, что дело нечисто? Наверно, у полковника хватит ума взять их на выходе, а не здесь. Боже мой, когда все это кончится?!

— Ваш виски, сэр.

Роберт в несколько приемов осушил содержимое бокала и сказал себе: «Будь, что будет». Пять ноль три. Они не придут. Не придут и разом снимутся все вопросы.

В дверях ресторана появилась молодая женщина и направилась прямо к нему, безошибочно определив направление. Спустя несколько мгновений она сидела за его столиком.

— Я думаю, нет необходимости рассказывать о нашей организации. Вы прекрасно знаете, чего мы хотим и за что боремся. Я уверена, что вы, как любой цивилизованный человек, сочувствуете нам.

Она говорила сбивчиво, волнуясь так же, как волнуются дети, впервые выполняющие взрослые поручения. Однако, подумал Роберт, если бы мне пришлось что-то говорить, я бы не связал и двух слов. Горло постоянно пересыхало, а сердце зависало в бездне, не чувствуя опоры. Смерть затаилась где-то рядом, примериваясь к каждому из них, словно выбирая.

Женщина продолжала говорить, делая вид, что они не знакомы. Впрочем, она могла его не помнить. Но он ее помнил.

Это было в прошлом году на приеме в посольстве. Он заговорил с ней первым, поскольку к концу вечера был уже достаточно смел и красноречив благодаря спиртному.

— Прекрасный вечер, мисс, — сказал он, стараясь перекрыть гул множества голосов. «I wanna make love with you», — пели Роллинг Стоунз где-то рядом.

Они умчались в ночь на ее автомобиле. А потом он любил ее на берегу океана, среди рыбацких лодок, и волны шумели за спиной, и песок был теплый, как женское тело. Затем они лежали рядом, глядя в рассветное небо, она трогала пальцами песок и рассказывала, кажется, о своем детстве, ведь в минуты близости женщина рассказывает о самом сокровенном.

Больше они не встречались. Она ему не позвонила, и он забыл о той встрече, как забывают одно из многих любовных приключений.

— Итак, — продолжала она. — Мой разговор к вам включает два пункта. Начнем с пункта номер один. Мы просим, чтобы вы помогли нам. Сейчас мы нуждаемся в вычислительной и копировальной технике, оборудовании для наших типографий. Все это мы купим у вас. Вы, имея влияние в вашей фирме, можете устроить нам отсрочки платежей.

— Но вы все это можете превратить в оружие, — сказал он и тут же осекся, поняв бессмысленность этого разговора.

— Это другой вопрос, — ответила она. — Это не должно вас волновать. Вас должно волновать то, что вы получите взамен.

Она поправила прическу, и он заметил, что она красива, гораздо более красива, чем в ту ночь.

— Вы деловой человек и весьма преуспевающий, — ее голос доносился словно извне сознания, — и должны понимать, что мы тоже кое-что можем предложить. Да, сейчас мы не имеем достаточно денег. Но придет время, когда мы свергнем этот режим, и это случится не сегодня-завтра. Мы обещаем вам, что ваша фирма будет занимать в нашей стране привилегированное положение. Мы не пустим сюда ваших конкурентов. Вы окупите все сегодняшние затраты в течение нескольких месяцев. У вас есть время подумать и переговорить с руководством.

Она откинулась на спинку стула. Вызванный этим движением ветер взметнул легкую оконную штору, которая тут же приняла прежнее положение. Но этого мгновения оказалось достаточно, чтобы он разглядел автомобиль, припаркованный у самых дверей ресторана. Роберт явственно различил полковника Гресси, сидящего на переднем сиденье рядом с шофером. Во рту его дымилась сигара, очевидно, дело было сделано, не вызывало сомнений, что ресторан окружен, и вся округа прочесана вдоль и поперек.

Роберт вдруг ощутил, как ничтожен человек перед хо-

дом событий. Лавина, называемая роком, подминает под себя все, ты можешь бежать и кричать, ты можешь стрелять в бездонное небо, но эта лавина подхватит тебя, словно щепку, и понесет путем, ей одной ведомым. Так же, как Всевышний не может отменить свой закон, так же и ты бессилен против этой лавины, порожденной тобой самим.

— Теперь пункт два, — продолжила она после некоторой паузы. — Я специально попросилась на эту встречу. На переговоры с вами должен был прийти совершенно другой человек. Предупреждаю, пункт два не имеет никакого отношения к пункту один. Я тебя люблю. Ты удивлен? Я тебя люблю так, как не любил и не полюбит никто.

Она говорила, не переводя дух.

— Я люблю тебя, когда ты идешь, когда ты спишь, когда ты работаешь. И сейчас, когда ты смотришь на меня удивленными глазами и молчишь. Я люблю тебя всякого — и на вершине успеха, и на дне жизни, вываленного в дерьме. Я прощу тебе все — и безволие, и ложь, и предательство. Как-то я читала стихи одной русской поэтессы. Смысл таков: если бы мы стояли по разные стороны баррикад, а я держала знамя моего войска, то, увидев тебя, я бы выпустила знамя из рук, черт с ним! Знай, я сделаю это, забуду и знамя, и честь, и прошлую жизнь, стоит тебе поманить меня пальцем. Почему ты молчишь? Ты смотришь на меня и думаешь: разве можно так любить человека после одной ночи, проведенной с ним? Уверяю тебя, одна ночь может перевесить всю жизнь. Да что там ночь, одно мгновение на вес гораздо тяжелее, чем жизнь. Я несу в себе это мгновение, нет, не ту потную вспышку физической близости, а то, когда мы лежали, глядя в небо, и не было наших тел, а были только души, а точнее одна душа, и эта душа касалась одним крылом звезд, а другим океана. Почему ты задумчив? Ты не рад моим словам? Наверняка ты сидишь и думаешь: а что я должен делать? Обнять ее? Или послать прочь? Предложить встретиться? Жениться? Делай, что хочешь. Я должна была это сказать и сказала. Потому что иду по такой дороге, что не знаю — буду ли я жива завтра. И оттого любой мой поступок — на грани жизни и смерти, и нет смысла играть в какие-то игры.

— Почему вы раньше этого не сказали? — наконец заговорил он. — Ведь столько времени прошло с той встречи.

— Я уезжала из страны. Но когда это сказано, год назад или сейчас — не имеет никакого значения.

— Имеет, — тихо сказал он.

— Для тебя — да. А для меня — нет.

Сказав это, она быстро встала и направилась к выходу.

Хлопнула входная дверь. Он отдернул штору. Несколько мужчин в штатском заталкивали ее в автомобиль. Она не сопротивлялась, по-видимому, понимая, насколько бессмысленно в такой ситуации сопротивление. Громко хлопнули дверцы, и автомобиль, резко сорвавшись с места, скрылся из виду.

— Извините, сэр, но вы разбили бокал, — раздался рядом голос. — Боже мой, вы порезались.

Он перевел взгляд на официанта, затем на свою кровотокающую ладонь и понял, что только что раздавил бокал, раздавил тем же усилием, каким рука сжимается в кулак.

— Одну минуту, сэр, я приберу, пожалуйста, приложите салфетку, чтобы остановить кровь.

Официант собрал скатерть со стола и унес. Роберт почему-то сидел и не уходил. Официант принес новую скатерть.

— Что-нибудь еще, сэр?

Роберт отрицательно помотал головой. Прошло еще с четверть часа. «Я сижу здесь, словно прощение можно высидеть, как яйцо», — думал он, упершись взглядом в стол.

— Она простила вас авансом, — сказал полковник. Роберт не заметил, как тот подсел к его столу.

— Вы подслушивали наш разговор.

— Это моя работа.

— Мразь.

— Не более, чем вы. Еще раз повторяю, это моя работа. И это отличает меня от вас, который имеет право выбора. Вот ваши деньги.

Полковник бросил на стол конверт и ушел.

Роберт огляделся. В зале собирался народ, подходило время обеда. Топот множества шагов, шарканье, обрывки голосов, голосов столь чужих, что сердце застывает, словно пойманное. Он встал и направился к выходу. Уже на улице его остановил разгоряченный официант.

— Сэр, вы забыли заплатить, а кроме того, вы забыли вот это, — он протягивал конверт.

Роберт взял конверт, вытащил из него несколько бумажек и протянул официанту. Тот отшатнулся:

— Что вы, это слишком много.

— Берите.

— Нет, сэр, это невозможно, — он выставил вперед ладони, закрываясь, словно от сильного пламени, а затем исчез за дверями.

По дороге его окликнули:

— Не желаете ли прокатиться, сэр?

Роберт увидел старика с лошадыю и вспомнил, что уже встречал его, но не помнил, когда и где.

Он взобрался на лошадь, которая тут же, почуяв тяжесть седока, тронулась вперед по улице. На город опускался вечер, лошадь была стара и нетороплива. Старик шел рядом, не отпуская уздечки, и без умолку говорил:

— Вы первый клиент за последние три дня. Что ж поделать, туристы к нам теперь не едут. А местные — что они, лошади не видали? Вы извините, что я много говорю, просто последние годы мне говорить не с кем, я могу сказать лишнего, и некоторые говорят, что я не в своем уме. Я бывший художник, сэр, а художнику многое простительно.

Слова старика доносились откуда-то извне сознания, каждое слово словно перешагивало через бездну, теряя вес, превращаясь в пыль.

— Вот и приехали. Давайте я помогу вам слезть.

Старик подал ему руку, помогая сойти, но вдруг отшатнулся:

— Я никогда не видел лица, подобного вашему. Оно не имеет никакого выражения. словно нет мимических мышц. Как нет их у моей лошади. Сэр, я видел лица людей, не желающих жить, но такого не видел. Если бы я хотел рисовать тот свет, я пригласил бы вас, сэр.

Роберт не ответил и пошел дальше. Уже стемнело. Он вышел к заливу и увидел противоположный берег, весь в светящихся точках вечерних огней, и темную громаду моста. Когда-то у него захватывало дух от величия этой картины, но сейчас внешний мир не отзывался в нем мыслью. Он дошел до середины моста, остановился и перегнулся через перила. Там, внизу, неслась вода, темнее которой не бывает.

Рядом раздался визг тормозов.

— Бьюсь об заклад, вы не сделаете этого, — сказал полковник Гресси, приоткрыв дверцу.

— А вы откуда знаете? — повернулся к нему Роберт.

— Знаю, — машина полковника умчалась прочь.

Роберт отшатнулся от перил и направился к центру города. Улицы были полны зевак, народ сновал туда-сюда в поисках развлечений. Он заскочил в ближайший бар, чтобы принять порцию спиртного, но алкоголь не давал желаемого результата. Ночь разворачивалась перед ним во всей своей

нечистой красоте. Он прикладывался губами к мутным рюмкам и шел куда-то опять, сквозь бесконечные голоса, автомобильные гудки, отсвет рекламных огней, пока вновь не останавливался у очередного питейного заведения. Он расплачивался содержимым конверта, швырял деньги налево и направо, собирая вокруг себя толпу, падкую на дармовую выпивку. В улыбках этих людей была некая грязца, но лица не задерживались в поле его зрения, так же, как деньги. Он пьянел в светящемся облаке банкнот, его тело становилось все более тяжелым. Наконец, он обнаружил себя совершенно одиноким, сидящим у стойки незнакомого бара.

— Она меня простила, — сказал он бармену.

— Значит, все хорошо, — ответил бармен.

— Нет, — сказал он, — ничего не хорошо.

Его рука поползла в карман и достала оттуда последнюю пятидесятидолларовую бумажку. Он тупо посмотрел в лицо американскому президенту, смял бумажку и засунул обратно в карман. Из темноты возникла густо накрашенная женщина и встала рядом с ним.

— Сколько? — спросил он.

— Шестьдесят долларов, — ответила она.

— Пятьдесят.

— Идет.

Рядовой Хузин

Обстоятельства вынуждают меня рассказать об одном периоде моей жизни — службе в армии. И пусть некоторые считают службу в армии досадным недоразумением и неудачей, я придерживаюсь другого мнения. Любой опыт полезен, считаю я, причем, когда ты молод. В позднем же возрасте душа уже полна опытом, ей уже тяжело от приходящих событий, она сбрасывает их, сливает через край, и, как правило, человека нечем удивить. Но на днях мне все-таки пришлось удивиться. Это случилось, когда я увидел по ТВ одного из своих сослуживцев, — моего соседа по койке рядового Хузина. Он достиг высокого общественного положения, и в этом факте нет ничего особенного, мало ли кто выбирается наверх. Но почему я был так тронут?

Как известно, среди особой мужского пола, согнанных волею судьбы в ограниченное жизненное пространство, действуют свои законы и мораль. Здесь всегда присутствует человек, являющийся объектом издевательств и насмешек. И это объяснимо, потому что подобное общество непременно должно реализовать свою постыдную функцию, направленную на подавление личности.

В самом начале нашей армейской службы, когда нас только еще привезли и разместили по казармам, наше общество внимательно осознавало себя, приглядываясь, перебирая своих членов одного за другим, кто же окажется этим несчастливцем, обреченным два года нести унижительную ношу. Всякий мужчина инстинктивно борется против этой избранности, он отталкивает ее от себя, он передает ее соседу как ручную гранату, угрожающую страшным зарядом. Но против законов природы мы бессильны, и этот человек был определен окончательно и бесповоротно. Им оказался рядовой Хузин. Я думаю, что в этом сыграл свою роль следующий факт.

Хузин бредил по ночам.

Каждый из нас был закрыт наглухо, не пускал в душу

посторонних, чувствуя опасность быть обсмеянным. Лучше смеяться над другими, а еще лучше ржать, мы прятались за грубостью и жлобством как за верной стеной. Впрочем, для кого-то такая манера поведения была вполне естественной.

Каждый из нас дожидался ночи, чтобы скорее забыть наглых сержантов и тяжелолицых офицеров, мы торопились в сны, где так сладок запах дома и близок профиль твоей подружки, где не надо ходить строем и при этом орать песни. Однако ночью человек теряет бдительность. А Хузин бредил. И это решило его судьбу.

Бред его был очень трогателен. Он вспоминал, по всей видимости, свою девушку, громко произносил ее имя (кажется, это была Наташка), затем следовал бесконечный поток доверчивых, не связанных между собой слов, как это в таких случаях бывает.

Мы будили друг друга, чтобы послушать, как бредит Хузин. Его монологи сопровождались взрывами нашего хохота, и было удивительно, как он не просыпался. Как и следовало ожидать, смех, берущий начало ночью, продолжился и в свете дня. Со временем смех дополнился подзатыльниками, тычками и всеми теми признаками неуважения, с помощью которых человека превращают в ничто. Хузин пытался противостоять, но он был одинок, печален, не силен физически, да и не обладал необходимой волей. Одним словом, участь его была незавидна.

В тот период жизни меня привлекали человеческие лица, это сейчас они все равно что примелькавшийся пейзаж за окном поезда. Я вглядывался в каждое новое лицо и, как мне казалось, предчувствовал человеческую суть. Но внешность Хузина была для меня неожиданна. Голубые глаза, высокий лоб, довольно складная фигура. С подобными данными натура сильная, да и к тому же помеченная печатью божьей избранности, могла бы претендовать на многое в этой жизни. Но этот сиротский надлом в облике Хузина, неуверенность движений сводили на нет достоинства внешности. Надо же, думал я, вот что значит характер: какой-нибудь криворотый пигмей, вроде начальника столовой, окружен всеобщим подобоострастием, а этот так называемый красавец живет в постоянной боязни получить очередной пинок под зад. Тогда-то во мне и произошла одна из тех мелких революций, которые строят наши жизненные устои. Я не доверяю внешности, а доверяю силе характера, и этой убежденностью я обязан несчастному Хузину.

Помню его, плетущегося позади нас, опять же одиноко-

го. Мы идем со стрельб, шаг наш бодр и радостен. Накануне выпал снег, мир первозданен и остр, морозный воздух пробирает легкие, словно наждак. Хузин отстает, он тащит на плече ящик с патронами, его лицо искажено усилием. Я вместе со всеми радуюсь снегу и стараюсь не сбиться со строевого шага, но время от времени, словно вспомнив, что в мире есть не только радость, оборачиваюсь назад. Хузин идет в стороне от дороги, его, по-видимому, уже мотает от усталости, он идет нелепым зигзагами, все больше отставая.

Как известно, российский солдат, кроме своей прямой обязанности охранять Родину (а наша военная часть охраняла некий закрытый объект), обычно вовлечен в процесс благоустройства родных территорий. Он метет листву осенью и скребет пыль в летний зной. Он сбрасывает снег с высоких, под самое небо, крыш и копает траншеи, уходя в самое нутро пробудившейся весенней земли. Он обрастает множеством профессий так же, как дикобраз иглами в борьбе за выживание. Разумеется, никто из нас не избежал этого, но Хузин не избежал этого вдвойне. Поначалу он принимал сыпавшиеся на него обязанности с вселенской скорбью в глазах, но со временем он почувствовал в этом некий вкус свободы. Я думаю, что, мучаясь на всевозможных работах, он спасал от нашего грубого вторжения свою тонкую, ранимую личность. Со временем он появлялся в строю все реже и реже. Моя память преподносит мне Хузина в самых разных ипостасях: вот он где-то над головой, на высоких лесах, мешает раствор в бадье; вот он, наоборот, распластавшись на земле, протягивает телевизионный кабель; вот Хузин несет связку дров в офицерскую баню, из трубы которой уже поднимается неторопливый дымок; вот в его руках большие садовые ножницы, которыми он стрижет кустарник возле штаба. Однажды ему и вовсе пришлось пасти коров за территорией части, не знаю, чье это было поручение, но Хузин справился и с этой задачей, ни одна корова не пропала, хотя вряд ли это занятие — пропадать в степи — перспективно, даже с точки зрения рогатого животного.

Хузин, спасаясь от нас, стал элементом военного пейзажа. Он словно менял окраску, как зверь, приспособившийся к среде, он был теперь вездесущ и неprimетен. Его ночной бред, так веселивший нас первые дни службы, прекратился, и мы, ожидавшие услышать продолжение сюрреалистической эпопеи о Наташке, слышали с соседней койки лишь беззаботное посапывание. Наутро же, когда наступало время оплеух и подзатыльников, Хузин исчезал, и наше мужское

сообщество вынуждено было находить другой объект для издевательств, и это, как я уже отмечал, происходило помимо нашей воли, поскольку таковы законы природы.

Впрочем, если в течение дня кому-то из нас на пути попался Хузин, никто не упускал случая напомнить ему, кем же он на самом деле является. Солдаты — народ очень изобретательный в отношении издевательств, и Хузин, как ни прятался от нас, хлебнул свою чашу сполна. Глядя на него, я задавал себе вопрос: как может так опуститься человек, каким терпением надо обладать, что бы все это сносить? Очень просто, — отвечал я на свой же вопрос и не жалел эпитетов, — надо быть тряпкой, жалким слизняком, соплей на ветру и кем угодно, но только не мужиком. Я смотрел в его глаза, и мне казалось, что в них проступает вся его холуйская, безжильная сущность. Но однажды эти глаза меня удивили. Это случилось в самом конце нашей службы, когда мы уже считались дембелями, а точнее назавтра должны были, наконец, распрощаться со своей частью и отправиться домой. Мы всю ночь не спали (да разве можно спать в последнюю ночь), пили портвейн, ходили строем, куражась, запевая пьяными голосами треклятые солдатские песни, заходили в красный уголок, словно стремясь запомнить его навсегда, наливали и пили опять. Шатался с нами и Хузин, осмелевший, пьяный скорее не от вина, а от рвущегося в груди чувства свободы, той самой настоящей, размером во всю Вселенную, свободы, которая ожидала нас завтра. Разумеется, мы не напоминали ему о его несчастной сущности, все меркло перед всепоглощающим Завтра. В ту ночь Хузин отыгрался за все свои бездарно прожитые два года. К нашему удивлению, он завел мотоцикл командира части, трогать который категорически запрещалась, и, оглушив рассветную тишь громовым рокотом, принялся кататься по влажному от росы плацу. Я хорошо помню, как он мчался на меня, нацелившись словно коршун с небес, а через мгновение, сделав крутой разворот и взметнув тучу песка, мчался уже в другом направлении, выделывая трюки, достойные заправского байкера. В какой-то момент мы встретились с ним взглядом, и я увидел глаза, подвеченные той силой, которой подвластен и весь мир, и все мы, его недавние обидчики.

Эти глаза я запомнил навсегда. И вот, наконец, спустя двадцать лет мне довелось увидеть их снова. Я узнал своего несчастного сослуживца в одном из телесюжетов вечерних новостей. И хотя Хузин появился в кадре всего на пару секунд, я успел хорошо разглядеть его. Меня поразили его осан-

ка, пробор в волосах и безупречный смокинг. И вообще это был не наш человек. Он являлся представителем американского консульства в одной из ближневосточных стран. В его взгляде присутствовала та самая властная сила, которая правит миром, она пребывала в нем не мимолетно, как тогда на рассветном плацу, она была его единственной сутью.

Все это меня ужасно взволновало, и я отправился на кухню, чтобы чего-нибудь съесть. Я много ем, когда нервничаю, и прекрасно знаю, что полнеть мне уже некуда, но это был тот случай, когда мне во что бы то ни стало надо было снять внутреннее напряжение. «Ведь надо же, — думал я, жуя наспех сваренные сосиски и чувствуя, как мое душевное волнение превращается в килограммы веса, — этот слизняк Хузин, наверняка, отдыхает сейчас в роскошных апартаментах, а я сижу тут в паршивой хрущевской кухне, имея до следующей зарплаты двадцать восемь рублей». Я смотрел на собственное отражение в вечернем окне, яростно макал сосиску в горчицу и мысленно сравнивал свое тело, бесформенное и дряблое, со стройным, приятно изнуренным теннисом и гольфом, телом Хузина.

Вскоре история с Хузиным приняла другой оборот. У меня есть сосед, с которым я играю в шахматы во дворе, Семен Бикбаевич, бывший полковник КГБ. Он давно на пенсии и теперь большую часть времени посвящает изготовлению табуретов. Кроме того, он большой мастер по кладке печей, и к нему обращаются многие дачники. Во время очередной партии я неторопливо и подробно рассказал ему о Хузине.

— Надо же, — сказал Семен Бикбаевич, задумчиво вертя в руках пешку, — как, оказывается, все обернулось. А ведь мы тогда просто с ног сбились, но так и не поймали резидента, который информировал американцев о том самом секретном объекте, который вы охраняли.

— Вы хотите сказать, что Хузин шпион? — спросил я и почувствовал, что меня пробивает дрожь.

— Именно, — ответил он.

Мы доиграли партию в полном молчании. Затем Семен Бикбаевич пригласил меня к себе попить чаю.

— Сейчас твой Хузин строит карьеру дипломата, — рассказывал он, заваривая чай. — Наверняка он совмещает ее с работой в ЦРУ, но вскоре он оставит шпионскую деятельность, получит должность генерального консула и оттуда уйдет на пенсию с положением в обществе. Так это обычно бывает. Что же касается тех лет, когда ты служил в армии...

Семен Бикбаевич разлил чай по чашкам:

— Ты бери варенье-то, не стесняйся. То, что вы называли бредом, было не что иное, как зашифрованные послания в центр. Ваш Хузин имел при себе миниатюрный микрофон, приемное же устройство и передатчик находилось в нескольких десятках километров, в ближайшем городе, где действовал его связной. Логика Хузина объясняется просто. Первые месяцы пребывания в армии он практически не бывает один и не имеет возможности передавать информацию, которой уже обладает. Нужно ходить строем, драить сортир, учить устав, да и вообще в армии трудно остаться в одиночестве. Однако он передает данные в центр — громко, отчетливо, имитируя ночной бред солдата-новобранца. Кстати, через несколько лет после этого я прослушивал записи перехваченных тогда радиোগрамм и не мог понять, что за непонятный фон присутствует в каждом сеансе связи. Теперь я знаю, что это было солдатское ржание. И еще нам удалось выяснить: связной вашего Хузина имел кодовое имя «Наташка».

То, что рассказал Семен Бикбаевич, глубоко потрясло меня. Хузин, этот бездарный слизняк, обманул меня, а точнее с какой-то особо изощренной жестокостью провел за нос. Чайная ложечка в моей руке дрожала, и я не заметил, как съел на столе все печенье. Мои жизненные устои рушились, осыпаясь, словно подмытый волною берег.

— Но ведь Хузин вскоре перестал бредить, — сказал я, немного успокоившись.

— Да, — ответил Семен Бикбаевич, — но он продолжал передавать информацию.

— Каким же образом? — спросил я, хотя понимал, что вторгаюсь в те области, куда вход посторонним закрыт.

— Об этом надо рассказывать долго, — Семен Бикбаевич опять принялся заваривать чай, — но торопиться нам некуда.

Он накрыл чайник салфеткой и посмотрел на меня взглядом разведчика:

— Некуда?

— Конечно.

Он опять разлил чай по чашкам:

— Мне кажется я понял, кто такой этот Хузин.

— Мы оба поняли, — добавил я.

— Нет, — Семен Бикбаевич задумчиво помешивал в чашке ложечкой, — я не то имел в виду. Есть вещи, которые зародились давно, а точнее исток их вовсе неизвестен. Я расскажу тебе о том, что могло бы быть государственной тайной, но любая тайна имеет свой срок, в нашем же случае прошло достаточно много времени, поэтому любые сроки соблюдены.

Не знаю, известно тебе или нет, но, несмотря на все достижения прогресса, шпионское искусство имеет свои школы, подобно философским школам и школам боевых искусств. Между шпионскими школами идет давнее соперничество, они очень отличаются друг от друга и приемами, и уровнем знания. Еще в древности существовала школа Не оставляющих следов. Зачинатели этого течения в шпионском искусстве взяли за основу философию древних воинов, которые жили и покидали землю, не оставляя следов и, таким образом, сливались с вселенной в божественной гармонии. Эта шпионская школа в силу своей внутренней энергетики сразу же превзошла все другие. Ее представители утверждали: «Ветер оставляет след на траве, вода оставляет след на песке, годы оставляют след на камне. А мы не оставляем след ни на чем». Но если эти люди хотели оставить следы, то делали это непревзойденно. Своим тайным языком они подражали природе. «Так же, как река течет изгибаясь и выпрямляясь, имея один берег высокий, а другой низкий, и при этом сообщает о чем-то о своем, так же и мы передаем то, что хотим передать», — говорили они.

В истории известно несколько упоминаний об этой шпионской школе. Первое относит нас ко временам древней державы Хунну. Тогда хуннский резидент, засланный в Китай, передавал оттуда важные сведения, используя перелетных птиц. Он был прекрасным дрессировщиком и знатоком самых разных крылатых тварей. В итоге журавлиный клин, летящий со стороны Поднебесной, был построен так, что раскрывал многие секреты императорского двора.

Следующее упоминание связано с периодом господства в Азии Чингиз-хана. Шпион монголов, проникший в государство Хорезм, сумел предупредить своего повелителя о готовящемся выступлении войск неприятеля. Как он это сделал? Он хорошо знал пути миграций полевой крысы пасюк. Одна из крысиных стай была построена по продуманному принципу чередования самцов и самок, так же как тысячу лет спустя будут чередоваться длинный и короткий сигналы азбуки Морзе.

Третий известный мне случай относит нас в Российскую империю во времена царствования Екатерины Великой. Тогда на самом дальнем краю России, а точнее на Дальнем Востоке, действовал шпион его величества английского короля. Способов передать информацию у него не было практически никаких. Представь себе эту чертовскую необъятность территорий, неподвластную ни птице, ни грызуну. Но это

был шпион из когорты Не оставляющих следов. Он прекрасно изучил окружающий ландшафт, русский язык и самое главное — русскую душу. Ко всему прочему, он был безумно талантлив, как большинство представителей древнего клана. Этот человек начал сочинять песни, которые несли в себе зашифрованную информацию. Песни были прекрасны на слух, трогали за душу, становились народными. Они передавались из уст в уста, из дома в дом, от застолья к застолью и, наконец, достигали западной оконечности России, где их ждали те, кому они предназначались. В среднем одна песня преодолевала эти чудовищные расстояния за три-четыре месяца. Кстати, многие из этих песен наш народ распевает и сегодня, например «Во кузнице», «Ясный месяц над рекою», «Сокол ты мой ненаглядный».

Другая история рассказывает нам теперь уже о русском шпионе, выполнявшем свою миссию в США в пятидесятые годы двадцатого столетия. Это был Чарльз Трейси, известный джазовый музыкант. Он передавал информацию посредством музыки, которая транслировалась на джазовой радиоволне. Его тайный язык был на удивление прост. Каждая буква алфавита соответствовала определенной ноте. В итоге музыка, получаемая на выходе, была совершенно лишена гармонии, ноты чередовались в немыслимых комбинациях. Но Чарльз Трейси мог себе это позволить. Он дополнил истеричную, вопящую партию саксофона ритмической основой негритянских там-тамов. Так зародился абстрактный стиль в джазовой музыке, который со временем заимел ничего не подозревающих последователей и который считался флагом тогдашнего авангарда.

До сегодняшнего дня я считал, что именно Чарльз Трейси замыкает эту многовековую эпопею о шпионах, не оставляющих следов. Но, к моему удивлению, это оказалось не так.

— Вы имеете в виду Хузина? — спросил я

— Да.

— Каким же образом он передавал информацию?

Семен Бикбаевич усмехнулся, а затем, посмотрев мне прямо в глаза, заговорил резко и настойчиво:

— Воскреси Хузина в голове. Вспомни хорошенько. Как он выглядит? Вспомни, чем он занят! Так вот, слушай внимательно. Он мог передавать информацию в любой момент, который ты помнишь. Вот Хузин тащит на плече ящик с патронами, безнадежно отстав от вас. Он устал, его мотает из стороны в сторону. Что в этом особенного, спросишь ты? Но если посмотреть на Хузина сверху, а точнее со спутни-

ка, можно увидеть след, оставляемый им на снегу, — волнистую, зигзагообразную линию, нечто вроде неправильной синусоиды, каждый изгиб которой имеет строго определенный смысл. Кстати, американские спутники в те годы давали отличное приближение. Ты понял, о чем речь?

Я молча и сосредоточенно пил чай.

— Или: вот ваш Хузин протягивает телевизионный кабель. Этот кабель поразительно длинный, он, собака, не хочет лежать ровно, он скручивается, образуя петли по всей длине, большие красноречивые петли. Или: вот Хузин топит офицерскую баню. Я сам кладу печи, и прекрасно знаю, что заслонкой можно регулировать количество дыма. А язык дыма, восходящего к небу, использовали еще индейцы. Тебе достаточно этих примеров? Нет? Хорошо. Хузин пасет коров. Знай, стадо построено по определенному замыслу, его форма, а точнее смена форм, опять же насыщена информацией. Пожалуй, хватит примеров, поскольку об этом можно говорить бесконечно.

Семен Бикбаевич перевел дух.

— Ах, да, — продолжил он после паузы, — я забыл сказать, что мне понравилась финальная точка Хузина. Это, что ни говори, на самом деле гениально. Его предрассветное катание на мотоцикле, оставлявшем глубокие следы на песчаном плацу, сообщало о том, что его миссия выполнена. И вполне возможно, что на радостях, куражась, он добавил в свое сообщение много личного, например, он выразил свое отношение к Советской Армии, которой ему пришлось отдать два года жизни.

Семен Бикбаевич встал из-за стола и прошелся по комнате. За окнами уже смеркалось, и очертания деревьев говорили что-то на своем шуршащем листвою языке. Семен Бикбаевич включил свет.

— У меня остался единственный вопрос, — сказал я. — Как Хузин добывал информацию?

Семен Бикбаевич ответил после некоторого раздумья.

— Во-первых, ты сам рассказывал, что он был вездесущим, поскольку участвовал на самых разных работах. Во-вторых, он был учеником школы Не оставляющих следов. Если он хотел оставить следы, он оставлял их. Те, кому они предназначались, замечали их немедленно, ты же заметил их через двадцать лет. Но если он не хотел оставлять следов, то никто не обнаружит этих следов никогда.

Мы распрощались с Семеном Бикбаевичем уже поздним вечером. Он проводил меня до подъезда. У него было много

времени, и, наверно, ему, как и любому пенсионеру, хотелось поговорить. Придя домой, я лег спать, но долго не мог уснуть. Я ворочался с боку на бок, поскольку чувствовал, что не до конца удовлетворен объяснениями Семена Бикбеевича. Затем, вдруг что-то вспомнив, я вскочил с кровати и подскочил к книжному шкафу, где у меня хранятся альбомы с фотографиями. Найдя армейский альбом, я принялся перелистывать его. Здесь было все — групповые фотографии, портреты, снимки, сделанные в самые разные моменты службы; физиономия каждого солдата повторялась здесь десятки раз. Не было только Хузина. Его не было даже на фотографиях, где не присутствовать было нельзя.

Я вышел на балкон и долго смотрел на улицу, сквозящую мыслимыми и немыслимыми тайными знаками. Затем мой взор вознесся к ночному небу, полному спутников и звезд. От величия этой картины мне стало спокойно и грустно.

Хузин не оставил после себя никаких следов. Оставил только в памяти. В моей памяти.

— А что память, — сказал я вслух, — сегодня она есть, а завтра нет.

Мне и впрямь было немного грустно.

Вот так-то!

По двору, опираясь на трость, ковылял подвыпивший и немного придурковатый ветеран. Очевидно, процесс осознания реальности протекал у него очень медленно, и прошлое или, быть может, тоска по прошлому путалась в старческом мозгу с настоящим. Он шел, энергично выкрикивая лозунги, смысл которых понять было трудно, так как система речевоспроизведения тоже уже давала сбои, но, судя по вскидываемой руке, они были военно-социалистического содержания. Дворовые мальчишки, прежде игравшие в снежки, тут же принялись передразнивать его. Они скакали вокруг него со всей энергией младенческой непогрешимости, изображая хромоту и нечленораздельно вопя. Эти юные обезьяны, разумеется, не испытывали никакого почтения к социалистическому прошлому и вообще к старости как таковой.

Ветеран побагровел и начал судорожно размахивать тростью, пытаясь достать кого-нибудь из этих головорезов. Пацанов же подобная атака еще больше развеселила, и они проскакивали теперь в опасной близости от трости, румяные от свежего воздуха и счастья движения. Вдруг послышался отчаянный детский крик. Ветеран умудрился-таки зацепить одного из пацанов. Тот уходил теперь с громким плачем и держась за ушибленный затылок. Я так не играю! Это неправильно! Что это за игра такая, где бьют палкой по голове?!

Ветеран некоторое время выпучив глаза осознавал происшедшее, а затем, поняв, что это победа, издал глас торжества:

— Вот так-то!

Непонятно, почему его словарный запас породил именно это сочетание, но в этот возглас было вложено многое.

— Вот так-то! — он тряс тростью, направляя ее в небо. Здесь была и правота идей социализма и недовольство подрастающим поколением, которое получило по заслугам и уходило теперь домой, плача на весь подъезд. Взгляд старика был преисполнен решимости. Но его вдохновенный жест остался без внимания, пацаны, завидев очередного своего друж-

ка, который выбежал на улицу с футбольным мячом, в мгновение ока покинули место действия, оставив оратора наедине со своей трясущейся тростью. Ветеран заковылял дальше, что-то возмущенно бормоча.

Вечером я остановил одного из пацанов и напомнил ему об этом случае. Я сказал ему что-то типа того, что так нехорошо. В конце концов, сказал я, и ты станешь таким же старым. Он мне не поверил. Он наверняка представлял, что люди приходят на свет кто мальчиком, кто дедом с трясущейся тростью, кто милиционером, а кто толстой продавщицей. Он обладал древней мудростью китайского монаха, который не приемлет вещи в их развитии. Он знал суть, но не подозревал об этом. Мальчик очень торопился, его друзья свершали какие-то шумные батальные действия, заполонив все пространство двора. Он ничего не сказал и нетерпеливо побежал от меня, как бегут от непонимающих. На мгновение мальчик оглянулся. Может быть, он подумал про меня — а не позвать ли его с собой? Но тут же отмел эту мысль.

А зря. Я бы пошел.

Клавка

Она обладала очень теплой, уютной внешностью. Мне всегда казалось, что у нее больше шансов выйти замуж в позднюю осень, когда ветра так бесприютны и душа ищет пристанища. Так и получилось (точнее сказать почти получилось). В ноябре к ней прибился какой-то художник (или это был скрипач), из тех, кто ценит тепло и уют зимой, но чья любовь остывает ближе к весне, обратно пропорционально потеплению. В это время спросом пользуются бесстыдно красивые и неуютные женщины, бросающие в холод, а холод так ценится в жару. Художник слинял в мае, порядком ее измучив. Его новая подруга не была бесстыдно красивой, но по странному совпадению имела отношение к холоду. Она была продавщицей мороженого. Он подошел к ее лотку на углу улиц Восстания и Декабристов и попросил мороженого. «Какого?» — «Такого же сладкого, как вы».

Клавка долго переживала потерю единственного и любимого. Она так переживала, что картошка вываливалась из ее рук, а пол в комнате мерцал трижды невымытый. Тараканы, чья стихия — мрак и ночь, осмелели настолько, что, вопреки высшим силам, гуляли на кухне и днем. Клавка, сжимая мокрую тряпку в руке, направлялась в сторону подоконника, но на полдороги останавливалась, словно заблудившись. Как он мог? Негодяй!

Но уютность свою она не потеряла. Поскольку это была ее суть. А суть не теряется. Скорее человек потеряется, исчезнет, сгинет. А суть останется. Словом, Клавка осталась такой же привлекательной для особей мужского пола. Что касается меня, то мне всегда хотелось ее приобнять и потискать как теплую большую кошку.

Пришла осень и наполнила пространство прозрачным светом, душа приблизилась к Богу, люди стали больше молчать. Они обрывали речь на полуслове и застывали, потеряв нить, словно вспомнив что-то важное. Рядом мерцала, светносила кленовая ветвь, а человек молчал, смотрел на эту ветвь и

знал, что он у себя дома, в этом холодном, преднебесном уюте. Клавка смотрела на людей и понимала их. Особенно понимала она одного, который работал в плановом отделе. Это был грустный человек молодых лет. Он тоже молчал по осени, но его молчание было особенным. Клавка чувствовала, что его молчание забирает ее полностью, словно сильная река.

«Молчание — знак тишины», — написала она в своем блокноте после того, как увидела его.

— Мне надо с вами поговорить, — сказала она ему. — После работы, как прозвенит звонок. Хорошо?

Он кивнул в ответ.

Эхо звонка тонуло в отдаленных помещениях здания. Народ уходил домой. Они стояли возле коридорной стены.

— Я вот что хотела у вас спросить, — сказала она потупившись. — Вы умеете рисовать лошадь?

— Нет, — ответил он.

— Жаль, — сказала она.

Молчание становилось долгим.

— Ладно, я пойду, — сказала она.

Он немного замешкался и сказал:

— Я не помню, умею ли я рисовать лошадь, но я думаю, у меня получится.

Она просияла.

— Мне надо нарисовать лошадь в моем альбоме, который я веду с детства.

Они направились к ней домой. Он долго рисовал в ее альбоме лошадь.

— А это кто? — спросил он, указывая на фотографию пухлого младенца в смешном чепце.

— Это я, — сказала Клавка.

Он перевел взгляд с фотографии на нее и сказал:

— А вы изменились.

— Хотите чаю? — спросила Клавка.

— Да.

Он переехал к ней и теперь сам предлагал Клавке попить чаю. Делалось это так.

— Фиг с маслом хочешь? — спрашивал он без тени улыбки.

— Нет, — отвечала Клавка.

— Тогда будешь пить чай.

Подобным же образом предлагалось отойти ко сну.

— Бодрствовать хочешь?

— Нет.

— Тогда будем спать.

Клавка понимала, что в данном случае демонстрировалось остроумие, и поэтому всегда старалась подыграть ему.

Он был неразговорчив, а если говорил, то говорил веско. Она очень уважала его молчание.

Прежде он работал в городе Чебоксары на заводе по производству милицейских дубинок. Производство резиновых дубинок, — рассказывал он, — дело непростое. Если дубинка мягкая — какой от нее толк, это только ласка дурной голове. А если дубинка жесткая, какой прок от того, что она резиновая, проще взять деревянную.

Она внимательно слушала его и не перебивала. А потом убеждала соседку Инессу, что это очень ответственное дело. Стране не хватает милицейских дубинок. А если милиционеры вдруг начнут стучаться деревянными дубинками? Вот то-то. В ответ Инесса рассказала случай о том, как два подростка напали на милиционера и отобрали у него резиновую дубинку. «Вот видишь, — сказала Клавка, — не хватает дубинок-то».

Вместе с ним переехала его собака. Он выводил ее гулять дважды в день. Когда же он выходил из дома без собаки, та была очень недовольна. Она лежала на своем коврикe в прихожей и тихо материлась. Конечно, слов в этом утробном бормотании нельзя было разобрать, но интонации угадывались определенно. А впрочем, матерщина как таковая — это тоже нечеловеческие слова. Клавка терпеть не могла матерщинников, но собаке прощала, поскольку это была его собака.

Они вошли в пивную, в которую он любил заходить. Клавка никогда не бывала в таких местах.

— Здесь пахнет подмышками, — сказала она.

— Я полагаю, что пахнет четным числом подмышек, — сказал он, немного подумав.

— Конечно, дорогой, это число не может быть нечетным, — согласилась она. Клавка всегда торопилась поддержать его и показать свою с ним солидарность.

Он часто подходил к зеркалу и смотрел на себя, словно стараясь навсегда запомнить...

— Красивый, красивый, — убеждала его Клавка.

Он не упускал случая очередной раз найти сочувствие.

— Ты знаешь, — говорил он, — я так хочу спать, что не осознаю, красивый я или нет.

— Ты опять плохо спал ночью? — волновалась она.

— Да нет, нормально, — отвечал он и опять вглядывался в зеркало.

— Ложись сегодня пораньше, ты себя изнуряешь, — говорила она.

Однажды вечером, когда его не было дома, к ней зашла Инесса и сказала, что он пользуется услугами проституток. Клавка спросила, как это она определила. Инесса рассказала, что несколько раз уже видела, как он сажает в свою машину этих самых особ. Окна магазина, где работает Инесса, как раз выходят на ту самую улицу, где эти особы выстраиваются.

— Я не хотела тебя обидеть, — добавила Инесса, — но я хочу, чтобы ты знала.

— Ну и что особенного, — сказала Клавка. — Это его дело. И вообще изначально самец не ориентирован на одну самку. Бык в стаде покрывает несколько коров. Или петух, например...

— Чего ты его оправдываешь? — прервала ее Инесса. — На тебя-то его хоть хватает?

— Вполне, — ответила Клавка.

Она была убеждена, что по большому счету он ей верен.

Она по-прежнему ему поддакивала и переживала за него. По вечерам они пили чай на кухне. Он не доверял ей заваривать чай и делал это сам, считая, что это очень ответственное дело.

Она научилась распознавать его настроение по крепости чая. Чем крепче становился чай, тем большая напряженность жила в нем. Сначала чай был как сумерки, а потом становился как ночь. Чашка в его руке начинала дрожать. Клавка знала, как поступать в таких случаях. Она заводила разговор о том, какой он умный и талантливый. Она убеждала его в новых и новых достоинствах. Он успокаивался. Его, словно бычка, привязывали к колышку, который называется «я», и он бегал вокруг него, удовлетворенно мыча.

По вечерам они пили чай, и так прошло время от одной осени до другой. Но что-то стало меняться в их чаепитиях. Клавка заметила, что из их разговоров стало уходить все больше и больше слов. Слова изнашивались, как изнашиваются части механизма. В таких случаях нужны новые слова, но новые слова не приходили. Он, и прежде неразговорчивый, уходил теперь в молчание, как на свою территорию.

Однажды она заметила, что его молчание не забирает ее. В этом молчании нет тишины. Его молчание означает только отсутствие слов.

Она перестала ему поддакивать. Он ушел от нее и забрал собаку. Собака думала, что ее ведут гулять и поэтому радовалась и скулила от нетерпения.

Настал ноябрь, время мерзнуть и терпеть. Терпеть и опять мерзнуть. Особенно мерзла Клавка. «Каждый год одно и то же», — думала она, стоя на безжизненной остановке в ожидании троллейбуса. «Зачем все это?» — думала она. Холод, поздняя осень, мужчина. Как все неправильно устроено.

А потом выпал снег. Клавка не обратила на него внимания. Кто-то рядом сказал — снег. Тут она заметила, что вокруг и впрямь что-то кружит белое. Клавка шла в падающем и восходящем снеге, пока в нем не исчезла. Вскоре снег, словно вспомнив о Клавке, явил ее в районе булочной. Там снег сходилась с другим, который шел со стороны реки. Возле булочной эти два снега братались и становились метелью. Клавка домой не пошла и долго гуляла вдоль и поперек метели. Метель не отпускала ее из себя и водила по городу, словно за руку.

Она остановилась отдохнуть возле киоска. Вот приходят и уходят осень, мужчина, снег. А я остаюсь, думала Клавка. Потом опять придут осень, мужчина, снег. И опять уйдут. А я останусь. А уйду я — что останется?

— Какой чудесный снег, — слышался рядом мужской голос.

— Вы находите? — ответила Клавка.

Дождь имени Калаганова

Порой мне кажется, что Всевышний всегда старается скрыть свое присутствие и тратит на это все свои небесные силы. Но иногда Он словно забывается, и Его можно заметить в каждой линии, в каждой судороге и горячем трепыхании этой, на первой взгляд, жестокой и бездушной жизни.

Сегодня я смотрел по телевизору некий фильм, жанр которого определять мне не хочется, поскольку это никчемное занятие. Настолько же никчемное, как и смотреть этот фильм. Но что-то заставило меня на некоторое время уткнуться в экран и постигать бесхитростную суть творящегося на нем действия, которая сводилась к следующему. Некий супермен воюет против банды отъявленных негодяев, в руках которых страшный заряд, угрожающий жизни всей земной цивилизации. Но супермен находчив, силен и конце концов он побеждает врагов, тем самым спасая человечество от полного уничтожения. Я досматривал заключительные кадры фильма, когда взгляд мой коснулся окна, и я увидел, что на улице идет дождь имени Калаганова. И я понял — это неспроста, что дождь имени Калаганова идет именно в этот момент. Дождь струился по стеклу, капли неслись вдоль и поперек Вселенной, и ничего в этом не было необычного, но я-то знал, что все это означает.

Мы познакомились с ним на телевидении, на записи очередного документального фильма. Актер Калаганов считался лучшим чтецом закадровых текстов, и потому был любим нашими режиссерами, которые время от времени вызывали его в студию. Я встретил его на проходной:

— Редактор Юзеев.

— Калаганов, — коротко ответил он, пожимая мне руку.

Мы пошли в направлении студии, и этого недолгого пути по территории телецентра оказалось достаточно, чтобы выяснить, что мы одной Веры. Рыбак узнает рыбака не только по затаенному, несущему окуневые поклевки, блеску в глазах, не только по скрытой дрожи в руках, жаждущих страстного сопротивления удилища. Он узнает себе подобного еще, как сказано в поговорке, издавека; и пусть даже о рыбной ловле не будет сказано ни слова, они, два рыбака, могут и вовсе не говорить.

Однако мы с Калагановым говорили много слов, поскольку наша жизнь и была Слово. Считается, что молчанием можно сказать очень много, но это — лишь искусственные изыски поэтов и песенников. Никакое молчание не стоит Слова. Лучше плохо говорить, чем хорошо молчать.

Разумеется, мы оба были преданы Слову гораздо больше, чем любой рыбак рыбной ловле. Мы продолжали говорить, стоя у двери студии, забыв о том, что нас ждут звуко-режиссеры, ассистенты, монтажеры и прочий телевизионный народ, который обычно ждать не любит. «Калаганов, ну скоро вы там? — неслось уже откуда-то сверху и в открытое окно решительно высовывалась чья-то нетерпеливая голова. — Мы не можем начать запись!»

Слово обладает особой тяжестью, которую невмочь нести одному. Душа не в силах сопротивляться этой тяжести, ее необходимо разделить с душой родственной, иначе она иссушит тебя — захватывающая и невыносимая тяжесть слова. В то время я был без ума от Милорада Павича и поэтому безудержно цитировал куски его произведений, призывая собеседника соучаствовать мне в моем безумии.

— Как, говоришь, его зовут? — спросил Калаганов.

— Милорад Павич, — сказал я.

Калаганов старательно записал имя на клочке бумаги, который засунул в карман.

Мы встретились с ним через несколько дней опять же в студии.

— Что такое обратная сторона ветра? — спросил он меня вдруг вместо того, чтобы ответить на мое приветствие.

В ответ я развел руками.

— Обратная сторона ветра, эта та, которая остается сухой, когда ветер дует сквозь дождь, — сказал он. И добавил: — Милорад Павич.

Он искал встречи, чтобы разделить со мной все ту же непостижимую тяжесть Слова. Почему-то я запомнил его говорящим эту фразу, вопросительно глядящего на меня сквозь стекла очков, тихого, любящего жизнь и дождь. Он остался в моей памяти вместе со словом «дождь», и этот дождь не таит в себе ветер, он несет в своей тонкой, прозрачной плоти лишь четыре ненавязчивых слога — Калаганов.

Спустя месяц я узнал, что Калаганов убит в Нижнем Тагиле группой подростков-наркоманов.

— Он возвращался со спектакля, — рассказал мне оператор Кузьмин, — и увидел этих ублюдков. С ними была большая собака, ротвейлер. Представь, они этого ротвейлера натравили на маленькую дворовую собачку, и это их

очень веселило. Тогда он подошел к ним и сказал: «Ну вы что, мужики, звери, что ли...»

— Самое печальное, — продолжала ассистентка режиссера Оля, — что и наказать-то этих недоносков как следует нельзя. Они несовершеннолетние. Они пришли потом в себя и слезно раскаялись.

— Одним словом, виноватых нет, — сказал Кузьмин. — И человека нет.

Потом мы шли с Кузьминым домой. Я безучастно смотрел на проносящиеся мимо вереницы автомобилей, и это было то самое время, когда Всевышний делает вид, что его нет. Лица прохожих были чужды мне, как никогда. «Ну что вы, мужики, звери, что ли...», — так сказал Калаганов подонкам, и я отчетливо представил, как он это сказал. Он проговорил эти слова тихо, ненавязчиво, любя жизнь и дождь, как тогда, в последнюю нашу встречу.

Мы распрощались с Кузьминым возле его дома, и дальше я пошел один. Помню, что я поднял взгляд на ночное небо и сказал вдруг: «Луна имени Калаганова». А потом я опять вспомнил последнюю нашу встречу: «Нет. Дождь имени Калаганова, именно дождь».

Итак, по телевидению закончился фильм о спасении человечества, а за окном льет дождь имени Калаганова. Я знаю, что эти два факта сошлись сегодня не случайно, и Всевышний опять выдал свое присутствие.

Погиб, спасая собачку...

Именно так и спасают человечество — так, как это сделал он. А человечество, оно наивно, оно никогда не поймет, что его спасают. Оно не назовет именем своего спасителя улицу и не поставит ему памятник. Оглянись, и ты увидишь бесчисленное множество памятников по всей Земле. *Но тот, кому поставлен памятник, никогда бы не вступился за собачку.*

Потому-то я и назвал именем Калаганова дождь. Какой памятник, какой чугунный истукан сравнится с дождем? Дождь будет уходить, а затем приходить вновь, и мы будем вспоминать Калаганова. Дождь всегда останется юным, каменные же идолы будут крошиться в пыль, бронза будет переплавляться в болты, гипсовые головы будут неприлично засижены голубями. А дождь будет сходить с небес, и никакая рука не сможет даже ухватить его.

Ему будут подставлять щеки юные девушки, детские волосы будут кудрявиться пуще прежнего, земля будет вбирать небесную воду, словно опомнившись.

А мы будем вспоминать Калаганова.

Всевышний только делает вид, что Его нет.

А сколько тебе лет?

У меня был день рождения. Мне исполнялось двадцать лет. Стоял месяц май, на ветках чирикали воробьи, а в подворотнях, ошалев, носились теплые ветры.

— Сколько тебе исполняется? — спрашивали меня девочки.

— Сорок, — отвечал я, и юношеский румянец играл на моих упругих щеках.

— Ну скажи серьезно! — уговаривали они.

— Сорок! — я был неумолим.

И вот результат. Накаркал. Сегодня мне сорок. Поэтому я говорю себе: никогда не шути с такими вещами, иначе можешь накаркать себе неприятности.

Меня уносит в еще более раннюю пору, в детство, в наш старый двор, пятачок земли меж двух хрущевских пятиэтажек, каких полно в любом городе. В этом пространстве мироздание разворачивалось по своим законам, неведомым взрослым. Здесь победно трещал игрушечный автомат, чья-то доверчивая душа постигала таинство вождения двухколесного велосипеда, вверху по своим делам летел майский жук, словом, здесь творилась История важнее всякой мировой. В дальнем же закутке двора обычно шел важнейший футбольный матч. Мяч пролетал над площадкой, поворачиваясь, словно на невидимом пальце, и, бросая тень на веснушчатые, схваченные неокрепшим азартом лица, возникал у ворот соперника. Там под него подставлялась чья-нибудь проворная, похожая на тыквочку голова, и мяч, влекомый волшебной силой отскока, влетал в ворота, а точнее в пространство, обозначенное двумя обломками кирпича. Затем маячила спина пристыженного вратаря, который бежал за мячом к дальнему забору. Мстить! Мстить! — читалось в облике сплеховавшего голкипера.

Это были шестидесятые годы, и, пожалуй, нынешние дети не всегда меня поймут. Мы выбегали во двор торопясь, доедая пирожок, булку с маслом, а иногда и просто кусок хлеба. В то время не считалось зазорным попросить у обла-

дателя пирожка: дай маленько! Обладатель же пирожка, если он, конечно, не жмот, а жмотов мы не уважали, — вынужден был делиться, и проситель вскоре чавкал вместе с ним, кидая в землю ножичек. Но интересно, как происходил процесс попрошайничества. Использовались почему-то числительные.

— Сорок восемь — половину просим!

Хочешь не хочешь, а половину куска должен отдать. Но против попрошайничества существовал свой прием. Надо было, прежде чем кто-либо покусится на твой пирожок, сказать:

— Сорок один, ем один.

И тогда у тебя никто ничего не попросит, пусть даже все вокруг помрут с голоду. Кстати, в современных дворах таких правил нет. Я это знаю, поскольку у меня полно знакомых детей. Их настолько много, что даже больше, чем, скажем, знакомых писателей. Или программистов.

Моя память отчетливо сохранила процесс выхода во двор моего дружка Борьки Штемлера. Сначала в дверях появлялась пронырливая мальчишеская голова, затем следовал всеутверждающий вопль: «сорок один — ем один!» и тут же на арену событий выбегал Борька с кремовым пирожным в руке.

Итак, сегодня мне сорок. А ровно через год я выбегу во двор, пнув дверь ногой, и, как когда-то Борька, победно закричу: «Сорок один — ем один!» Все, конечно, подумают: а что это он имеет в виду? А я имею в виду, что возраст мой сорок один год, и это мои года и только мои, и ни с кем делиться ими я не желаю! Это мое, понимаете ли, богатство. Пусть только попробует кто-нибудь претендовать на мои года!

А потом пройдет еще семь лет. Я выйду во двор, взгляну на небо и умоляюще попрошу:

— Сорок восемь — половину просим...

Что это будет означать? Наверно, это будет просьба к небесам забрать из прожитых сорока восьми лет половину. Это будет вечное и жалкое желание человека оставаться молодым. Это будет тайная надежда, что мне не зачтутся года, прожитые бездарно. В ответ небо не изменится в лице. Ни одним облачком не дрогнет. Будет шелестеть майская листва, над проводами будет пролетать ворона, и я пойму, что так же, как ворона не полетит задом наперед, так же не обратится вспять время.

Кто-то говорил: возраст — понятие абстрактное. Мол, человеку столько лет, на сколько он себя ощущает.

Ничего подобного. Пусть сорокалетний тысячекратно повторит: «Я молод, я молод!» Но куда денешь эту глубокую продольную морщину на лбу? Как замаскируешь эти

страдальческие складки возле рта, которые не так отчетливы днем, но с вездесущей настойчивостью проступают к вечеру? Как округлишь эти жесткие углы подбородка, которые распугивают всех милых созданий девичьего пола, стоит лишь им подойти поближе? В конце концов, как сведешь на нет свою кротовую способность заначивать рубли до следующей полочки? Вот то-то.

Во дворе моего детства сегодня играют совсем другие мальчишки. Порой я сижу на лавочке, наблюдаю за их играми и вспоминаю детство. Несколько дней назад ко мне подсел мой одноклассник Куликов, который работает в нашем ЖЭУ сантехником. На нем была драная кроличья шапка, штопаная телогрейка, кирзовые сапоги, словом, та амуниция, по которой сразу определялась его принадлежность к клану сантехников. В руке у него позвякивал чемодан, в недрах которого угадывались таинственные инструменты недоступной для непосвященных науки. Он спросил, не протекают ли у меня дома краны. Я ответил, что нет. Тогда он предложил мне выпить. Я знал, что у него нет денег, но согласился. Мне хотелось поболтать с ним и вспомнить школьные годы. Куликов приобрел склонность к «чувственному наслаждению пьянства» (именно так называл этот повсеместный порок Александр Сергеевич Пушкин) после того, как ушел с механического завода и устроился работать в ЖЭУ.

Лет пятнадцать назад, а именно тогда он и обрел новую для себя специальность, в нашем дворе жила рыжая дворняжка по кличке неожиданно лиричной. Ее звали Песня. Кто ее так назвал, неизвестно. Может, какой-нибудь пацаненок, в чьей тонкой душе проступали очертания будущих поэм. А может, поэт с соседнего микрорайона случайно забрел сюда и, увидев перед собой рыжее четвероногое создание, обронил нечаянно «Песня», — точно так же, как приходит вдруг «длинными ночами выстраданное слово». Но это неважно. Песня постоянно вертелась под ногами и участвовала в любых событиях, как это бывает в наших дворах. Кстати, так же и наш народ не может без песни. Песня (я имею в виду не собаку, а музыкальный жанр) сопровождает его, как известно, и в радости и в горе. Но я совершенно отвлекся. Мне хотелось вспомнить тот день, когда ко мне подбежал озабоченный Куликов, а под ногами у него радостно вертелась Песня. Он тут же начал сбивчиво объяснять мне, что ему срочно нужны десять рублей, чтобы купить бутылку, что выручить его могу я и только я, поскольку через три минуты

закрывается магазин, и тогда все кончено, и все пропало. Нынешнее поколение склонных к «чувственному наслаждению пьянства» вряд ли поймет, что значит — закрывается магазин. Но я Куликова понял и дал ему десять рублей.

Вот тут-то и наступает тот момент, о котором я хотел рассказать. Куликов взял десять рублей, развернулся в сторону магазина и побежал. Он побежал так быстро, как бежит вода в трубах. Побежал так, что Песня, восторженно рванувшаяся вслед за ним, его не догнала. А ведь ясно, что любая дворняга бежит быстрее любого сантехника. По-видимому, здесь сработали те неисследованные еще резервы организма, благодаря которым человек совершает чудеса. Известны же случаи, когда женщина, пытаясь освободить своего ребенка, сдвинула двухтонную плиту, или когда повар, спасаясь от забежавшего в кафе разъяренного быка, перепрыгнул через трехметровый забор. Словом, Песня не догнала Куликова, и это событие долго еще потом обсуждалось во дворе. Все это я рассказываю для того, чтобы подчеркнуть, какое значение Куликов придавал выпивке.

На этот раз угрозы закрытия магазина не существовало — не те нынче времена. Мы взяли водки и сошли в подвал, на мрачную территорию котов и сантехников. Куликов сгреб со стола гаечные ключи, ржавые вентили, шланги и поставил бутылку на стол. Жест его был столь решителен, а взгляд столь целеустремлен, что я испытал некоторое сомнение в правильности моего намерения с ним выпить. В последний год Куликов, напиваясь, впадал в тоску и становился агрессивным. Например, он мог ночью выйти во двор и мотаться там до рассвета с темным ужасом в глазах и желанием выяснить отношения с первым встречным. А когда не пьет, — говорили соседи, — это редкой души человек, мастер на все руки и прочее, — словом, приводился тот набор, которым обычно у нас в России пытаются оправдать алкоголика.

Мы выпили по одной, и я забыл о своих опасениях.

Мне было тогда, кажется, шестнадцать. Девочка, которая была в меня влюблена или считала, что влюблена, играла на рояле и пела. Эту песню она сочинила сама. «Расцвели сады, когда ты появился...» И так далее. При этом она бросала на меня проникновенные взгляды. Чтобы не было ошибки, и эти слова не принял на свой счет мой одноклассник Куликов, который сидел рядом со мной на диване. На словах «мне нипочем ветра и стужа» в окно проник ветер и взметнул челку девочки. Мне это совпадение показалось очень

забавным, а взглянув на ее лицо, полное отчаянной решимости, я не выдержал и засмеялся. Девочка хлопнула крышкой рояля и выбежала из комнаты.

— Чо ты ржешь, когда не надо — сказал мне Куликов. — Обиделась теперь.

Но ее обида длилась недолго. Спустя десять минут мы уже пили чай на кухне. В вазочке на столе светносно мерцало варенье, а с подоконника, словно утопающий, тянул к нам свою колючую руку кактус.

— Он скоро будет цвести, — сказала девочка.

— Он цветет раз в сто лет? — спросил я.

— Нет, — ответила она, — он цветет раз в пять лет. И вот на днях должен цвести.

— Последний раз, когда он цвел, тебе было девять лет, — коварно подсчитал я.

Она покраснела. Любой намек на то, что она младше меня на два года (невообразимая разница для этого возраста!), расстраивал ее, и делал неосуществимыми мечты о счастье со своим избранным.

— А когда кактус будет цвести в следующий раз, тебе будет девятнадцать лет, — сказал Куликов.

— Кошмар! — сказала девочка. — Неужели я буду такой старой? Интересно, кому я буду нужна в девятнадцать лет?

Мы с Куликовым посочувствовали ей. Кому мы будем нужны в девятнадцать лет?

— Сохнет она по тебе, — говорил потом Куликов мне уже на улице. Он пытался призвать меня к совести всеми силами.

— И что я должен делать? — говорил я.

— Ну так нельзя! — взрывался он. И опять пытался убедить меня неизвестно в чем.

Мы шли с ним тогда вдоль длинного штaketника в школу, где у нас была репетиция оркестра.

Кактус цвел через каждые пять лет. Он цвел, когда девочке должно было исполниться девятнадцать. Потом двадцать четыре, потом двадцать девять и так далее. Но я не видел, как он цвел. И девочка не видела. Поскольку ее уже не было. Ей исполнилось восемнадцать, когда, завербовавшись медсестрой, она уехала на афганскую войну. Ее расстреляли в упор, когда она пыталась спасти раненого. Девочка умирала в чужой стране, и вокруг мерцали холодные, бесстрастные лица.

Кактус цвел каждые пять лет, но смысла этого цветения никто не понимал.

Бутылка кончилась. На влажных стенах подвала плясали тени.

— Ты знаешь, — сказал Куликов, — кактус должен цвести в этом году...

Мы пошли в соседний двор, где когда-то жила девочка. Мы долго всматривались в ее окно, но кактуса не увидели. Там жила другая семья.

— Наверно, ее родители давно отсюда переехали, — сказал я.

— Да, — сказал Куликов.

Мы вышли на проспект и долго шли вдоль витрин, которые уже начали зажигаться в этот час. У прохожих были чужие и бесстрастные лица, и я почему-то подумал, что такие же лица окружали девочку, когда она умирала.

Мы остановились на перекрестке. Я обратился к Куликову с каким-то вопросом. Он повернулся ко мне, но не ответил. Он смотрел на меня и молчал.

Он молчал во весь свой губастый красноречивый рот. Он молчал во всю глубину своих глаз. Во всю длину своей нескладной фигуры. Во всю ширину улицы, которая простиралась за ним. Я понял, что не стоит с ним разговаривать.

Потом мы купили водки и опять спустились в подвал. По мере опьянения Куликов становился все угрюмей. И, наконец, пришел момент, когда он бросился на меня с кулаками. Я был изрядно пьян, и поэтому с большим опозданием понял, что меня избивают. Но когда осознание это пришло, я рассердился и хорошенько двинул ему в челюсть. Куликов упал и затих. Все это в сырых стенах подвала выглядело, разумеется, безобразно.

Мы друг на друга не обиделись. Но, честно говоря, я не ожидал, что он на меня бросится. Поэтому больше я с ним пить не буду. Но в любом случае он хороший парень и таких больше нет.

Мне приснился следующий сон. Куликов пришел ко мне в дом. С ним была девочка. Она смотрела на меня и застенчиво улыбалась.

— Ты меня знаешь? — спросил я ее.

Она кивнула мне в ответ с той же тихой улыбкой.

— Откуда ты? — спросил я.

Она помотала головой, что означало — «не знаю».

— А куда ты уйдешь?

«Не знаю».

— А сколько тебе лет? — почему-то задал я вопрос.

Девочка опять тихо улыбнулась, что означало: «Ты же знаешь!».

Эта фраза — а сколько тебе лет? — не выходит у меня из головы. Она трогает меня некой непостижимой искренностью. Я не знаю, где здесь скрытая суть, и не хочу знать, поскольку есть вещи, доступные только сердцу.

Я ходил по комнате из угла в угол и думал о том, какие все-таки мы ничтожные, жалкие создания. Убогие существа, чуть что прячущиеся в панцири слов, обязанностей, долга и всего прочего, что мы по ошибке зовем жизнью. Я думал о том, что мы с удивительной настойчивостью обрекаем себя на одиночество, хотя считаем, что творим при этом будущее. И если перед нами и мелькнет Истина, мы поспешно делаем вид, что не заметили ее.

А сколько тебе лет?

Задай человеку этот вопрос, он начнет увиливать всеми способами, выработанными за годы выживания и лжи.

И я решил выйти на улицу и спросить первого же встречного, сколько ему лет. Вы думаете, что я был не в себе, и, может быть, так оно и было. Но я решил спросить у человечества о самом сокровенном. И если мне ответят, думал я, тогда не все на свете кончено! А если не ответят, тогда... Итак, безумный жребий был брошен, конечно, я отдавал себе отчет в том, что какое чудовище, называемое нормальным человеком, на такой вопрос не ответит. Но...

И тогда я выбежал во двор и спросил первого встречного:
— А сколько тебе лет?

— Пять, — немедленно последовал ответ.

Содержание

Сквозняк тишины. <i>Повесть</i>	3
Стена времени	59
Записки эпохи раннего телевидения	77
Аве Цезарь!	138
Те самые деньги	168
Опыт предательства	187
Рядовой Хузин	197
Вот так-то!	207
Клавка	209
Дождь имени Калаганова	214
А сколько тебе лет?	217

Литературно-художественное издание

Юзеев Салават Ильдарович

СКВОЗНЯК ТИШИНЫ

Повесть, рассказы

(на русском языке)

Редактор *Г.М.Хасанова*

Художник *И.И.Нафиев*

Художественный редактор *Р.Г.Шамсутдинов*

Технический редактор и компьютерная верстка *Н.Н.Мусина*

Корректоры *А.Г.Хамитова, Н.И.Максимова*

Лицензия на издательскую деятельность № 04184 от 6 марта 2001 года.

Оригинал-макет подписан в печать 6.04.2005. Формат 84×108 ¹/₃₂.

Бумага офсетная. Гарнитура «Times». Печать офсетная.

Печ. л. 11,76+фор.0,21. Усл. кр.-отт. 13,02. Усл. изд.л. 13,96+фор.0,36.

Тираж 2000 экз. Заказ А-193.

Татарское книжное издательство. 420111. Казань, ул.Баумана, 19.

<http://tatkniga.ru>

e-mail: tki@tatkniga.ru

Оригинал-макет подготовлен с помощью пакета программ Jahat™.

Государственное унитарное предприятие издательско-полиграфический комплекс «Идел-Пресс». 420066. Казань, ул.Декабристов, 2.